



Кейт Аткинсон  
**ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  
КРОКЕТ**

Нежный взрыв, а не роман...  
*Scotsman*

## Annotation

Впервые на русском — ставший современной классикой роман Кейт Аткинсон, чья дебютная книга получила престижную Уитбредовскую премию, обойдя «Прощальный вздох мавра» Салмана Рушди, и чей цикл романов о частном детективе Джексоне Броуди, успевший полюбить и российскому читателю, Стивен Кинг окрестил «главным детективным проектом десятилетия». Итак, познакомьтесь с Изобел. Первого апреля ей исполняется шестнадцать лет. С братом Чарльзом они живут в особняке «Арден», выстроенном на месте усадьбы старинного аристократического рода Ферфакс, и ждут возвращения мамы. «Наша жизнь вылеплена из отсутствия Элайзы, — говорит Изобел. — Она ушла... и отчего-то забыла взять нас с собой. Может, по рассеянности, или хотела вернуться, но заблудилась. Мало ли что бывает — скажем, наш отец после ее исчезновения и сам пропал, а спустя семь лет вернулся и все свалил на потерю памяти». Первую леди Ферфакс, говорят, похитили эльфы, и теперь на том месте растет дуб — на коре которого, по легенде, оставил свои инициалы Шекспир, — а над родом Ферфакс тяготеет проклятие. Изобел хорошо ориентируется в прошлом, уверена, что знает будущее, но день сегодняшний представляет для нее загадку...

- [Кейт Аткинсон](#)
  - [НАЧАЛО](#)
    - [Древесные улицы](#)
  - [НЫНЕ](#)
    - [Как-то странно](#)
    - [Да что такое?](#)
  - [ПРЕЖДЕ](#)
    - [Закрываемся рано](#)
  - [НЫНЕ](#)
    - [Листья света](#)
  - [ПРЕЖДЕ](#)
    - [Недоделки](#)
  - [НЫНЕ](#)
    - [Опыты с инопланетянами](#)
  - [ПРЕЖДЕ](#)
    - [Проклятый плод края сего\[75\]](#)

- [НЫНЕ](#)
  - [Опыты с инопланетянами](#)
  - [Искусство плодотворно развлекать](#)
  - [Время убивать](#)
- [НЫНЕ](#)
- [НЕ ИСКЛЮЧЕНО](#)
  - [Есть мир иной, но это он и есть\[90\]](#)
- [ПРЕЖДЕ](#)
  - [Отрадная тропка](#)
- [НЫНЕ](#)
  - [Смешливый зелени предел](#)
- [ПРЕЖДЕ](#)
  - [Первородный грех](#)
- [ДАЛЬШЕ](#)
  - [Древесные улицы](#)
- 
- [Замечательная праздничная игра](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)

- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)



**Кейт Аткинсон**  
**Человеческий крокет**

Моей матери, Майре  
Кристиане Кич

Он реку, ветер, дол узрел,  
Смешливый зелени предел  
И птиц полет, и небосвода синь.

*Ли Хант. Ода к весне 1814  
года*

**НАЧАЛО**

## Древесные улицы

Зовите меня Изобел. (У меня имя такое.) Вот моя история. С чего бы начать?



До начала — пустота, и не подвластна пустота ни времени, ни пространству, а посему не покоряется и воображению.



Ничего не получается из ничего — только зарождение мира. Вот что в начале — слово, и слово есть жизнь. Гигантская шутиха преобразует пустоту, и наступает время, и начинается воображение.

Возникают первые ядра — водорода и гелия; через пару-тройку миллионов лет появляются атомы, а спустя еще много миллионов формируются молекулы. Минуют зоны. Тучи космического газа сгущаются в галактики и звезды — в наше Солнце, к примеру. В 1650 году архиепископ Джеймс Ашшер в своих «Мировых анналах»<sup>[1]</sup> вычислил, что Бог сотворил Небо и Землю субботним вечером, 22 октября 4004 г. до н. э. Другие так глубоко не вникают: по их подсчетам, Земля началась где-то четыре с половиной миллиарда лет назад.



Затем приходят деревья. Заросли гигантских папоротников кольшутся в болотной парилке каменноугольного периода. Прорастают первые хвойные, закладываются крупные угольные бассейны. Куда ни глянь, мухи барахтаются в каплях янтаря — в слезах бедных сестричек Фазтона, от горя обернувшихся черными тополями (*Populus nigra*). Появляются первые цветковые и широколиственные, а затем деревья выползают из болот на сушу.

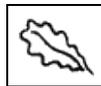
Здесь, где разворачивается эта история (на угрюмом севере), когда-то росли леса — лесные океаны, великий Литский лес. Древний лес, непроходимая чаща: сосны, березы, осины, карагач и шершавый вяз, лещина, дуб и падуб, — лес, что когда-то покрывал всю Англию и, быть может, возвратится, если ему не мешать. Целую вечность лес владел миром единолично.



Тук. Орудия из камня и кремня — конец начала, начало конца. Из алхимии олова и меди родились новые бронзовые топоры, что косили деревья с лица земли. Затем пришло железо (великий разрушитель), и железные топоры срубали леса быстрее, чем те умели вырастать, а железные сошники вспарывали землю, где прежде рос лес.

Дровосеки рубили, секли и кромсали ясень и бук, дуб, граб и густой терновник. Горняки копали и плавил, углекопы громоздили уголь гудами. Вскоре в лесу стало не протолкнуться — то мебельщики, то сапожники, то бондарь бочарит, то плетельщик изгородь мастачит. Дикий кабан подкапывает корни, хрюкает домашняя свинья, гогочут гуси, завывают волки, на каждом шагу олени прядают с тропы. Тук! Деревья преобразуются — в башмаки и давяльные прессы, в телеги и орудия, в дома и мебель. Английские леса плывут по океанам, открывают новые нехоженые земли и новые леса, что только и ждут, когда их срубят.

Но в святая святых лесной чащи хоронилась великая тайна. Куда ушла она, когда срубили лес? Говорят, в лесу жили эльфы — злобные вздорные создания (немытые отпрыски Евы), не к добру встреченные при луне;<sup>[2]</sup> не без дурного умысла болтались они на берегах среди дикого тимьяна и в крайнем раздражении прислушивались к топорному нашествию. Куда ушли они, когда исчез лес? А волки? Что с ними случилось? (Они незримы, но это не значит, что их нет.)



Стайкой домов и церковью с квадратной часовой башней из тающего леса явилась деревушка Лит. Деревенские таскали куриные яйца, каплунов, а порой и свою добродетель в Глиблендс, городишко поблизости, в паре миль от Лита, — там процветал рынок, там плодились перчаточники и

мясники, виноторговцы и кузнецы, принцы воров и принципиальные католики.

В 1580-м или около того в Лит прибыл чужак, некто Фрэнсис Ферфакс, власами темен, а ликом смугл, как мавр. Спустя время королева пожаловала Фрэнсиса Ферфакса дворянством, и лично из самых царственных рук получил он большой надел к северу от деревушки, на краю остатков леса. Там он выстроил себе поместье Ферфакс, современный особняк из кирпича, штукатурки и дерева наместо полученных в дар лесных дубов.

Был он солдат и авантюрист, этот Фрэнсис. Переплывал даже великий серый океан, повидал новооткрытые девственные земли, где живут чудища о трех головах и пернатые дикари. Поговаривали, что был он шпионом самой королевы, а Английский канал по секретным королевским делам пересекал едва ли не чаще, чем соседи его переходили Глиблендскую зеленую пустошь.

Поговаривали к тому же, что есть у него совсем юная жена, сама уже в тягости, и он держит ее под замком на чердаке. Еще говорили, что женщина на чердаке — не юная жена его, а помешанная. Ходили даже слухи, что на чердаке у него полно мертвых жен и все развешены на мясницких крюках. А кое-кто утверждал (что еще немислимее), будто у него любовь с королевой и великолепная Глориана родила ему внебрачное дитя, которого воспитывают в поместье Ферфакс. На чердаке, разумеется.

Впрочем, не слухи, но подлинный факт: где-то летом 1582-го королева останавливалась в поместье Ферфакс, убежав от чумной вспышки в Лондоне, и люди видели, как она любителю масляно-желтой айвой и цветущей мушмулой и вкушает плоды пышной оленьей охоты, имевшей место поутру.

Поместье Ферфакс славилось азартной оленьей охотой, мягкостью перин из гусяного пуха, изысканностью яств, своеобычностью забав. Сэр Фрэнсис стал известным покровителем поэтов и драматургов, встающих на крыло. Говорят, в поместье гостил сам Шекспир. Истовые сторонники — каковых несколько, и почти все помешаны, — подобной трактовки знаменитых потерянных лет Шекспира указывают на инициалы «УШ», вырезанные в коре гигантской леди Дуб и различимые пристальным взором по сей день. Оппоненты данной теории отмечают, что в поместье Ферфакс обитал и другой человек с такими инициалами — учитель хозяйского сына Уолтер Штуксли.

Вероятно, господин Штуксли и сочинил великолепное костюмированное представление («Маскарад Адониса»), каковое было

заказано сэром Фрэнсисом для увеселения королевы во время ее летнего визита в Лит. Воображению предстает лицедейство в мерцании фонарей на ветвях, на опушке огромного леса, при посредстве всевозможных механизмов разворачивается трагическая повесть: молодой Адонис умирает на руках у мальчика Венеры под леди Дуб, молодым прекрасным дубом, почти ровесником Фрэнсиса Ферфакса, — дубом, что некогда стоял в святая святых лесной чащи, а ныне охраняет лесные врата.

Вскоре после отъезда королевы у Фрэнсиса появилась жена — подлинная жена, из плоти и крови, ни на каком не на чердаке, и все же существо чрезвычайно загадочное, чьи появление и отбытие окутаны тайной. Говорят, в поместье Ферфакс она прибыла грозовой ночью и не было на ней ни туфель, ни чулок, ни нижней юбки, — собственно говоря, облачена она была только в шелковистую свою кожу, и однако ни капли дождя не упало на нее, ни один рыжий волосок не выбился из прически.

Она поведала, что прибыла с угрюмого севера, а зовут ее Мария (как грозную каледонскую королеву). Наготово своей она не дорожила, и распаленный сэр Фрэнсис поспешил укутать ее в шелка, меха и бархат, застегнуть на ней броши с камнями. Наутро после брачной ночи сэр Фрэнсис преподнес ей знаменитое сокровище Ферфаксов, жадно искомое металлоискателями и историками, подробно описанное в знаменитых «Путешествиях по Англии» сэра Томаса А'херна, но не всплывавшее на свет божий уже почти четыре столетия. (Золотой, следует отметить, ромбовидный медальон, инкрустированный изумрудами и жемчугами и в нутре своем хранивший миниатюру «Пляска смерти», кою, по расхожему мнению, написал Николас Хиллиард с поклоном своему учителю Гольбейну.<sup>[3]</sup>)

Новоиспеченная леди Ферфакс любила зеленый цвет — платья, нижние юбки, корсажи зеленые, как кусты, что прячут оленя от охотника. Лишь батистовая сорочка белая — сей обрывок данных предоставила повитуха, которую привезли из Глиблендса на рождение первого ребенка Ферфаксов. И единственного ребенка. Совершенно нормальное дитя (мальчик), отпрапортовала повитуха, вернувшись в город, однако сэр Фрэнсис вконец обезумел, велел нацепить ей повязку на глаза, а снять лишь в родильном покое и заставил поклясться ни словом никому не обмолвиться о том, что видела она той ночью. Что именно увидела бедная женщина, никому неизвестно, ибо ее весьма своевременно ударило молнией, едва она подняла кружку эля, дабы выпить за здоровье новорожденного.

Говорили, что леди Ферфакс в своем зеленом дамасте и шелках

необычайно пристрастилась гулять по лесу в обществе одной лишь борзой по прозванию Финн. Порою видели, как сидела она под зеленой сенью леди Дуб и пела сказочно красивые песни о доме, точно Руфь среди чужих полей. Не раз лесник сэра Фрэнсиса пугался до полусмерти, приняв ее за робкую лань, что вспышкой зелени прыскала прочь. Как бы по ошибке не пустить стрелу в ее прекрасную зеленую грудь!

А затем она исчезла — внезапно и таинственно, как некогда появилась. Сэр Фрэнсис после охоты вернулся домой с великолепной упитанной ланью, застреленной в сердце, — а жены нет. Судомойка, бестолковая девчонка, заявила, будто видела, как леди Ферфакс растворилась в воздухе прямо под леди Дуб, медленно растаяла и зеленое парчовое платье ее слилось с древесною зеленью. Улетучиваясь, сообщила судомойка, леди Ферфакс наложила страшное проклятье на Ферфаксов прошлых и будущих, а после ее исчезновения еще долго звенело эхо безобразных ее криков. За такие фантазии кухарка побила судомойку миской по голове.

Фрэнсис Ферфакс поступил как всякий уважающий себя проклятый — сгорел в собственной постели в 1605 году, а с ним и почти весь особняк. Сына его Уильяма спасли слуги — тот рос болезненным мальчиком, еле-еле цеплялся за жизнь и едва успел зачать свое подобие.

Ферфаксы бросили обугленные останки поместья и переехали в Глиблендс, где звезда их пошла на убыль. Поместье крошилось в пыль, великолепные парки погружались в лесную первозданность, и спустя какие-то годы от них не осталось и следа.

В последующее столетие земли поделили и распродали на аукционах. Томас, Ферфакс восемнадцатого века, потерял остатки владений, когда лопнула Компания Южных морей,<sup>[4]</sup> и Ферфаксы почти преданы были забвению, разве что временами кое-кто видел леди Марию в зеленом наряде — та безутешно, удрученно бродила по округе, а порой для пущего эффекта носила голову под мышкой.

Лес тоже постепенно сходил на нет — остатки пустили на боевую флотилию во время войны с Наполеоном. Когда раскочегарился девятнадцатый век, от прежней зелени Литского леса оставались только обширные заросли под названием Боскрамский лес, в тридцати милях к северу от Глиблендса, а также леди Дуб у самой границы Лита.

К 1840 году Глиблендс стал крупным промышленным городом, где гудели и пульсировали машины, а трубы над людными невзрачными улочками дышали темными тучами неведомых химикатов в низкое небо.

Один фабрикант, филантроп и производитель аргантовых газовых горелок Сэмюэл Ферфакс, ненадолго вдохнул жизнь в фамильную фортуна, возмечтав осветить весь город газовыми фонарями.

Ферфаксы приобрели большой городской особняк со всем положенным декором — слугами, каретой, открытыми счетами в каждой лавке. Женщины Ферфакс наряжались во французский бархат и ноттингемские кружева и целыми днями несли околесицу, а Сэмюэл Ферфакс между тем грезил, как однажды выкупит полосу земли, на которой когда-то стояло поместье Ферфакс, и разобьет там загородный парк, где жители Глиблендса станут проветривать закопченные легкие и разминать подточенные рахитом затекшие члены. Вот о каком памятнике он мечтал. «Марк Ферфакс», — блаженно бубнил он, выбирая узор для массивных кованых парковых ворот, и, едва ткнул пальцем в некие завитушки рококо («эпохи Реставрации»), сердце у него остановилось и он рухнул носом прямо в альбом. Парк так и не разбили.

Газовые фонари вытеснило электричество, а Ферфаксы проморгали появление новой технологии и постепенно обеднели, однако в 1880 году некий Джозеф Ферфакс, внук Сэмюэла, сообразил, где водятся деньжата, и вложил остатки семейных капиталов в розницу — бакалейную лавочку в переулке. Дело неуклонно процветало, и спустя десять лет «Ферфакс и сын — патентованные бакалейщики» переехали на Высокую улицу.

Джозеф Ферфакс родил единственного сына, и ни одной дочери. Сын этот, Леонард, добивался и добился руки девушки по имени Шарлотта Тейт, дочери мелкого фабриканта, выпускавшего эмалированную посуду. Тейты — крепкая нонконформистская кость,<sup>[5]</sup> и Шарлотта не чуралась пособить в лавке, если возникала нужда, однако вскоре забеременела и родила первого ребенка, уродливую девочку Мэдж.

Тем временем жители Лита предвкушали, как Глиблендс переползет немногие оставшиеся ноля и проглотит их деревушку целиком. Пока ждали, случилась война, унесшая три четверти молодого мужского населения Лита (троих человек, если точнее), и под конец войны толком никто и не заметил, как почти всю деревню, в том числе прежние земли поместья Ферфакс, продали местному застройщику.

У застройщика, некоего Мориса Смита, была мечта, градостроительная греза — садовый пригород, район современных комфортабельных домов, в самый раз для мира, где нет больше войны и прислуги, в самый раз для небольших семейств. Целые улицы, застроенные домами на одну-две семьи, с опрятными парадными садиками и большими

садами на задах: здесь будут играть дети, здесь отцы станут выращивать розы и овощи, а матери вывезут сюда коляску с младенцем и здесь же в обществе благовоспитанных подруг выпьют чая на лужайке. Свои домашние улицы Морис Смит выстроил там, где когда-то располагалось хозяйство сэра Фрэнсиса. Псевдотюдоровские дома, облицованные каменной крошкой, со створными окнами, верандами и плиткой в прихожих. Дома с тремя и четырьмя спальнями, очень современным водопроводом, фаянсовыми раковинами и бойлерами с высоким КПД, дома с прохладными просторными кладовыми и эмалированными газовыми плитами.

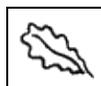
Улицы с широкими тротуарами, улицы, заросшие деревьями, — сплошные деревья, целый древесный шатер над асфальтом, дома и их счастливые обитатели окутаны древесной пелериной. Деревья дарят радость; видишь, как пробуждаются почки, как вылупляются листики, как на домашних улицах распрямляются зеленые пальцы, как над людскими головами расправляются тенистые листовенные руки. На каждой улице свои деревья — на Ясеновой улице, на Каштановой авеню, в Остролистном проезде, в Боярышниковом тупике, на Дубовом проспекте и на Ивовом, на Лавровой набережной, на Рябинной улице и на Платановой. Целый древесный лес обернулся уличной чащей.

Но по ночам, в мертвенной тишине, если очень-очень прислушаться, чудится, будто воют волки.

Леди Дуб росла себе и росла, одинокая, древняя, в поле за поворотом из Боярышникового тупика на Каштановую авеню. Дупла и провалы в стволе залили цементом, усталые ветви подперли старыми железными костылями, но летом ее шевелюра оставалась густа и зелена, по-прежнему привечала птичьи стаи, и в сумерках птицы, кар-каркая, слетались в гостеприимную эту крону.

В конце Боярышникового тупика стоял «Арден», первый дом градостроителя и лучший его экспонат, возведенный на давно похороненном фундаменте особняка Ферфакс. В «Ардене» роскошный паркет и стенные панели светлого дуба. В «Ардене» столяры сработали дубовую лестницу с желудями-фиалами. В «Ардене» башенки-капризы крыты голубым уэльским сланцем, слоистым, как драконья чешуя.

Градостроитель строил дом для себя, но Леонард Ферфакс предложил до того заманчивую цену, что у градостроителя язык не повернулся отказать. И вот так семейство Ферфакс ненароком вернулось в обителище предков.



После Мэдж Шарлотта Ферфакс родила (хоть это и нелегко постичь) еще двоих — сначала Винни (Лавинию), затем Гордона («Мой малыш!»). Гордона — гораздо позже, будто запоздало спохватившись («Мой сюрприз!»). Когда Ферфаксы переехали в «Арден», Мэдж уже вышла за блудливого банковского клерка и отбыла в Мирфилд, Винни стукнуло двадцать, а Гордон был еще крошкой. Он подарил Шарлотте прежде неведомые переживания. Ночами она прокрадывалась в новенькую детскую под свесами крыши, любовалась его спящим лицом в тусклом сиянии ночника и сама поражалась, какая ее переполняет любовь.

Но время уже разгонялось — вскоре появится Элайза, она все испортит. Элайза — это моя мать. Я — Изобел Ферфакс, я — альфа и омега сказителей (я вездесуща), мне известны начало и финал. В начале слово, в финале — безмолвие. А в промежутке — все на свете истории. У меня есть и такая.

**НБІНЕ**

## Как-то странно

И-зо-бел. Зазвенел колокольчик. Изабелла Тарантелла — пляска помешанных. Я помешана, следовательно, существую. Помешана. Это я-то? *Belle, Bella*,<sup>[6]</sup> Белизна — мне дано финал узнать. *Bella Belle*, дважды иноязычна, дважды красавица, но не иностранка. Красавица ли? Да вроде нет.

Человеческая география моя поразительна. Я великанша, с целую Англию. Ладони мои обширны, как Озера, живот мой — как Дартмур, груди вздымаются, подобно Скалистому краю. Хребет мой — Пеннины, рот — водопад Маллиан. Власы впадают в эстуарий Хамбер, отчего там случаются половодья, а нос мой — белая скала Дувра. В общем, крупная уродилась девочка.

Что-то странное веет на древесных улицах, хотя я бы не уточняла. Лежу в постели, смотрю в чердачное оконце, а оно все закрашено рассветным небом, голубая пустая страница, день не начерчен, ждет картографа. Первое апреля, мой день рождения, мне шестнадцать — сказочный возраст, легендарный. Веретенам самое время колотья, женихам — обивать порог, прочему сексуальному символизму тоже настала пора проявиться, а я еще даже ни с кем не целовалась, не считая отца моего Гордона, который клюет меня в щеку грустными отеческими поцелуями, точно приставучих комариков сажает.

День моего рождения возвещен был как-то странно — пахучей тенью ко мне прицелился некий благоуханный дух (безгласный и незримый). Поначалу я решила, что это просто мокрый боярышник. Боярышник и сам по себе довольно грустный запах, но в него вплетается странная прелость, и она не сидит в Боярышниковом тупике, а следует за мною по пятам. Запах шагает со мною по улице, заходит со мною в чужие дома (и со мною уходит — никак не стряхнуть его с хвоста). Он плывет со мною по школьным коридорам, сидит подле меня в автобусе — и даже в толчее соседнее место всегда пусто.

Это аромат прошлогодних яблок и нутра очень старых книг, и нотой смерти в нем — влажные розовые лепестки. Это экстракт одиночества, невероятно грустный запах, эссенция скорби и закупоренных вздохов. Если б таким парфюмом торговали, покупателей бы не нашлось. Скажем, рекомендуют покупательнице пробник за прилавком под яркими лампами:

«А „Меланхолию“ не желаете, мадам?» — и потом до глубокой ночи та неуютно ерзает от горестного камешка под ложечкой.

— Ну вот же, у меня за левым плечом, — говорю я Одри (подруге моей), а она принимает и отвечает:

— Не-а.

— Вообще ничего?

— Вообще, — качает головой Одри (моя к тому же соседка).

Чарльз (а это мой брат) корчит нелепую рожу и сопит, как свинья под дубом.

— Да не, тебе мерещится, — говорит он и быстро отворачивается, чтоб я не заметила его внезапную гримасу печальной собаки.

Бедный Чарльз, он старше меня на два года, а я выше его на шесть дюймов. Босиком я под два ярда. Гигантский черешчатый дуб (*Quercus robur*). Тело мое — ствол, ступни — стержневые корни, пальцы бледными кротиками шарят во тьме земли. Голова моя кроной древесной тянется к свету. Это что, все время так будет? Я прорасту сквозь тропосферу, стратосферу, прямо в пустоту космоса, нацеплю диадему Плеяд, завернусь в шаль, сотканную из Млечного Пути. Батюшки, батюшки мои, как сказала бы миссис Бакстер (это мама Одри).

Во мне уже пять футов десять дюймов, за год я вырастаю на дюйм с лишним — если и правда так дальше будет, к двадцати годам я перевалю за шесть футов.

— А к сорока годам, — я считаю на пальцах, — почти дорасту до восьми.

— Батюшки мои, — говорит миссис Бакстер и хмурится — пытается вообразить.

— А к семидесяти, — мрачно подсчитываю я, — больше одиннадцати футов. Буду на ярмарках выступать. — Глиблендская Гигантесса.

— Ты теперь настоящая женщина, — говорит миссис Бакстер, изучая мою небоскребную статистику. А еще какие бывают? Ненастоящие? Моя мать (Элайза) — ненастоящая, исчезла, почти забыта, ускользнула из оков настоящего — ушла в лес и не вернулась.

— Большая ты девочка. — Мистер Рис (наш жилец) ощупывает меня взглядом, когда мы сталкиваемся в дверях столовой.

Мистер Рис — коммивояжер; будем надеяться, на днях он проснется и обнаружит, что превратился в здоровенное насекомое.<sup>[7]</sup>

Жалко, что Чарльз застрял на отнюдь не героическом росте. Утверждает, будто раньше был пять и пять, а недавно померил — он часто

мерит — и оказался всего пять и четыре.

— Усыхаю, — горюет он.

Может, и в самом деле, а я между тем расту и расту (как заведенная). Может, мы связаны странным законом родственной физики, два конца линейной растяжимой вселенной: если один больше, другой меньше.

— Он у нас коротышка, — резюмирует Винни (тетка наша).

Чарльз уродлив, как сказочный гном. Руки длиннющие, а тело как бочка, шея коротка, голова раздута — не человек, а гомункул-переросток. Увы, его (некогда прелестные) медные кудряшки покраснели и стали как проволока, веснушчатое лицо сплошь в болячках и язвах, как безжизненная планета, а крупный кадык прыгает вверх-вниз, точно рыжее яблоко в ведре с водой на Хеллоуин. Жалко, что нельзя поделиться с ним дюймами, — мне-то столько не надо.

Девочкам Чарльз не нравится, и по сей день ему ни одну не удалось залучить на свидание.

— Наверное, умру девственником, — грустит он.

Бедный Чарльз, он тоже ни с кем не целовался. Есть одно решение — можно поцеловаться друг с другом, — но инцест, весьма заманчивый в якобинской трагедии, на домашнем фронте как-то теряет притягательность.

— Ну ты сама подумай, — говорю я Одри. — Инцест. Это же ни в какие ворота.

— Да? — откликается она, и ее печальные глаза, что как крылья голубиные, вперяются в пустоту, отчего она смахивает на святую, обреченную на мученическую смерть.

Одри у нас тоже нецелованная — ее отец, мистер Бакстер (директор местной началки), не подпускает к дочери мальчиков. Невзирая на возражения миссис Бакстер, он постановил, что Одри взрослеть не будет. Если у нее разовьются женственные округлости и женские чары, мистер Бакстер, вероятно, запрет ее на вершине очень высокой башни. А если мальчики обратят внимание на эти ее округлости и чары, пойдут на штурм бирючин, обступающих «Холм фей», и попробуют вскарабкаться по червонному золоту длинной косы Одри, я почти не сомневаюсь, что мистер Бакстер будет отстреливать их одного за другим.

«Холм фей» — так называется дом Бакстеров. «Хълм самодив», — произносит миссис Бакстер со своим чудесным мягким акцентом; это пошотландски. Миссис Бакстер — дочь священника Церкви Шотландии и выросла в Пертшире («Пэрртшиэре»), что, несомненно, сказалось на ее произношении. Миссис Бакстер милая, как ее акцент, а мистер Бакстер мерзкий, как черные усики у него под носом, и бесноватый, как его

вонючая трубка (она же, в траковке миссис Бакстер, — «смрадная камина»).

Мистер Бакстер высок и сухопар, он сын шахтера, в голосе у него пласты угля — не помогают ни черепаховые очки, ни твидовые пиджаки с кожаными заплатами на локтях. Если не знать, не угадаешь, сколько ему лет. Правда, миссис Бакстер знает, ей никак не забыть, потому что мистер Бакстер нарочно ей напоминает («Не забывай, Мойра, я *старше*, умнее и лучше знаю жизнь»). Одри и миссис Бакстер зовут его «папочка». Когда Одри училась у него в классе, ей полагалось звать его «мистер Бакстер», а если она забывалась и говорила «папочка», он заставлял ее стоять перед всем классом до конца урока. «Питером» они его не зовут, хотя, казалось бы, это его имя.

Бедный Чарльз. Вырасти он повыше, ему наверняка жилось бы легче.

— Ну, ты-то здесь ни при чем, — дуется он.

Иногда у меня невозможные мысли: скажем, останься мама с нами, Чарльз бы попрос.

— А мама была высокая? — спрашивает он Винни.

Винни ровесница века (ей шестьдесят), но оптимизму не обучена. Наша тетя Винни — сестра отца, а не матери. У мамы, судя по всему, родных не было, хотя когда-то ведь были, не из яйца же она вылупилась, как Елена Троянская, а даже если и так, ее ведь должна была высидеть Леда? Наш отец Гордон высокий, «а Элайза?» Винни кривится, этак нарочито припоминает, но картинка расплывается. Выуживает отдельные черты — черные волосы, линию носа, тонкие щиколотки, — но подлинная Элайза из деталей не складывается.

— Не помню, — как всегда, отмахивается Винни.

— А по-моему, очень высокая, — говорит Чарльз — видимо, забыл, что последний раз видел Элайзу совсем маленьким. — Она точно не была рыжей? — с надеждой уточняет он.

— Никто не был рыжий, — решительно отвечает Винни.

— Ну, кто-то же был.

Наша жизнь вылеплена из отсутствия Элайзы. Она ушла, «удрала со своим красавцем-мужчиной», как выражается Винни, и отчего-то забыла взять нас с собой. Может, по рассеянности или хотела вернуться, но заблудилась. Мало ли что бывает: скажем, наш отец после ее исчезновения и сам пропал, а спустя семь лет вернулся и все свалил на потерю памяти.

— Перерыв на хулиганство, — куксится Уксусная Винни.

Почти всю жизнь мы ждем Элайзиных шагов на тропинке, ее ключа в двери, ее возвращения в нашу жизнь (*Вот и я, голубчики!*) как ни в чем не бывало. И такое случается.

— Анна Феллоуз из Кембриджа, штат Массачусетс, — сообщает Чарльз (он у нас специалист), — ушла из дому в тысяча восемьсот семьдесят девятом году и вернулась двадцать лет спустя как ни в чем не бывало.

Если б мама вернулась — она вернулась бы вовремя (ну, условно), к моему шестнадцатилетию?

Будто и не было никакой Элайзы — не осталось улик, ни фотографий, ни писем, ни сувениров, никаких якорей, что привязывают людей к реальности. Воспоминания об Элайзе — тени сна, дразнящие, недоступные. Казалось бы, «наш папаша» Гордон должен помнить Элайзу лучше всех, но как раз с ним-то и не поговоришь — умолкает, чуть о ней заикнешься.

— Она, Наверно, не в своем уме (или же «умопобъркана») — бросить детишек, таких лапочек, — кротко высказывается миссис Бакстер. (У нее все детишки лапочки.)

Винни регулярно подтверждает, что наша мать и впрямь была «не в своем уме». А где — в чужом? Но если человек в своем уме, там больше никого нет, а значит, никакого царя, а значит, он без царя в голове — и опять-таки свихнулся, да? Или она «не в своем уме», потому что не может туда войти, потеряла ключ от своей головы? Получается, она умерла, бродит по астральному плану бытия, сунув голову под мышку, как призрак из мюзик-холла, и любезничает с Зеленой Леди.

Если б остались сувениры, хоть какое-нибудь доказательство маминого существования — записка, например. Как бы мы вперялись в скучнейшие, прозаичнейшие послания — *Жду к обеду!* или *Не забудь купить хлеба*, — тщились бы расшифровать нашу маму, ее безграничную любовь к детям, искали бы закодированные сообщения, которые объяснили бы, отчего ей пришлось уйти. Но она не оставила нам ни единой буковки, не из чего ее воссоздать, мы складываем маму из пустоты, из воздушных пространств, из ветра на воде.

— Между прочим, ваша мамка была отнюдь не святая, — говорит Дебби, втискивая Элайзу в свой заурядный лексикон.

Элайза (во всяком случае, *идея Элайзы*) лишена уютности, она никакая не «наша мамка». В незримости она обрела совершенство — Дева Мария, царица Савская, Царица Небес и властительница ночи в одном лице, королева нашей невидимой, воображаемой вселенной (дома).

— Ну, ваш папаша иначе говорит, — самодовольно отмечает Дебби. Но что именно говорит «наш папаша»? Нам он не говорит ничего.

Дебби? Толстый бледный суррогат, которым «наш папаша» четыре года назад заменил «нашу мамку». В семилетних странствиях по водам Леты (вообще-то, по Северному острову Новой Зеландии) Гордон позабыл Элайзу (не говоря уж про нас) и вернулся с совершенно другой женой. Жена Дебби — бурый перманент, свинячьи реснички, толстые пальцы с обкусанными ногтями. Кукольная жена, круглолицая, глаза — как вода в тазу с грязной посудой, в голосе эссекские равнинные болота слегка разбавлены антиподным скулежом. Малолетняя жена, немногим старше нас. Украдена Гордоном из колыбели, как выражается Винни, — Винни архивраг жены Дебби.

— Считайте, что я ваша старшая сестренка, — посоветовала нам Дебби по приезде. Потом-то запела иначе — пожалуй, теперь предпочла бы вовсе никакого касательства к нам не иметь.

Как мог Гордон позабыть своих детей? И жену? В свои потерянные годы на дне мира услышал коварные посулы джинна («Новые жены за старых!») и обменял нашу мать на жену Дебби? А сокровище Элайза (дороже, чем полкоролевства) и сейчас томится в ужасной пещере, ждет, когда мы найдем ее и освободим?

Уж не знаю, каких сказок Гордон наплел Дебби на другом конце света, но к жизни у нас дома он ее подготовил неважно.

— Так это твои детки, Гордон? — несколько изумилась она, когда Гордон нас познакомил. Она-то, наверное, ожидала узреть двух очаровательных сироток, которые ждут не дождутся новую мамочку. Гордон, видимо, не сообразил, что за семь лет мы превратимся в детей подземелья, сумеречных тварей, не видящих солнца.

Одному богу известно, каким она воображала «Арден», — думала, вероятно, тут у нас «Мандерлей»,<sup>[8]</sup> славный пригородный домик или даже небольшой замок, где воздух напоен благоуханием, но уж явно не этот разоренный псевдотюдоровский музей. Что касается Винни...

— Приветик, тетенька Ви, — сказала Дебби, выставив руку и вцепившись в клешню Винни, — я жуть как рада с вами наконец познакомиться.

И лицо у «тетеньки Ви» чуть не треснуло пополам.

— Тетенька Ви? Тетенька Ви? — бормотала она потом. — Я, дьявол вас дери, никакая никому не тетенька. — Вероятно, забыла, что она, дьявол нас дери, приходится тетенькой нам.

Брат мой Чарльз отучился в школе, так и не явив учителям заметных талантов. Сейчас работает в отделе электротоваров в «Базилике», великолепном универмаге Глиблендса, — строили его, тщась переплюнуть шикарные лондонские универмаги, и на крыше когда-то красовалась аркадская беседка, укомплектованная зеленой лужайкой, журчащими ручейками и стадом овец. Это, конечно, было давным-давно, во времена почти мифические (1902 год), а Чарльз довольствуется обстановкой пообыденнее и околачивается среди богатого ассортимента пылесосов, миксеров и радиол. Отчего ему, похоже, ни горячо ни холодно. По-моему, он там целыми днями грезит наяву. Он такой мальчик (мужчиной мне его ни за что не вообразить): верит, что *в любую минуту* может произойти нечто необычайное и его жизнь навеки изменится. Собственно, почти все так живут.

— Тебе не кажется, — он таращится, глаза вот-вот выпрыгнут, и в задумчивости подбирает слова, — будто вот-вот что-то *произойдет*?

— Нет, — вру я, потому что нечего ему потакать.

— Я в «Базилике» просто время тяну, — объясняет Чарльз свою замечательно тоскливую внешнюю жизнь.

(И на какую же оценку он это время тянет? Хорошо с минусом? Удовлетворительно с плюсом? Он бы поостерегся, не то однажды время поставит ему свои оценки. «Охти, уж это точно, — говорит миссис Бакстер. — Час расплаты настанет как пить дать».)

Еще у Чарльза водятся хобби — нормальных не ждите, никакой филателии или созерцания птичек, что обычно занимают пригородную молодежь; нет, Чарльз помешан на загадках необъяснимого — инопланетяне и летающие тарелки, исчезнувшие цивилизации, параллельные вселенные и путешествия во времени. Его увлекает жизнь других измерений, он тоскует об иных мирах. Вероятно, потому, что от жизни в этом мире ему никакой радости.

— Они где-то там, — изнывает он, глядя в ночное небо. («Там и останутся, коли ума хватит», — фыркает Винни.)

Его конек — таинственные исчезновения; он одержимо протоколирует их в разлинованных блокнотах, страница за страницей, округлым детским почерком, каталогизирует пропавших — от кораблей и смотрителей маяков до целых пуританских колоний в Новом Свете.

— Роанок, — говорит он, сверкая глазами, — целая пуританская колония в Америке, исчезла в тысяча пятьсот восемьдесят седьмом. Родили первого белого ребенка на континенте — и он тоже исчез.

— Ну так их всех небось краснокожие перерезали? — говорит Кармен

(Макдейд, подруга моя), листая его блокнот.

Кармен не подозревает, что на свете возможны фразы, в которые одновременно влезают слова «частная» и «собственность».

Чарльз ищет закономерностей. Многочисленные суда — корабли в открытых морях без никого на борту и лодки, уплывшие в никуда по Миссисипи, — пали жертвами не опасностей водных странствий, но инопланетных похищений. Тенденция («Ну, вообще-то, двое», — неохотно признает Чарльз) мальчиков по имени Оливер пропадать по пути к колодцу, число фермеров-южан, исчезнувших при переходе через поле, — писатель Амброс Бирс об одном таком инциденте сочинил эссе под названием «Попробуй-ка перейти поле» («А потом *и сам исчез*, Иззи!»), — все это сплетается в обширный иномирный заговор.

Больше всего его завораживают — неудивительно, если учесть склонность наших родителей исчезать, — истории о людях: развеселая дамочка пошла прогуляться по городу, человек побежал из Лемингтона в Кавентри, среди наиобыкновеннейшей жизни люди вдруг испарились — и след простыл.

— Бенджамин Бэтхёрст, Орион Уильямсон, Дороти Арнольд, Джеймс Уорсон<sup>[9]</sup> — любопытная литания, жертвы всемирного ластика — раз и нету! — Чарльз щелкает пальцами, точно фокусник-недоучка, одна ярко-рыжая бровь вздернута в мультяшном изумлении (уместном либо не очень), к которому Чарльз прибегает почти в каждом разговоре. Будто невидимая рука выдернула людей из жизни. — Развоплощение, Иззи, с кем угодно может случиться, — с жаром продолжает он, — в любую минуту.

Малоутешительно.

— Шизанутый братец у тебя, — говорит Кармен, так яростно всасываясь в мятую мятную конфету, что щеки западают. — К мозгоправу пускай сходит.

Но на самом-то деле вопрос в том, куда *подевались* все эти люди, которых след простыл. В одно и то же место? «След простыл» — это вряд ли правильно, наверняка этот след без конца топчут звери, дети, взрослые, бороздят корабли, аэропланы, всякие Эми и Амелии.<sup>[10]</sup>

— А вдруг мама не сбежала? — размышляет Чарльз, сидя у меня в ногах и глядя на синий квадрат неба в окне. — Вдруг она просто развоплотилась?

Я замечаю, что здесь вряд ли уместно слово «просто», но понимаю его — если так, значит, она не бросила детей (нас) по доброй воле, не оставила одних, позабытых и позаброшенных, в холодном жестоком мире. И тому

подобное.

— Чарльз, закрой рот. — Я прячу голову под подушку. И все равно его слышу.

— Инопланетяне, — решительно объявляет Чарльз, — всех этих людей похитили инопланетяне. И маму тоже, — пригорюнивается он. — Вот что с ней произошло.

— Ее похитили инопланетяне?

— Ну а что? — храбро упорствует Чарльз. — Все возможно. — (Однако что возможнее — мать, похищенная инопланетянами, или мать, удравшая со своим красавцем-мужчиной?) — Конечно инопланетяне, — считает Чарльз.

Я сажусь и покрепче заезжаю ему по ребрам, чтоб умолк. Столько лет прошло (одиннадцать), а Чарльз все никак не отпустит Элайзу.

— Чарльз, иди отсюда.

— Нет-нет-нет, — отвечает он, и глаза у него горят положительным безумием. — Я чего-то нашел.

— Чего нашел?

Еще только восемь утра, и Чарльз в пижаме — бело-малиновой полосатой фланели, под воротником ярлык «12 лет», но Чарльз из этой пижамы так и не вырос. Если его похитят инопланетяне, чему они поверят — тому, что он скажет, или тому, что на ярлыке? Он, кажется, забыл, что у меня сегодня день рождения.

— У меня сегодня день рождения, Чарльз, — говорю.

— Да-да, глянь. — Из полосатого нагрудного кармана он достает что-то обернутое носовым платком. — Вот чего нашел, — шепчет он, будто в церкви, — в ящике, в глубине.

— В ящике? — (Значит, не подарок.)

— В серванте, скотч искал. — (Для подарка, надеюсь.) — Глянь! — волнуется он.

— Старая пудреница? — недоумеваю я.

— Ее! — торжествует Чарльз.

И спрашивать не нужно, кто такая эта «она», — об Элайзе он всегда говорит особым тоном, благоговейно и таинственно.

— С чего ты взял?

— Тут написано. — И он сует пудру мне под нос.

Дорогая пудреница, но старомодная, тонкая и плоская, тяжелый золотой диск. На крышке ярко-голубая эмаль, инкрустация — жемчужные пальмы. Замок по-прежнему тугой, открывается со щелчком. Пуховки нет, зеркальце запорошено, а посреди лужицы пудры — плотной бледно-

розовой — протерт серебристый кружок.

— Ну и чем докажешь? — не уступаю я, и он забирает у меня пудреницу, переворачивает, и почти невидимый снежок присыпает стеганое покрывало.

— *Глянь.*

Золотое подбрюшьи пудреницы исчерчено тонкими кругами, на нем гравировка. Я подношу пудреницу ближе к квадрату синевы и разбираю ходульное послание:

Моей дражайшей супруге Элайзе по случаю ее двадцать третьего дня рождения.

От любящего мужа Гордона. 15 марта 1943 года.

На миг перед глазами все плывет, хотя я сижу на постели. Не в пудренице дело, не в послании, а в этой розовой пудре: она сладко пахнет древностью, пахнет взрослыми женщинами, и в ней — без тени сомнения — дрожит многозначительная нота, запах грусти, *L'Eau de Melancholie*, что безутешно бродит за мною по пятам.

— Ну, короче, — говорит Чарльз, — я считаю, это ее, — угрюмо сует пудреницу в карман и отчаливает, так и не поздравив меня с днем рождения.

Чуть позднее Гордон просовывает голову в дверь моей спальни, старательно улыбается (и все равно у него получается удрученно) и говорит:

— С добрым утром, новорожденная.

Про пудреницу я не упоминаю: Гордон лишь глубже погрузится в пучины уныния, да и вряд ли пудреница напомнит ему о первой жене — ему о ней ничто не напоминает. Может, за семь лет на Другом краю света инопланетяне стерли ему память об Элайзе? (Надо ли говорить, что это теория Чарльза.) Впрочем, перед нами ведь человек, который и себя-то забыл, не говоря о близких. («Но ведь это замечательно, что ваш папочка жив и здоров? — говорит миссис Бакстер. — Это же... — она подбирает слово, — чудо чудесное!») Однако, вернувшись — запросто войдя в дверь, как Анна Феллоуз в 1899 году, — он прекрасно помнил, кто мы такие. («Чудо чудесное, — сказала миссис Бакстер, — столько лет прошло, и он вдруг вспомнил, кто он такой!»)

Он протягивает мне чашку чая и говорит:

— Подарок потом вручу. — И слова его жизнерадостнее тона (с моим

отцом вечно так). — Чарльза не видела?

Это тоже такая отцовская странность — вечно спрашивает у одних людей, где другие люди. «Не видала Икса? Не знаешь, где Игрек?» — хотя искомого легко найти в его привычной среде обитания: Винни — в кресле, Дебби — в кухне, Чарльз погружен в Брэдбери или Филипа К. Дика, мистер Рис занимается неизвестно чем у себя в комнате. Как-то раз, вскоре после приезда, Дебби с тряпкой для пыли и политурой на изготовку властно постучалась к мистеру Рису, увидела, чем он там у себя занимается, развернулась и ретировалась.

— И чем? — приставал к ней Чарльз, но Дебби не желала отвечать:

— Я язык не распускаю.

Еще бы нос ей укоротить.

Меня найти легко: обычно я лежу на постели, изображаю мертвого Чаттертона,<sup>[11]</sup> убиваю время, поглощая книгу за книгой (я предпочитаю такие иные миры — других надежных пока не обнаружила).

— Я подозреваю, Чарльз у себя в комнате, — говорю я Гордону, а тот удивленно воздевает брови, словно ему и в голову не приходило искать Чарльза там.

Наверное, Гордон был бы рад, если б Чарльз достиг большего, но помалкивает. В конце концов, сам Гордон успешно достиг меньшего. Когда-то он был другим человеком, наследником нашего личного торгового состояния — патентованной бакалеи «Ферфакс и сын», но состояние давным-давно разбазарено по безалаберности. «Ферфакс и сын» ныне зовутся «Мэйбериз», в эту самую минуту преобразуются в первый супермаркет Глиблендса и вот-вот понесут кому-то золотые яйца — не нам. А прежде, еще до бакалеи, Гордон был кем-то третьим (тоже в мифические времена — в 1941-м) — героем, летчиком-истребителем с медалями, даже фотографии есть. Когда-то Гордон сиял, Гордон светился, а из семилетнего странствия вернулся поблекшим, вовсе не «нашим папашей».

— Может, это и не папа вообще? — тихонько гадал тогда Чарльз. (И в самом деле, ни внешне, ни внутренне этот человек на папу не походил. Но если не он, тогда кто это?) — Кто-то *притворяется* папой. Самозванец, — объяснял Чарльз. — Или как в «Захватчиках с Марса»<sup>[12]</sup> — тела родителей захватили инопланетяне. — А может, он из параллельного мира. Зазеркальный такой отец.

Или же просто Гордон вернулся после семилетней отлучки с новой молодой женой, а Элайза никогда не возвратится. Но нам такая реальность не по вкусу.

— Он вдовец, ваш отец, — на удивление поэтично отмечает Кармен. Хорошо, что не мертвец и не подлец. Но мы бы предпочли, чтоб он был счастлив наконец. — Может, он боец? — гадают Кармен. Да вообще-то, нет, не особо.

Малькольм Любет. Вот мое желание, если положено загадывать. Вот чего я хочу на день рождения и на Рождество, и всего наилучшего, — вот о чем я больше всего мечтаю в житейской тьме кромешной.<sup>[13]</sup>

Даже имя его намекает на романтику и приязнь (Любет, а не Малькольм). Я его знаю всю жизнь — Любеты живут на Каштановой авеню. Малькольм вырос красавцем, высоким, спортивным, руки-ноги соразмерны — среди учеников глиблендской средней школы этот феномен встречается реже, чем вы думаете.

Девчонки от него без ума. Таких мальчиков ведешь знакомиться к матери (если она у тебя есть), таких везешь на Прыжок Влюбленных, целуешься и ломаешься в машине — да такие мальчики на все сходятся. Все только и талдычат о том, какое у Малькольма Любета многообещающее будущее, он учится на медицинском при больнице Гая, а сейчас вернулся домой на пасхальные каникулы.

— Пошел по стопам отца, — кривовато улыбается он.

Отец у него гинеколог. «Извращенец» — таков вердикт Винни касательно данной специальности; у нее были «женские проблемы», лечилась у мистера Любета: «Ну какому мужчине охота совать руки в женщин? Извращенцу разве что». Интересно, что станет со мной и Чарльзом, если мы пойдем по стопам отца? Наверное, мы заблудимся.

Малькольм хочет стать нейрохирургом, — по-моему, такое же извращение; кому в здравом уме охота совать руки в чужие головы?

Бедный Малькольм, у него вместо матери людоедка. У него оба родителя — нетерпимые снобы; удивительно, как им удалось завести такого сына. Или неудивительно, — вообще-то, Малькольма усыновили. Любеты тогда были уже пожилые.

— По-моему, когда я появился, они не понимали, что со мной делать, — говорит Малькольм. — Я не пил джин и не играл в бридж. — Теперь научился и тому и другому.

Увы, сей принц, он вне моей звезды.<sup>[14]</sup>

— Я даже не знаю, Из, — угрюмствует он; мы жуем чипсы. — Я вообще хочу врачом-то быть?

Вот ведь что ужасно — он меня считает другом. Он оглаживает темные кудри, отбрасывает их с прекрасного лба.

— Хороший ты друган, Из, — вздыхает он.

Я ему приятель, «друган», «кореш» — жестянка собачьего корма, а не представитель женского пола и уж явно не объект желаний. Я столько лет преданной шавкой шлялась за Малькольмом по древесным улицам, что в его глазах напрочь лишилась женских качеств.

Я снова погружаюсь в прерывистую утреннюю дрему — в школу не надо, и никакой день рождения не выманит меня из постели. Шансами уснуть не разбрасываются. В «Ардене» все спят беспокойно, все слышат, как перекликаются ночные часовые: совы скрипят, воют собаки.

— Еще не легла? — удрученно улыбается взъерошенный Гордон, среди ночи встретив меня на лестнице.

— Все колобродишь? — осведомляется Винни (раздраженная, с сеткой на волосах и в халате).

Когда просыпаюсь, небо закипает, в окне друг за другом гоняются белые облачные мазки, ветер дребезжит стеклом. Может, в день рождения со мной что-нибудь произойдет? (Помимо укола веретеном.) Я неохотно выползаю из постели.

Разумеется, можно было провести выходные с Юнис.

— Хочешь, — бойко предложила она, — поехали к нам в Клиторпс? Отпразднуем день рождения в трейлере.

Бойкая Юнис — последняя, кого я *выбрала* бы себе в друзья, но друзей, разумеется, не выбирают — это они выбирают тебя. В первый же день, явившись в среднюю школу, Юнис вцепилась в меня, как моллюск, и с тех пор не отстает, хотя между нами нет ничего общего и я не оставляю попыток ее отодрать. Наверное, войдя в школьные ворота, она просто первым делом заметила меня. («Может, она зачарована?» — размышляет Одри.) Но Юнис не зачаруешь — она слишком здравомыслящая.

Очень невзрачная — белые гольфики, косой пробор, заколка, тяжелые очки в черной оправе. За пять лет ни чуточки не изменилась, только грудь больше не плоская, а на икрах черные волоски, будто ноги ей обклеили оторванными лапками целой паучьей колонии. Чувства юмора ноль, живет очень упорядоченно — из тех, кто перед сном выкладывает одежду на завтра, а домашку делает, едва вернувшись из школы. У меня другой порядок — я ложусь спать, *не снимая* школьной формы.

Юнис знает *все на свете* — и не надейся об этом забыть: почтового ящика или бездомной кошки довольно, чтоб Юнис пустилась в рассуждения об изобретении почтовых марок или эволюции саблезубых тигров. *Щелк-щелк-щелк*, говорит ее мозг. Он иначе устроен; мой, скажем,

мозг — винегрет из живописи, поэзии и морских валов эмоций; если нырнуть в эту ментальную мешанину, можно случайным образом извлечь «Королевские идиллии»,<sup>[15]</sup> утопление «Титаника» или смерть Старого Крикуна,<sup>[16]</sup> а у Юнис мозг — как библиотечная картотека: непомерные горы фактов, четкая система поиска и справочная, которая никогда не затыкается. *Щелк-щелк-щелк.*

Она командир гёрлгайдов — школьной формы не видно из-под значков, — преподает в воскресной школе, поет в школьном хоре, вратарь в хоккейной команде, чемпионка школы по шахматам и любит вязать. Хочет стать ученым и завести двух детей, мальчика и девочку (вероятно, свяжет их крючком), а также надежного мужа с высокооплачиваемой работой.

Ее мать миссис Примул вечно повторяет:

— Ой, Юнис, ты друзей привела! — Всякий раз удивляется, что Юнис способна с кем-то подружиться.

Примулы живут на Лавровой набережной — так близко, что аж неуютно.

Примул, считаем все мы, — очень красивое имя, и ужасно жаль, что оно сочетается с Юнис, — ее ведь могли бы назвать «Лилия, или Роза, или Жасмин, или даже... Примула».

Это замечание адресовано Чарльзу за моим деньрожденным обедом — макароны с сыром; я пытаюсь пробудить в нем интерес к Юнис как девушке (взамен ее прежнего воплощения «смертоубийственная зануда»); я руководствуюсь принципом «из двух недоделков получится один доделанный».

— Маргарита, — непрошено вмешивается мистер Рис, — Ирис, Иви, Лиана... знавал я одну Лиану, — фыркает он. — Ничего так себе была... Вероника, Мальва, Фуксия... — (Нет на свете человека скучнее мистера Риса.) — Георгина, Гортензия...

— Солодка, горечавка, ламинария, — раздраженно перебивает Винни.

— Фло-ра, — мечтательно тянет Чарльз. — Очень красивое имя.

Мистер Примул, отец Юнис, — актуарий при свете дня, актер в ночи темной (это он так шутит). Руководит местным драмкружком «Литские актеры» и, дабы подчеркнуть свои артистические наклонности, на работу ходит в галстук-бабочке, а дома нацепляет шелковый платок. Его улещиваниям я противлюсь — я не собираюсь вступать в их драмкружок, это дряхлая шушера, над которой все ржут, даже когда они играют трагедию. Особенно когда они играют трагедию. Недавно залучили к себе Дебби, но пока на сцену не выпустили. Видимо, даже у мистера Примула

есть понятие о высоте планки.

Мистер Примул в свое время весьма эффектно изображал леди Брэнкнелл.

— Ой, он все время что-нибудь такое репетирует, — говорит Юнис. — Я тут на днях застала его в мамином неглиже.

Это вот нормально? Но с другой стороны — что есть норма? Уж явно не семейство Кармен: Макдейды питают пристрастие к непринужденному рукоприкладству, и наилюбезнейшая беседа с ними рискует завершиться травмой — ударом в ухо, апперкотом в живот.

— Да уж, — говорит Кармен, щелкая жвачкой, точно хлыстом, — не фонтан, да?

Кармен худа как глиста, кожа восковая, желтая, почти прозрачная, синие вены проступают под ней, как на графике в кабинете биологии. Хуже всего ступни — тощие и плоские, с распяленными пальцами, несоразмерно огромные, а вены на них — как клубок железнодорожных развязок. Если у нее в шестнадцать такие ноги, что же в старости-то будет? Но вообще-то, она и сейчас уже старуха.

Кармен при первом же удобном случае бросила школу и обручилась с кряжистым пареньком, которого, хоть и не верится, зовут Хук, — он вполне сойдет за ее брата. У нее все будущее расписано — свадьба, дети, дом, долгая дорога к старости.

— Не очень-то романтично, а? — вякаю я, но она смотрит на меня так, будто я заговорила по-тарабарски.

Она работает продавщицей в сырном отделе «Бритиш хоум сторз», и я вынуждена ошиваться там часами — делать вид, будто мне позарез необходимы полфунта желтого чеддера.

Вроде неплохая работенка, я бы, пожалуй, и сама не отказалась сыром торговать. Голова между тем занималась бы чем пожелает — ничем особенным она обычно не занята, это правда, но мне нравится в одиночестве царствовать у себя в голове, я привыкла. Разумеется, может выйти и наоборот: и рассудок мой не будет блуждать в пустоте, а до краев заполнится сплошным сыром. Кармен подтверждает мои опасения — главным образом красным лестером, сообщает она, когда я прошу уточнений.

И бедная Одри, тихая скромница, ее не сразу и разглядишь — так она трепещет пред мистером Бакстером, чья черная сущность вечно реет поблизости. Может, вот как исчезают люди — не внезапно, как в необъяснимом мире Чарльза, где их таинственно выдергивают из жизни, но постепенно, день за днем, сами себя стирают.

Тело как у феи, волосы ангельские — Одри иллюзорна, вообще не от мира сего.

— Поешь что-нибудь, Одри, прошу тебя, — вечно взывает миссис Бакстер, порой даже ходит за Одри по комнате с тарелкой и ложкой, будто надеется застать дочь врасплох: вдруг та нечаянно откроет рот и удастся сунуть туда кусок.

Не удивлюсь, если однажды миссис Бакстер отрыгнет комочек пищи и сунет Одри в клювик. Одри которую неделю нездоровится, грипп, никак не оклемается, ползает по «Холму фей», кутаясь в огромные кардиганы и мешковатые свитеры, и печалится.

— Да что такое с Одри? — то и дело рывкает мистер Бакстер, будто она заболела ему назло.

Все мы какие-то помятые, внутри или снаружи. Ванда, тетка Кармен, работает на шоколадной фабрике и поставляет Макдейдам бесчисленные пакеты конфетных уродцев, отвергнутых контролем качества. Пастилки, которым не дается геометрия, — ромбы вместо квадратов; шоколадные вафли, родившиеся тройняшками, а не двойняшками; мятные конфеты с заросшими дырками. Я воображаю нас — Кармен, Одри, Юнис и себя, — и на ум приходят конфетные уродцы Ванды; наши девичьи тела отвергнуты контролерами.

Отчего нет у меня подруг нордической красоты — высоких, златовласых, нормальных? Как Хилари Уолш. Хилари староста в глиблендской средней — ее сестра Дороти раньше тоже была старостой. Сейчас Дороти в Глиблендском университете (основан Эдуардом VI, один из старейших в стране). Хилари и Дороти — высокие умные блондинки, обе словно явились из швейцарской доильни. Уж эти-то не исчезнут. Уолши живут в большом георгианском особняке. У мистера Уолша какой-то бизнес, миссис Уолш — мировой судья.

У Хилари и Дороти есть старший брат Грэм, тоже студент Глиблендского универа. Грэм арийскими чертами обделен — мельче, худее, смуглее сестер, словно чета Уолш на нем только упражнялась.

Мальчики-красавцы, будущие стоматологи и юристы, вылитый гитлерюгенд, вьются вокруг Хилари и Дороти, точно осы над банкой варенья, — жаждут исследовать сие биологическое совершенство. Мои шансы стать такой, как сестры Уолш, равны нулю. Рядом с ними я трубочист, нищенка, и кожа у меня как грецкий орех.

— Какие ужасно *черные* у тебя волосы, Изобел, — однажды замечает Хилари (обычно она со мной вообще не разговаривает), пальчиком

поглаживая фарфоровую («английская роза») щеку. — И какие *темные* глаза! У тебя родители иностранцы?

Хилари держит своего белого пони на ферме за Боярышниковым тупиком, и порой я вижу, как она катается в поле вокруг леди Дуб. В утренней дымке Хилари натуральный кентавр — девушка и лошадь в равной пропорции.

Вот сейчас она медленно огибает леди Дуб — выездкой занимается. На ветвях у леди мелкие изумруды тугих почек. У друидов дерево — звено меж небесами и землей. Если забраться на леди Дуб, долезу ли я до небес, или обыкновеннейший великан-людоед, громохвая: «Фи-фай-фо-фам!» — сгонит меня обратно?

— С Днем дурака, — говорит Дебби (весьма не к месту), за обедом вручая мне подарок в обертке, и, не успеваю я насладиться сюрпризом, поясняет: — Красивая кофточка из «Маркса и Спаркса».

Если я апрельский дурак, тогда Чарльз, родившийся первого марта, вероятно, чокнутый мартовский заяц.

— Спасибо, — весьма нелюбезно бормочу я.

— Я просила собаку.

— Но у нас уже есть собака, — блеет Дебби, тыча в свою Гиги — карликового абрикосового пуделя, которого будто слегка подрумянили по краям; ни один волк не признает, что поучаствовал в эволюции этой твари.

Мистер Рис, в кои-то веки решив принести пользу, несколько раз устраивал покушения на Гиги — задушить, удавить, разорвать; увы, толку никакого. (В чем путешествует мистер Рис? В ботинках. Прежде Чарльз считал, что это утомительно.)

— Да господи боже мой, — говорит Винни, когда Дебби убирает у нее из-под носа водянистые макароны. Винни отнимает у нее тарелку.

— Вы ведь даже не *едите*, — негодует Дебби.

— И что? — ухмыляется Винни. (Из нее бы вышел отличный подросток.) — Это варево и собака есть не станет.

Дебби и впрямь стряпает чудовищно; трудно поверить, что в Новой Зеландии она закончила годичные курсы преподавателей домоводства. Что такое настоящая деньрожденная трапеза? Запеченный лебедь и грудки чибисов, ночки спаржи, листья артишока. И десерты, десерты, запеченные в форме замков и наряженные, как куртизанки, — утыканые мараскиновыми сосками и обернутые трубопроводом гирлянд из взбитых сливок. Я, впрочем, не утверждаю, что готова есть чибиса. Да и лебедя, если вдуматься.

Невзирая на препоны, Дебби цепляется за четкий шаблон семейной жизни, привезенный к нам четыре года назад, — его вырезали на каменных скрижалях и вручили ей люди под названием «мамуля и папуля». «Папуля» был школьным сторожем, «мамуля» — домохозяйкой, семья эмигрировала, когда Дебби исполнилось десять. Шаблон диктует наведение порядка в беспорядочном мире, что Дебби и проделывает посредством лихорадочных домашних хлопот.

— Выньте кто-нибудь ключик у нее из спины, — утомленно вздыхает Винни.

Я все жду, когда Дебби полезет в камин отделять чечевицу от золы.

«Арден» совершенно ее захомутал.

— Этот дом, — жалуется она Гордону, — живет своей жизнью.

— Не исключено, — вздыхает Гордон.

Дом, похоже, и в самом деле строит ей козни: Дебби покупает новые шторы — тотчас случается нашествие моли, Дебби кладет линолеум — стиральная машина организует потоп. Кухонная плитка трескается и отваливается, новые батареи отопления скрежещут, стонут и гремят в ночи, как банши. Дебби наводит в комнате чистоту, но, едва ступает за порог, пылинки вылезают из укрытия, перегруппируются на всех имеющихся поверхностях и хихикают, прикрываясь ладошками. (То, что незримо, приходится воображать.) Пыль в «Ардене», разумеется, не совсем пыль — это пудра усопших, хрупкая взвесь, ожидающая возрождения.

Дебби сажает овощи, а созревают морковки, смахивающие на корень мандрагоры, и зеленые картофелины. Тли и мошки роятся, как саранча, красная фасоль страдает карликовостью, капуста желтая, гороховые стручки пусты, газон убит, точно пустырь после бомбежки. А за изгородью у миссис Бакстер сад жужжит медоносными пчелами и зарос цветами — бобовые стебли щекочат брюхо облакам, каждый белый завиток на цветной капусте размером с дерево.

Бедная Дебби, и ее накрыло проклятие Ферфаксов, а именно: ничего хорошего никогда не выйдет, или, точнее, все выйдет плохо, едва тебе почудится, что, может, все выйдет хорошо.

— Ну, кто-то же должен это делать, — парирует Дебби, когда Винни осведомляется, так ли уж необходимо выйти из-за стола, чтобы Дебби его протерла, — а вы явно не собираетесь.

— Да уж, дьявол тебя дери, можешь не сомневаться, — отвечает Винни, но не встает, и Дебби приходится тереть вокруг, а Винни зубами цвета крокусов жует свою сигарету.

Винни всегда была героической *fumeuse*<sup>[17]</sup> (она пропитана никотином

насквозь), а в последнее время пристрастилась к самокруткам, и, куда ни пойдет, за ней сыплются ошметки «Золотой Виргинии».

— Какая гадость! — восклицает Дебби, натываясь на очередной бычок, из которого Винни высосала все жизненные соки. — Какая гадость! — восклицает Дебби, когда Винни приправляет табаком остатки макарон с сыром.

— Кто гадко поступает, тот и гадость, — загадочно бормочет Винни.

— Ну полно, полно, — миротворствует Гордон.

Ничего-то у него не выходит. Бедный Гордон. И глазом не моргнул, потеряв семейное состояние.

— Я и не хотел быть бакалейщиком, — говорит он, но хотел ли он стать конторской крысой отдела городского планирования в муниципалитете Глиблендса?

— При местных властях не прогадаешь, — подбадривает его Дебби, — пенсии, регулярные отпуска, может, по службе повысят. Как папулю. — («Куда повышают сторожей?» — недоумевает Чарльз.)

Чем Гордон занимался в Новой Зеландии? Он задумывается, удрученно улыбается:

— Овцеводством.

Единственное на всем белом свете, чего хочет Дебби, ей заказано. Дебби хочет ребенка. Судя по всему, она нерепродуктивна. («Бесплодна!» — каркает Винни.)

— Что-то с трубами не то, — поясняет Дебби (в менее библейских выражениях) всем и каждому. — Женские проблемы.

С трубами! Дебби — как большой водопровод, и вместо нервов, вен и артерий у нее внутри, наверное, колодцы, насосы и клапаны.

— Это все проклятие Ферфаксов, — утешает ее Чарльз.

Компенсируя бесплодность, Дебби жиреет. Она как большой мягкий пуфик на ножках. Обручальное кольцо вгрызается в палец, подбородков целый каскад. Ее неспособность плодоносить резко контрастирует с кошачьей империей «Ардена» (Винни — императрица), каковая разрастается в геометрической прогрессии.

Под столом Элеманзер,<sup>[18]</sup> одна из кошачьих придворных Винни, в припадке злонравной игривости оборачивается вокруг щиколоток мистера Риса. Тот проворно пинает животину и ухмыляется мне:

— Сладкие шестнадцать лет, а? — стирая макаронный сыр с жирных губ.

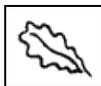
Мистер Рис, жилец, который никак не уедет, в последнее время почти сблизился с Винни — каждый пятничный вечер они играют в безик и

попивают мадеру.

— У них ведь нет *физических* отношений, как думаешь? — в ужасе шепчет Дебби Гордону, а тот фыркает и хохочет:

— Когда рак на горе свистнет.

Мистер Рис сдавленно вскрикивает — кошка в отместку запускает когти ему в ногу, — но удушает вопль салфеткой, ибо с Винни лучше не связываться.



— Я пеку тебе торт, — объявляет Дебби.

В духовке неуправляемо булькает что-то чудовищное. В кухне — средоточие зла, здесь у нас колыбель теории хаоса: чайная ложка, упавшая в одном углу, в другом вызывает пожар на плите и падение вообще всего с полка.

— Чудненько, — говорю я и улепетываю в «Холм фей», а запах грусти дышит мне в затылок.

В саду на задах миную Гордона — он созерцает гигантскую бузину, разросшуюся прямо под домом. Теперь из окна столовой видна только она — бузина стучит и трясет листьями в окно, будто умоляет впустить, за ради бога. Гордон, а-ля философ-дровосек, опирается на громадный старый топор.

— Придется рубить, — печалится он.

Лучше бы поостерегся: по некоторым данным, бузиной иногда прикидываются ведьмы.

В «Холме фей» меня встречает запах поприятнее деньрожденного торта.

— Джем, — говорит миссис Бакстер, собирая медовую пену с сахарной массы, булькающей в большой кастрюле; джем цвета темного янтаря и растаявших львов. — Последние севильские, — грустно прибавляет она, словно эти Севильские — некогда славный, а ныне разорившийся знатный род. — Малка мешани в тавичке, — велит она мне, вручая длинную деревянную ложку, — и загадай желание. Давай желай, желай, — повторяет она, точно слабоумная фея-крестная.

— Любое?

— Абсолютно.

(Я, разумеется, загадываю секс с Малькольмом Любетом.)

— Могла бы вечеринку закатить, — говорит миссис Бакстер, — или

поиграть.

Будь ее воля, мы бы целыми днями играли. У нее есть книжка «Домашние забавы» (миссис Бакстер ее очень любит) — реликвия стародавнего счастливого детства, там игры на любой случай.

— Игры в доме, — говорит миссис Бакстер, довольно кивая и помешивая джем, — ну, скажем, на Первое апреля? «Праздник Первого апреля, — читает она, — зачастую весьма занимателен, ибо кто же не любит дурака? Однако следует тщательно отбирать подходящих гостей». — (По-моему, вполне разумный совет.)

Одри нахохлилась за кухонным столом, аккуратным почерком старательно заполняет ярлыки — «Джем, апрель 1960», — и волосы обнимают ее лоб прозрачным нимбом червонного золота. Она поднимает голову и улыбается — чудесный кусок дыни, а не улыбка, неизменно подарок, точно солнышко выглянуло из-за хмурой тучи.

Сплошным золотым ливнем миссис Бакстер разливает горячий джем по блестящим стеклянным банкам. Миссис Бакстер запасливый хомяк, кладовая у нее набита всевозможным повидлом, желе и сырами — желе из диких яблок, терносливовый джем, клубничное варенье и бузинное, шиповниковый сироп и терновый ликер.

Когда в мире воцарится вечная зима, когда обледенеют медовые соты и увянет сахарный тростник, нас хотя бы взбодрит варенье миссис Бакстер.

Я отправляюсь домой с банкой еще теплого джема. («Варенье, варенье, варенье, — канючит Винни, любительница кисленького, — она что, больше ничего не умеет?»)

— Она что, думает, я не умею джем варить? — фыркает Дебби, получая очередную банку, но ужасный джем Дебби никто не ест, потому что, едва она его сварит, он весь идет зелеными пятнами, точно лунный сыр.)

Я закрываю калитку миссис Бакстер, а когда от нее отворачиваюсь — наиневроятнейший поворот сюжета: знакомая улица исчезла, и я стою не на тротуаре — я стою в поле. Улицы, дома, ровненькие шеренги деревьев — все пропало. Остались только леди Дуб и церковь, а вокруг сгрудились ветхие домишки. Место то же, но другое — это как?

Из Чарльзовых исследований паранормального я знаю, что люди сплошь и рядом пропадают, переходя поле. Может, это мне и грозит? Внезапно кружится голова, будто планета закрутилась быстрее; отчаянно хочется лечь и вцепиться в траву, чтоб не скинуло с лица земли. Правда, есть и другой вариант: меня всосет в почву, и следующие семь лет от меня

не будет ни слуху ни духу.

По счастью, ко мне кто-то идет — человек в котелке и длинном пальто с каракулевой оторочкой. На вид странный, но безобидный — не похож на пришельца, замыслившего меня похитить; нет, он прикасается к котелку, подходит ближе, вежливо осведомляется о моем самочувствии. В руке у него кипа бумаг — карты и планы, — и он радостно ими машет.

— Замечательный будет год, — сообщает он. — *Annus mirabilis*,<sup>[19]</sup> как говорят эти якобы образованные. Вот здесь, — грохочет он, топая по грязной траве там, где минуту назад росла высокая боярышниковая изгородь «Ардена», — вот прямо здесь. Я построю отличный дом. — И он оглушительно хохочет, будто удачный анекдот рассказал.

После нескольких минут отлучки ко мне возвращается голос:

— А какой именно, простите, год?

Человек как-то вздрагивает.

— Год? Тысяча девятьсот восемнадцатый, разумеется. А вы думали какой? И скоро, — продолжает он, — здесь будут дома. Куда ни кинь взгляд, барышня, — сплошные дома. — И он уходит, хохоча, шагает к литской церкви, перелезает через забор и исчезает.

А потом ноги мои опять на тротуаре, и вокруг деревья с домами.

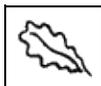
Кажется, я помешалась. Я помешана, следовательно думаю. Я помешана, следовательно думаю, что существую. Батюшки-светы, и помоги мне бобик, как сказала бы миссис Бакстер.

— Поразительно, — завистливо говорит Чарльз, — ты, наверное, угодила в разрыв пространственно-временного континуума.

Можно подумать, это нормально, можно подумать, я просто на море прокатилась. Остаток вечера он выпытывает у меня малейшие детали устройства этого мира иного: — А запахи были? Тухлые яйца? Статика? Озон?

Никакой такой гадости, раздраженно отвечаю я, только зеленая трава и горьковатый аромат боярышника.

Наверное, это какая-то космическая первоапрельская шутка. Мне всего шестнадцать, а я сочусь безумием, как дырявое решето.



Ну и как мне отметить день рождения? В идеальном (воображаемом) мире я была бы сейчас на диких пустошах за Глиблендсом, ветер трепал бы

мне юбки и волосы, я слилась бы в страстном объятии с Малькольмом Любетом, но, увы, он не постигает, что мы предназначены друг для друга, что в минуту рождения мира мы были едины, что мы две половинки яблока,<sup>[20]</sup> а мой шестнадцатый день рождения — самый подходящий случай воссоединить наши тела и предаться яростным восторгам.

— Ну, в «Стародавнем светиле» неплохо кормят, — советует Дебби, — и очень вкусное мороженое. — («Старейший паб Глиблендса — свадьбы и похороны. Заходите поужинать!»)

Но я, по-прежнему в сюрреалистическом шоке от столкновения с застройщиком, отправляюсь в «Пять пенни» и там поедаю рыбу с картошкой в обществе Одри и неизбежной Юнис, которая, к сожалению, ни в какой Клиторпс не уехала. Не забудем также о моем невидимом друге, запахе грусти.

По пути домой даже Юнис теряет дар речи, когда мы сворачиваем в Боярышниковый тупик: внезапно, без никаких прелюдий, над крышей дома Одри встает луна.

И не просто так луна, не обыкновенная, но огромный белый круг, большая мятная пастилка, почти мультяшная луна, и вся ее лунная география с морями и горами серо сияет, и чистый свет ее заливают древесные улицы, и он гораздо мягче уличных фонарей. Мы застываем, то ли зачарованные, то ли перепуганные этим магическим восходом.

Что такое с Луной? За последние сутки ее орбита приблизилась к Земле? Лунная гравитация тянет на себя прилив моей крови. Это ведь чудо, правда? Нарушение самих законов физики. К счастью, лунное безумие я переживаю не одна — Одри так вцепилась мне в локоть, что щиплет даже через пальто.

Еще секунда — и мы бы с луками и стрелами наготове ринулись в леса, за нами бы понеслись борзые, мы посвятили бы себя Диане, но тут встречается здравомыслящая Юнис:

— Мы наблюдаем иллюзию Луны — доказательство того, как мозг способен ошибочно трактовать воспринимаемые явления.

— Чего?

— Иллюзия Луны, — втолковывает она. — Это потому, что есть точки отсчета, — она машет руками, как чокнутый ученый, — антенны, трубы, крыши, деревья, и они нарушают наше восприятие размеров и пропорций. Вот, — она разворачивается и вдруг тряпичной куклой складывается пополам, — посмотрите на нее между ног. Видите! — торжествует она, когда мы наконец подчиняемся этому нелепому приказу. — Она уже не

такая большая. — (Да, грустно соглашаемся мы, уже не такая.) — Это потому, что у вас больше нет точек отсчета, — педантично продолжает она, и тут, к моему удивлению, Одри говорит:

— Юнис, помолчи.

А я любезно машу рукой туда, откуда мы пришли:

— На случай, если ты забыла, Юнис, твой дом там.

И мы убегаем — пускай возвращается домой в одиночестве. Луна всплывает в небо и уменьшается.

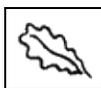
Про Луну я ничего не понимаю. Юнис может фонтанировать лунной статистикой до греческих календ — мне без разницы. В странствиях Луны по небесам я не вижу никакого порядка — сегодня она выпрыгивает из небесного кармана за «Холмом фей», завтра летит над Боскрамским лесом, а послезавтра вот она, за плечом, провожает меня по Боярышниковому тупику. Она прибывает и убывает с бредовым безрассудством: сначала тонкий обрезок ногтя, через минуту — горбатая долька лимона, а еще через минуту — надутая дыня. Вот тебе и правильная периодичность.

Я лежу в постели и смотрю в окно, а окно заполняет Луна. Я вижу Луну — Луна видит меня. Она в вышине, усохла до нормального размера, она свободна — Земля ее отпустила. Обыкновеннейшая Луна — не кровавая, не голубая и не ущербная Луна, что качает на руках новолуние, — нет, нормальная апрельская Луна. Благослови боже Луну. И благослови боже меня. Где-то в далекой дали воеет собака.

## Да что такое?

Лето заполняет древесные улицы, вновь наряжает их в зеленое.

— А вот забавно было бы, — мечтает Чарльз, — если б лето не пришло? И был бы мир вечной зимы?



Пробуждаюсь от малоприятного сна: я шла вверх по холму, точно Джилл без Джека, дабы набрать воды из колодца на вершине. Как известно, походы к колодцам чреваты инопланетными похищениями, и потому во сне я была очень довольна, что добралась до вершины и никуда не пропала.

Спустила ведро в колодец, услышала, как плещет вода, потащила ведро наверх. На дне что-то лежит — у меня улов. Что-то бледное, безжизненное, и я ахаю в ужасе — я поймала голову.

Веки у нее закрыты, лицо смутно напоминает посмертную маску Китса, а потом глаза вдруг распахнулись и голова заговорила, омертвелые губы медленно зашевелились — и я узнала этот римский нос, темные кудри, длинные ресницы; я выловила голову Малькольма Любета. Скорее голова статуи, чем настоящая отрубленная, — скол чист и ровен, ни сосуды, ни порванные сухожилия не извивались щупальцами в ведре.

Голова испустила ужасный вздох, вперилась в меня мертвым взглядом и взмолилась:

— Помоги мне.

— Помочь? — спросила я. — Как тебе помочь?

Но веревка выскользнула из пальцев, ведро с грохотом упало в колодец. Я заглянула. Бледное лицо мерцало из-под воды, глаза снова закрылись, слова «помоги мне» отдавались эхом, точно круги на воде, а потом угасли.

Что значит сон про Малькольма Любета? И почему только голова? Потому что он в школе был главным старостой? (А сны настолько примитивны?) Потому что накануне я читала «Изабеллу, или Горшок с базиликом»?<sup>[21]</sup> В «Ардене» даже герань не приживается, не говоря уж о голове. Вообразите, как о ней надо заботиться: тепло, свет, беседа, причесывать, приглаживать, — идеальное хобби для Дебби. Базилику в

пагубной обстановке «Ардена» придется совсем туго.

Да, понятно, я бурлящий котел подростковых гормонов, Малькольм Любет — венец моей страсти, но декапитация?

— У Фрейда просто праздник случился бы, — анализирует Юнис, — головы, колодцы — подавленные сексуальные желания и зависть к пенису...

Не верится, что можно завидовать *пенису*. Не то чтобы я много их повидала; собственно говоря, если не считать статуй и прискорбного мелькания подвесок мистера Риса, я знакома только с анатомией Чарльза, да и ее давно уже не наблюдала во плоти.

— Я в переносном смысле, — поясняет Юнис. (А все остальные что, в прямом?)

Кармен, единственная из нас, кто более или менее изучал вопрос, докладывает, что точнее всего будет сравнение с ошипанной индюшкой и ее потрохами, но отношение Кармен к сексу полнится такой скукой, что в сравнении с ним даже наблюдение за поездами покажется натурально рискованным.

— Ну, тоже способ время потратить, — равнодушно говорит она. (Что купишь, потратив время? «Меньше времени», — грустит миссис Бакстер.)

— Коконо? — спрашивает Дебби (она всегда так здоровается), когда я наконец выползаю на кухню в надежде на тарелку сахарных хлопьев. Дебби, точно задумчивая мясничиха, созерцает мясо на кухонном столе — сомкнутые ряды свиных отбивных, анемичные сосиски, крупные стейки, отпиленные от конечностей больших теплокровных млекопитающих, — целый стол мертвой плоти цвета душистого горошка. — У нас сегодня барбекю, — сообщает она.

— Барбекю?

Вот так нас и навещают катастрофы. Как правило, домашние забавы Дебби обречены на провал, нередко — на ритуальные унижения и светскую неловкость. «Коктейльчики», «закусоньки» и «общие котлы», завершившиеся крахом, мы наблюдали во множестве. Однако Дебби презирает опасность и в восторге предвкушает, как вновь введет моду на стряпню под солнышком на древесных улицах, где по меньшей мере тысячу лет никто не обугливал мяса на открытом огне.

— Для соседей, — говорит Дебби, неисправимый оптимист, разглядывая поднос бледных бескровных сосисок. — Суну их в булки, залью кетчупом, — прибавляет она. — Ты как думаешь?

Да пускай хоть обратно в хрюшек их превратит, мне-то что, но я

бормочу нечто ободряющее, потому что глаза у нее чуток бешеные, будто ключик в спине перетянул пружину, и Дебби слишком быстро бегают.

Она вытирает стейки тряпочкой нежно, словно отрубленные окровавленные щеки младенцев, и говорит:

— По-моему, хорошо получится. Все-таки *кое-что*. — (Так много о чем можно сказать.)

Она снова поворачивается к сосискам, глядит на них неподвижно, переводит взгляд на меня и подозрительно спрашивает:

— Ты видела, как они шевелятся?

— Кто?

— Сосиски.

— Шевелятся?

— Да. — Она уже сомневается. — По-моему, они шевелятся.

— *Шевелятся?*

— Не важно, — поспешно говорит она.

Неудивительно, что Гордон за нее тревожится. Сам не раз мне говорил: «Я немножко беспокоюсь за Дебс, она какая-то слегка... ну, понимаешь?»

По-моему, он хочет сказать — помешанная.

От развития беседы о подвижных сосисках меня спасает вопль из коридора — Винни требует внимания.

Винни направляется к подиатру. Из дому она выходит редко, так что каждый выход — событие определенной важности. Она подолгу предвкушает этот проблеск внешнего мира, а вернувшись, еще дольше сетует на ононого мира состояние.

— Я стала собственной тенью, — провозглашает она, всматриваясь в туманную патину и крапинки ржавчины на зеркале в прихожей, которое Дебби давно отчаялась оттереть.

Винни всегда была тенью, а теперь, значит, она тень тени. Кости ее превратились в сплошную гладкую и желтую слоновую кость, кожа — в шагреню. Шагреню изукрашена венами имперского пурпура. На тыле ладоней лишайные заросли бородавок. Дыхание полнится стоном, как волынка.

Из древнего мавзолея, заменяющего ей дамскую сумку, она извлекает пудреницу, яростно натирает щеки какой-то мукой, пристально разглядывает результаты трудов и отмечает:

— Ноги опухают, не могу, — как будто опухает, наоборот, лицо.

Она принарядилась для окружающей среды — коричневое габардиновое пальто и серая фетровая шляпа странной формы, словно выдохшееся тесто, которое долго взбивали. На макушке у шляпы торчит

нелепое фазанье перо — лихость его как-то не вяжется с обликом женщины, обретающейся ниже. Винни втыкает в шляпу жемчужную булавку, хотя с моих позиций — я наблюдаю из-под вешалки — кажется, что булавка вошла прямо в череп.

— Кончай рожи корчить, — советует Винни, заметив меня в зеркале. — Испугаешься — так и останешься на всю жизнь.

Я свешиваю голову набок и выдаю гримасу, которая и Чарльзу сделала бы честь.

— Ты похожа на горбуна из Нотр-Дама, — говорит Винни, — только каланча. — И оседает на жесткий стульчик у телефона. — Ноги опухают, не могу, — с чувством прибавляет она.

— Ты уже говорила.

— И снова скажу. — Винни со скрипом наклоняется и гладит ботинок — утешает. Новые черные ботинки на шнуровке — ведьмовские, их с шиком преподнес ей мистер Рис «в знак своего почтения». — Надо бы что поудобнее надеть, — говорит она. — Принеси коричневые башмаки, они у меня под кроватью. Ну, чего стоишь?

Осторожно, здесь водятся драконы. В комнате у Винни живут разные запахи — школьной столовой, мелких музеев, старых хладных склепов. И не догадаешься, что снаружи тепло и вообще июнь. У Винни свой микроклимат. Все покрыто тончайшей пленкой никотина. Я с хрустом топчу крошки от печенья и сигаретный пепел на протертом ковре. Старая латунная кровать, где когда-то почивала моя бабушка (Шарлотта Ферфакс, со временем переименованная во Вдову), завешена одеждой Винни — расползающимся бельем и толстыми штопаными чулками, а также почти всеми ее платьями и юбками, хотя в комнате имеется бездонный шкаф, куда поместится целая страна.

Я опасно приподнимаю краешек поблекшего атласного покрывала — одни небеса в курсе, что притаилось у Винни под кроватью. От ветерка взлетает облако пыльного пуха — сброшенная кожа кошмаров Винни. В Судный день, когда воскресят мертвых, пыль, коей под кроватью у Винни легион, подыметесь и воплотится толпою. Груды мертвой кожи, но никаких башмаков, лишь аккуратно, почему-то в пятой балетной позиции, стоят поношенные шлепанцы.

Я неохотно шарю в развалинах и руинах обстановки. Распахиваю тяжелые дверцы гардероба, следя, как бы вся конструкция не грохнулась и не раздавила меня всмятку. Гардероб Винни — а прежде Вдовы — любопытное сооружение. «Коллекция», — представляется он

стилизированным шрифтом, сложившимся где-то до Первой мировой. «Коллекция дамы», собственно говоря, потому что когда-то существовала парная «Коллекция джентльмена», принадлежавшая моему давно позабытому дедушке — «моему покойному отцу», как называет его Винни, тоном подчеркивая скорее бесчувственность его, чем безжизненность.

Гардероб Винни своей половой принадлежности не стесняется: на полках ярлыки «Дамское белье», «Платки», «Перчатки», «Мелочи», вешалки обозначены «Меха», «Вечерние наряды», «Повседневные наряды».

На кровати полно одежды (а на полу и того больше), но и в гардеробе нарядов целый лес — я никогда не видала, чтоб Винни это носила. Прежде я лишь мельком заглядывала в камфарное нутро ее гардероба и сейчас совершенно заморожена, щупаю древние креповые платья, вялые и омертвелые, глажу затхлые шерстяные костюмы и жакетки — улики существования Винни, которая следила за модой пристальнее той, что нынче ползает по дому в пыльных ситцевых халатах и меховых тапках на молнии. Неужто Винни когда-то была молода? Как-то не верится.

Длинная шуба неизвестного животного происхождения подставляет мне бок, палантин настойчиво трется о кончики пальцев. Палантин сконструирован из двух давно усопших лисиц, при жизни не представленных, а ныне слившихся навеки, точно сиамские близнецы. Из недр гардероба выглядывают их треугольные мордочки, черные глаза-бусины глядят на меня с надеждой, острые носики втягивают спертый воздух. (Чем они тут заняты? Грезят о девственных лесах?) Я спасаю их, заворачиваюсь в палантин, и лисы благодарно ложатся мне на плечи, укрывают от сквозняков, что вихрятся по комнате погодными фронтами.

На дне гардероба теснятся горы коробок — обувные коробки, точно кошачьи гробики, от пыли посеревшие, на торцах черно-белые контуры туфель, у которых есть имена («Кларибель», «Далси», «Соня»), и шляпные коробки, кожаные и картонные. В обувных всевозможные туфли — пара кремовых сандалий с запасом прочности на английское лето, пара черных лакированных босоножек, которым не терпится станцевать чарльстон. Но искомым коричневым башмакам нет.

Судя по жалобным скрипам у подножия лестницы, Винни уже теряет терпение. И тут я замечаю беглую туфлю, что прячется на самом дне гардероба, одинокую, но Винни таких не носила, да и Вдова тоже. Высокий каблук, коричневая замшевая туфля с непонятным обрывком свалывшегося меха, похожего на ошметок дохлой кошки. Внутри пятна плесени, а в гнездышке мертвого меха поблескивает страз. Замша темна и жестка,

шпилька сворочена на сторону, точно выбитый зуб.

Запах грусти, приплывший за мною в комнату Винни, ошеломляет, окутывает влажным плащом, и меня ведет от горя.

Вопли Винни все громче — ей что, босиком в больницу идти? Что я там *делаю*? Я что, в *гардероб* провалилась?

Я хватаю туфлю, закрываю дверцы и, обернувшись, замечаю коричневые башмаки Винни — стоят себе посреди кавардака на туалетном столике, безмолвно вывалив языки. Винни, напротив, достигла крайней степени оглушительности и, если прибавит громкости, наверняка лопнет.

Чарльз обнюхивает нутро туфли, как ищейка, прижимает коричневую замшу к щеке, закрывает глаза, словно ясновидящий.

— *Ее*, — решительно говорит он. — Точно тебе говорю.

От Винни, как всегда, толку чуть.

— Впервые вижу, — холодно говорит она, но, когда я предъявила туфлю, Винни отпрянула как от раскаленной кочерги. — И не смей копаться в моих вещах, — предупредила она и отбыла.

В костях, в крови своей мы знаем, что туфля прилетела из иного времени, иного пространства, хочет нам что-то сказать. И что же? Если найти вторую, отыщем ли мы подлинную невесту («Впору, впору!»), приведем ли назад, где бы ни была она сейчас?

— Чарльз, ну откуда нам знать, — может, она уже умерла?

У него такое лицо, будто он сейчас забьет меня этой туфлей.

— Ты что, никогда о ней не думаешь? — негодует он.

Однако дня не проходит, чтоб я о ней не думала. Я ношу в себе Элайзу, точно чашу пустоты. Нечем наполнить — разве что вопросами без ответа. Какой у нее был любимый цвет? Она любила сладкое? Хорошо танцевала? Боялась смерти? Унаследовала ли я от нее какую-нибудь болезнь? Прострочу ли прямой шов, сыграю ли удачно в бридж благодаря ей?

У меня нет модели женственности, кроме Винни и Дебби, а они так себе образцы для подражания. Есть вещи, о которых я не имею представления, — как ухаживать за кожей, как написать благодарственное письмо, — потому что Элайзы нет и некому меня научить. И вещи поважнее — как быть женой, как быть матерью. Как быть женщиной. Приходится бесконечно сочинять Элайзу (волосы воронова крыла, молочная кожа, кроваво-красные губы), а лучше бы не приходилось.

— Да почти нет, — непринужденно вру я Чарльзу. — Сто лет уже прошло. Надо жить, двигаться дальше. — (Но куда?)

Может, она возвращается по частям — дуновенье духов, пудреница,

туфля. Может, скоро появятся ногти и волосы, потом целые руки, и наконец мы из фрагментов соберем нашу головоломочную мать.

— Это чья туфля? — спрашивает Чарльз Гордона — тот не в себе, пытается пробудить к жизни угли в барбекю.

Гордон оборачивается, видит туфлю и окрашивается в неожиданный цвет сырого теста.

— Ты где это взял? — глухо спрашивает он, но тут нас локтем отпихивает Дебби:

— Ну, Гордон, гости вот-вот придут, угли должны *раскалиться*. Что такое? У папули всегда получалось. А это что? — Она кивает на туфлю. — Выброси, Чарльз, это негигиенично.

В поисках чего пожрать выходит мистер Рис, обнаруживает только сырое мясо и вновь исчезает в доме. В сад бочком пробираются мистер и миссис Бакстер. Мистер Бакстер редко появляется на соседских собраниях. Даже когда нет солнца, он отбрасывает длинную тень.

Мистер Бакстер наново подстригся по-армейски, волосы сердито топорщатся на голове. А у миссис Бакстер мягкие кудри цвета маленьких робких зверьков. У миссис Бакстер ни одного жесткого угла. Одевается она нейтрально — устричный цвет, бежевый, бисквитный или овсяный — и временами почти сливается с красивой чинцевой гостиной, где занавески пристойно подвязаны, а в тиковой горке полный порядок. Не то что Винни, облаченная в похоронные оттенки, будто вечно в трауре по кому-то. По своей жизни, считает Дебби, которая предпочитает пастель.

При нежданном явлении мистера Бакстера Чарльз говорит:

— Ага, ну я в кино пошел, — и не успеваешь Дебби ответить: «Вот уж нетушки», — его уже нет. Бедный Чарльз, никто не ходит с ним в кино.

— Ему бы собаку завести, — советует Кармен (у Макдейдов целая собачья стая на любые нужды), — собака пойдет куда угодно.

Но Чарльз хочет, чтобы кто-то сидел с ним на заднем ряду в кинотеатре, приходил на свидания в кафе, пил с ним капучино, жевал поджаренные булочки, и, хотя собака, вероятно, с радостью возьмет на себя эти обязанности, Чарльз, по-моему, хочет девушку, а не собаку.

— Хм, — супится Кармен, — это будет труднее.

Почему девушки не хотят гулять с Чарльзом — потому что он такой чудной на вид? Потому что верит в странное и одержим ненормальным? Да. Если коротко.

Миссис Бакстер, которой этикет барбекю в новинку, принесла большой пищевой контейнер и вручает его Дебби.

— Я тут сделала малка салата, — с надеждой улыбается она, — думала, вам пригодится.

— Возможно, даже в пищу, — саркастически усмехается мистер Бакстер, и его жена конфузится.

Подтягиваются другие соседи, а так и не раскалившиеся угли все больше нервируют Дебби. Соседи, как положено, восторгаются ее набором для барбекю — «новомодная штуковина», — однако сырое мясо особого восторга не вызывает.

Приходят мистер и миссис Примул с Юнис и ее неприятным братом Ричардом. Мистер Примул и Дебби углубляются в жаркую беседу о следующей постановке «Литских актеров» — «Сон в летнюю ночь», представление планируется («Потому что нам заняться больше нечем», — смеется мистер Примул) в канун Иванова дня на поле под леди Дуб. Почему в канун Иванова дня? Почему не ночью?

— Что в лоб, что по лбу, — отмахивается Дебби.

Дебби наконец получила роль с репликами — она играет Елену и постоянно жалуется, сколько слов ей досталось выучить, не говоря уж о том, до чего эти слова нелепы.

— Я считаю, он (то есть Шекспир) мог бы и подсократить. Одного слова бы хватило, а он пишет двадцать. Бред какой-то. Слова, слова, слова. [\[22\]](#)

Я в споры не вступаю, не разъясняю ей, что Шекспир выше всяческих оценок. («Для девочки твоего возраста, — говорит учительница английского мисс Холлам, — весьма необычна подобная страсть к Барду».) К «Барду»! Все равно что называть Элайзу «наша мамка» — низводить до уровня простых смертных.

— Вот уж кто инопланетянин, — говорю я Чарльзу, — так это Шекспир.

Вообразите, каково с ним встретиться! Впрочем, что ему сказать-то? Что с ним *делать*? Не по магазинам же таскать. (Может, и неплохая идея.)

— Заняться сексом, — рекомендует Кармен, отчасти неприличным манером погрузив язык в шоколадный шербет.

— Сексом? — изумляюсь я.

— Ну а что? — пожимает плечами она. — Раз уж ты заморочилась во времени путешествовать.

Оголодавшее собрание обращается к капустному салату миссис Бакстер и стоически его жует. Гордон приносит тарелку отбивных, снаружи почерневших, а внутри ярко-розовых а-ля Эльза Скиапарелли. [\[23\]](#) Гости

вежливо гложут по краешку, а мистер Бакстер вспоминает срочные дела вдали отсюда.

— Это что, конина? — громко осведомляется Винни.

— Ты же, наверное, Любетов не звала? — с надеждой спрашиваю я Дебби.

— Кого?

— Любетов. С Лавровой набережной. Твой гинеколог.

Дебби содрогается в ужасе:

— С какой радости мне его звать? Будет тут жевать стейк, зная, что у меня *внутри*.

Да, неудобно. Но стейк он жевал бы в одиночестве — остальные воздерживаются.

На мистера Любета обрушивается столько «женских проблем» (особенно таких женщин, как Дебби и Винни), не захочешь, а его пожалеешь, но, вообще-то, он малоприятный: «рыба холоднокровная», по оценке Дебби, «чудная рыбина» — по выражению Винни; весьма необычное единогласие между заклятыми врагами хотя бы касательно биологической принадлежности.

Дебби по случаю барбекю приготовила десерт — причудливое запеченное сооружение, *Riz Imperial aux Pêches*.

— Холодный рисовый пудинг? — нерешительно переводит мистер Примул. — С консервированными персиками?

Снова появляется мистер Рис, как раз когда Ричард Примул давится хохотом (издает ужасный «хап-хап») и говорит:

— Мистер Тапиока! Мистер Манка!

Я сообщаю ему, что шуточка давно приелась, но Ричарду плевать, что девчонки *говорят*. Мистер Рис, если приглядеться, уже и впрямь смахивает на пудинг, непропеченный, жирный и с вареньем, — лицо бледное, глаза как смородины. Вот из Ричарда вышел бы очень невкусный пудинг. Ричард очкастый, прыщавый, ровесник Чарльза, первокурсник на строительном в Глиблендском техникуме. У Ричарда и Чарльза много общего — оба изъедены акне и после бритья покрываются красной сыпью. От обоих несет сырными корками, но, возможно, это со всеми мальчиками так (кроме, разумеется, Малькольма Любета), оба — необщительные ботаники, что отталкивает как девушек, так и сверстников мужского пола. Вопреки сродству, друг друга они презирают.

Впрочем, есть и различия. Чарльз, к примеру, человек (что бы он сам ни думал), а вот Ричард, вполне вероятно, не вполне. Не исключено, что он результат неудавшегося эксперимента пришельцев, — может, какой-нибудь

марсианский Франкенштейн вычислял, каким полагается быть человеку, и из лишних деталей собрал Ричарда.

С виду он полная противоположность Чарльзу — худой, долговязый как плеть, тело дурно сшитым костюмом болтается на широких плечах-вешалках. Не подбородок, а кувалда, и в профиль лицо — как впалая новорожденная луна.

Ричард все пытается украдкой меня пощупать — тайком выставляет руку или ногу и старается потрогать где достанет.

— Убери руки! — рычу я и ухожу.

— А это что? — осторожно спрашивает миссис Бакстер, предъявляя мне ломоть обугленного мяса.

— Пудель? — с надеждой гадаю я.

— Я, деточка, пожалуй, домой, — поспешно говорит она. — Надо к Одри.

В Одри по-прежнему обитает «какой-то вирус, летний грипп, — говорит миссис Бакстер, — видимо». Всякий раз, когда она поминает «грипп», я представляю, как в бедной Одри разрастается грибница громадного белого или, скажем, ярко-красного мухомора.

— Да что с Одри *такое*? — спрашивает Юнис — щелк-щелкающий мозг не способен разгадать эту загадку, и Юнис раздражена.

Я безутешно брожу по саду, а за мной по пятам бродит запах грусти — апрельский парфюм не выпарила июньская жара, он висит в воздухе легким маревом. Призракам ведь полагается скрипеть и бормотать, нет? Что это? Кто это? Меня ощупывают незримые глаза, — может, это материализация моего подросткового темперамента, таинственный полтергейст. Лучше бы за мной ходил Малькольм Любет. Лучше бы я отправилась в Картехогский лес,<sup>[24]</sup> подоткнула бы юбки, заплатила бы своим девством и бродила по диким берегам страсти.

— Я тебя видела утром. — Сбоку появляется Юнис, лицо измазано кетчупом. — Довольно ужасное барбекю, — бодро говорит она. — Даже мне бы лучше удалось.

— Где?

— Что где?

— Где ты меня видела утром?

— В «Вулвортсе», у конфетного автомата. Я тебе помахала, а ты не заметила.

Но меня не было ни в каком «Вулвортсе» ни у какого конфетного автомата, я лежала в постели, смотрела сон про голову Малькольма Любета.

— Ну, может, твой двойник, — пожимает плечами Юнис. — Доппельгангер.

Я, но из параллельной вселенной? Вообразите только — в каком-нибудь углу земли столкнуться с самим собой. Вот уж нараспрашиваешься.

— У тебя тоже такое странное чувство, Юнис?

— Странное чувство?

— Ага. Как будто что-то не так...

Но тут барбекю вспыхивает ясным пламенем, небеса разверзаются, дабы ликвидировать пожар, и светское мероприятие тонет в саже и воде.

Иду к Одри сообщить, что она ничего не пропустила. Миссис Бакстер за кухонным столом вяжет какую-то тонкую паутинку с узором из ракушек и...

— ...гalezий?

— Это сердечки.

— Какая красота, — говорю я, щупая снежные складки.

— Платок для первого внука моей сестры, — говорит миссис Бакстер. — Ну, помнишь — Рона из Южной Африки. — Как ни заходит речь о младенцах, миссис Бакстер печалится, наверное, потому, что сама нескольких потеряла.

— Не переживайте, — утешаю я, — вы потом, наверное, тоже станете бабушкой.

И Одри, которая у плиты весьма не по сезону варит горячий шоколад для больных, нечаянно переворачивает кастрюльку с молоком, и та с грохотом падает на пол.

Возвращаюсь из «Холма фей» — Чарльз тоже вернулся и сидит в шезлонге среди развалин барбекю. Найденная туфля вновь ускользнула в небытие. В ходе допроса с пристрастием Винни — чей девиз в области переработки мусора гласит: «Если не шевелится — сожги» (а порой и если шевелится) — признается, что поджарила туфлю вместе с мясом.

Я выволакиваю шезлонг, и мы с Чарльзом вместе сидим в сумеречном саду. Грачи припозднились, машут драными крыльями, мчатся к леди Дуб наперегонки с ночью, *кар-кар-кар*. Может, боятся перевоплотиться, если вовремя не вернутся на дерево, не успеют, прежде чем солнце нырнет за горизонт, что черно прорисован за дубом. Наверное, боятся стать людьми.

Каково это — кар-каркать сумеречным грачом, прорываясь сквозь сабельный строй ночи? Черной птицею кружить в вышине над дымоходами

и голубой кровлей древесных улиц? Последний отстающий грач приветственно взмахивает крылом у нас над головой. Как мы смотримся сверху, с высоты птичьего полета? Вероятно, очень мелкими.

— Оборотни, — мечтает Чарльз. — Интересно было бы, а?

— Оборотни?

— В зверя превращаться, в птицу.

— А ты бы в кого хотел?

Чарльз, еще расстроенный утратой туфли, равнодушно жмет плечами:

— В собаку, наверное. — И торопливо поясняет: — В нормальную собаку, — заметив Гиги, что неизящно раскорячилась посреди газона. — Может, люди умеют превращаться в своих двойников, — говорит он после паузы, — и так получают допельгангеры?

— Ой, перестань, у меня башка от тебя трещит, — раздраженно отвечаю я. Иногда идеи у него до того запутанные, что думать нет сил.

— Вот ты как думаешь, пришельцы уже здесь? — не отступает он.

— Здесь? — (На древесных улицах? Да он с ума сошел!)

— На Земле. Среди нас.

Мы бы, наверное, заметили? Хотя кто его знает.

— А на вид они какие? Зеленые человечки?

— Нет, такие же, как мы.

Если ты везде чужой, это не значит, что ты взаправду представитель *чужой цивилизации*, втолковываю я Чарльзу, но он отворачивается — я его разочаровала.

Совсем стемнело, луна бледна и далека, белой монеткой подброшена в небо цвета растворимых чернил. Всей толпой высыпали звезды, шлют неразборчивые свои шифровки. Звездный свет, небесный свет. В сад выходит Дебби, спрашивает, чего это мы торчим в темноте, и Чарльз отвечает:

— Под звездами загораем.

Чем скорее он словит попутку на родную планету, тем лучше, честное слово.

Долго-долго лежу в постели, не могу заснуть, хотя устала до смерти. Если Чарльз прав, вышло бы весьма занимательно. Вдруг мы и в самом деле появились не здесь, а далеко-далеко и сами не знаем? Может, на нашей родной планете дела обстоят получше — там же параллельная вселенная. Параллельная планета.

Я жду, когда косым дождем по стеклу зашуршит гравий. Первая звезда — ответ, моя греза — ей завет, пусть звезда не скажет «нет» — Малькольм

Любет взбирается по девичьему винограду, что постепенно удушает «Арден», залезает в окно моей спальни, и наши тела растворяются друг в друге. («Растворяются?» — недоумевают Кармен. Она у нас скорее за зверя о двух спинах.)

Кошки зарезали сон,<sup>[25]</sup> стены сотрясаются от рыка их моторов — *пррт-пррт-пррт*, храпят себе до самозабвения. Прочие обитатели «Ардена» во сне так не шумят. Я слышу беспокойные сны Чарльза — космонавты в серебристых скафандрах бредут в пустоте космоса, а клепанные жестяные ракеты приземляются в пыльные лунные кратеры, как в фантазиях Мельеса.<sup>[26]</sup> У Винни сны потише — скрипят, как несмазанные петли, а Гордон вообще не грезит, зато младенческие сны Дебби эхом отдаются в пустоте дома — пушистые розовые зефирины снов о плюшевых кроликах и уточках, ползунках и пухлых телах ангелочков.

— Где Чарльз? — осведомляется Гордон на лестнице. — По-моему, он исчез. — Произнесено оживленно, что не вполне соотнобразуется с серьезностью заявления.

— Где Чарльз? — кричит мне Дебби из столовой — она пылесосит шторы, приспособив к «гуверу» патрубков (и смахивая на муравьеда).

На дворе девять вечера, нормальные люди развалились перед телевизорами. В том числе Винни — уютившись в кресле, она во всю глотку оскорбляет Хью Грина.<sup>[27]</sup>

— Там кто-то за дверью, — сообщает она, когда я сажусь рядом.

Наклоняется, негодуяще тычет кочергой в огонь. Наверное, воображает, как втыкает кочергу мистеру Рису в голову. Мистер Рис пошел блудить, и Винни, которой взбрело, будто у нее с мистером Рисом некое «взаимопонимание», до крайности раздосадована. Упомянутое взаимопонимание, говоря точнее, недопонимание проистекает из случайного комплимента, отпущенного мистером Рисом, — дескать, из Винни «вышла бы кому-нибудь прекрасная жена». Вполне вероятно, он имел в виду невесту чудовища Франкенштейна, но уж явно не себя.

— Там кто-то за дверью, — раздраженно повторяет невеста Франкенштейна.

— Я никого не слышала.

— Это не значит, что там никого нет.

Я неохотно отправляюсь в исследовательскую экспедицию. Из-за двери и впрямь доносятся странные шорохи, и, когда я открываю дверь, оптимистичный скулеж привлекает мое внимание к крупной псине,

сфинксом возлежащей на пороге. Поймав мой взгляд, псина подскакивает и исполняет традиционный собачий номер — башка обворожительно склонена набок, лапа приветственно протянута.

Крупная уродливая псина, шерсть — как песок на запущенном пляже. Родословная неясна — местами терьер, древними намеками волкодав, но больше всего похож на вымахавшего Бродягу из «Леди и Бродяги». [28] Ни ошейника, ни бирки. Квинтэссенция всего собачьего. Пес как он есть.

Он раскачивает тяжелой лапищей, желая во что бы то ни стало представиться, и я наклоняюсь, пожимаю лапу и заглядываю в шоколадные глаза. Что-то в них такое читается... и эти лапы неуклюжие... и крупные уши... и дурацкая прическа...

— Чарльз? — для пробы шепчу я, а пес вздергивает вислое ухо и радостно стучит хвостом.

Будь я сестрой получше, я бы, вероятно, села плести рубаху из крапивы, потом набросила бы на него, сняла заклятие, чтоб он вновь стал человеком. А так я даю ему кошачьего корма. Благодарность его огромна до абсурда.

— Глянь, — говорю я Гордону, когда тот спускается в кухню.

— Ты не видела Дебс? — спрашивает он, почесывая в затылке, — вылитый Стэн Лорел. [29]

— Нет, но ты глянь — собачка, бедная потеряшка, бездомная, голодная, одинокая собачка. Можно мы ее оставим?

И Гордон, у которого такой вид, будто он заигрался в «Кто я?» из «Домашних забав», невнятно бурчит:

— Мм, если хочешь.

Разумеется, я понимаю, что Пес на самом деле никакой не заколдованный Чарльз, и к тому же Чарльз возвращается оттуда, куда уходил, и они с Гордоном пьют солодовое молоко. Одновременно обнаружив, как этот оккупант дожирает в кухне остатки ужина, ни Винни, ни Дебби с Гордоном не разговаривают. Псина, как выясняется, ест все, даже стряпню Дебби.

С прибытием солнечных дней и Пса блошиная популяция «Ардена» готовится к завоеванию планеты, не говоря уж о том, что грозит стереть с ее лица Дебби.

— Прямо кишмя кишат, — смеется миссис Бакстер, когда одна блоха прыгает с Пса на ее красивую белую скатерть.

— Много суеты из ничего, — говорит Винни, умело поймав блоху и с крошечным взрывным «чпок!» ногтями раздавив гагатовое тельце-бусину

(я воображаю, что это голова Ричарда Примула).

Микроскопическая жизнь в «Ардене» положительно бурлит — блохи, пыль, крошечные дрозоды. А мир незримый, разумеется, перенаселеннее зримого.

— Витамины! — говорит Винни. — Да кому они нужны?

— Всем? — бормочу я.

— Молекулы! — говорит Чарльз. — Да кто про них понимает?

— Ученые? — подсказываю я. (Они незримы, но это не значит, что не важны.)

Винни такая тощая и, вероятно, холоднокровная, что кусать ее — любой блохе дороже. А вот Дебби, пухлая, теплокровная и тонкокожая, — блошиный пир пиров, праздник, который всегда с тобой.

Дебби винит Кошек (тут кроется мюзикл), вечный предмет раздоров между непримиримыми хозяйками «Ардена».

*(Пара слов о Кошках: До прибытия Винни кошек в «Ардене» не было. У Винни имелся свой домишко, убогая лачуга ленточной застройки на Ивовом проспекте, но, когда наши родители так безрассудно исчезли, Винни пришлось продать дом и переехать к нам. Не простила нас по сей день. С собой она привезла Первую Кошку — праматерь арденской династии Каргу, воинственную кровожадную самку серого окраса, во множестве расплодившую прочих толстых участников каминных посиделок.)*

Не только Дебби недолюбливает Кошек. Мистер Рис изредка тоже не прочь тишком брыкнуть ногою в направлении кошачьих, — вероятно, ему не сообщили, что у Винни в ушах радары, а глаза на стебельках.

Улавливая, что от жильца благосклонности не дождешься, Элеманзер, младшенькая, самая свирепая дочурка Карги, из кожи вон лезет, чтоб ему насолить, — спит у него на подушках, устраивает засады на лестнице и бросается ему под ноги, а однажды нарочно беременеет и рождает свой помет у мистера Риса в ящике с носками.

Многие дни потом мы развлекаемся, воображая, как мистер Рис под тусклым рассветным солнцем лезет в ящик за серо-голубыми носками в ромбик и в ужасе орет, обнаружив, что носки ожили и извиваются у себя в гнездышке, мохнатые и влажные. А один очень, очень крупный серо-серебристый полосатый носок в припадке материнского гнева впивается зубами ему в руку.

С наступлением лета один мяукающий носочек — красивый котенок по имени Укусный Том теряется, и Винни одержима подозрениями, что дело не обошлось без мистера Риса.

Мы с Дебби согласны в одном (и более ни в чем): от мистера Риса нас тошнит. Нас тошнит от того, как он жуёт, приоткрыв рот, и как он скрежещет зубами, дожевав. Нас тошнит от того, как фальшиво он насвистывает сквозь эти зубы, когда они не жуют и не скрежещут. Особенно тошнит нас от того, как ночами эти самые зубы ухмыляются нам из стакана на полке в ванной.

Меня корежит оттого, что приходится делить с ним ванную, — не только из-за зубов, но из-за всепроникающих его запахов: пены для бритья, помады для волос и отчетливой вони мужских экскрементов (впрочем, не будем углубляться). Пару раз я видела, как поутру он выходит из ванной и под распахнутым халатом у него болталось что-то вялое, похожее на бледный гриб в норе.

— Ой, — говорит мистер Рис, похабно ухмыляясь.

— «Смерть коммивояжера».<sup>[30]</sup> — Это я угрюмо делюсь фантазиями с Чарльзом.

— Мужчины, — с чувством бубнит Винни. (Винни и сама выходила замуж, впрочем ненадолго.) Судя по всему, есть несколько категорий мужчин — встречаются отцы-слабаки, братья-уроды, злобные негодяи, героические дровосеки и, разумеется, прекрасные принцы, но до идеала все они отчего-то недотягивают.

— Да что такое? — нетерпеливо спрашивает Юнис.

Мы бредем из школы, как водится, без Одри. Не знаю, странное такое чувство — знакомое, однако неведомое, шипучее, кипучее, будто в кровотоки уронили алказельцер.

— Кровоток, — бубню я.

Мы срезаем путь, чтобы выиграть время (но где мы станем хранить свой приз без изъяна? На берегах среди дикого тимьяна?), стоим на мосту над каналом, и Юнис тревожно заглядывает через парапет в мутные воды, полные шерстяных отходов.

— Может, тебе нехорошо на мостах, — с жаром говорит она — скорее Фрейд, чем Брюнель.<sup>[31]</sup> — Когда боишься переходить по мосту, это называется...

Только не это, опять началось: Юнис исчезла, мост тоже исчез, но, по счастью, превратился в другой мост — рядок досок, не более того. Проулок впереди — он же переулок Зеленого Человека — никуда не делся, однако фонарный столб в устье переулочка исчез, как и склады по сторонам, а вместо них теперь пара весьма небрежно сколоченных деревянных домов. Я нерешительно продвигаюсь по переулочку и выхожу на Глиблендский рынок.

Здесь по-прежнему рынок, в этом-то сомнений нет: рыночный крест на месте, посреди площади, и паб «Стародавнее светило» на той стороне, правда название нигде не написано, только деревянная доска с солнцем — не нынешним, крикливым и желтым, а тусклым солнцем потускневшего золота. И «Стародавним светилом» паб, я подозреваю, не называется, он теперь просто паб «Солнце» — мы, видимо, очутились во временах, когда он был новехоньким, потому что это не паб, а какой-то сарай. Мы, собственно, вернулись в стародавний Глиблендс, если меня глаза не обманывают.

По брусчатке раскатывают деревянные телеги, торговки рыбой в бумазейке шестнадцатого века расхваливают свой товар. Парочка денди в бархате воздвиглись на углу, и, приблизившись к ним, я чую немытую прогорклую вонь. Сейчас взглянут на меня и заорут? Они меня вообще видят? Слышат?

В прошлый раз, когда я угодила в разрыв пространственно-временного континуума (нечасто нам выпадает случай строить подобные фразы, и спасибо за это небесам), человеку в поле замечательно удалось со мной пообщаться, но эта парочка смотрит сквозь меня — я остаюсь невидимкой, сколько ни кричу и ни прыгаю. Разумеется, если нарушены законы физики, с чего бы подобным инцидентам быть одинаковыми? В любой момент воцарится хаос. Не исключено, что уже.

Я толкаю дверь «Солнца», оно же «Стародавнее светило», — можно и поглядеть, как там раньше было внутри. В конце концов, здесь наше с Кармен несовершеннолетнее убежище (грамматические времена совсем запутались), немало сумрачных часов таились мы в Кабинете, хотя нам полагалось быть на естествознании. Лучше бы я учила физику, а не сменяла ее на немецкий язык. В 1960-м дверь блестящая и ярко-красная, а в этом не понять каком году Господа нашего она двойная и деревянная, как в конюшне. Войти и сказать: «Я из будущего»?

Может, это моя личная иллюзия Луны? У меня неверные точки отсчета, я ошибочно трактую воспринимаемые явления?

Внутри всего пара человек, как будто статисты из «Частной жизни Елизаветы и Эссекса»,<sup>[32]</sup> но гораздо неопрятнее, чем обычно в Голливуде. Все мрачно пялятся в оловянные кружки, будто про Возрождение слухом не слыхивали.

В тени, в углу высокой дубовой кабинки, закрыв глаза, сидит человек — довольно молодой, двадцать с хвостом, и смутно знакомый, будто мы встречались в настоящем — там, где в моем недавнем прошлом было настоящее, а теперь, если я туда вернусь, станет будущее. Батюшки,

батюшки мои.

Человек открывает глаза и смотрит на меня. Не *сквозь* меня, как прочие, а *на* меня, и улыбается кривовато и цинично, будто узнает, и салютует кружкой, и мне отчаянно хочется подойти поговорить с ним, потому что он, по-моему, знает меня — не повседневную внешнюю меня, а внутреннюю Изобел. Настоящую. Мое подлинное «я». Но едва я к нему шагаю, все исчезает, как в прошлый раз.

В «Стародавнем светиле» пусто — паб еще не открылся. Я, очевидно, в настоящем — тут подставки для кружек, полотенца и ведерки для льда в форме ананасов. Выхожу из Кабинета, брожу по Залу и Бару и нахожу открытую дверь на задах кухни. Миную проход, заставленный мусорными ящиками, открываю дверь, снова оказываюсь на рыночной площади, вижу, как озадаченная Юнис выходит из переуллка Зеленого Человека, и окликаю ее через площадь.

— Ты куда подевалась? — сердится она, одолев мостовую. И вдруг прибавляет: — Гефирофобия.

— Чего?

— Гефирофобия — боязнь мостов.

— А, ну да, — невнятно отвечаю я.

— Дромофобия — боязнь переходить улицу? Потамофобия — страх рек? Может, — беспечно говорит Юнис, — к тебе вернулся глубоко укорененный ужас твоего прошлого.

Что она несет?

— Что ты несешь?

— Фобии бывают разные. Боязнь огня, например, — пиррофобия, или клещей — акарофобия, или моря — талассофобия.

Юнисофобия, вот что со мной такое. Я перебегаю дорогу и прыгаю в автобус, не взглянув на номер, а Юнис лавирует меж машин — пускай, все равно не догонит. Лично я неизвестно почему открыла дыру в ткани времени и теперь запросто ныряю в разрывы и закоулки, точно дверь в дом открываю.

Может, есть и другие люди, которые западают в прошлое и выпадают обратно, но как-то забывают об этом упомянуть в повседневных беседах (вы бы тоже не упомянули)? Но будем честны: что вероятнее — разрыв пространственно-временного континуума или некое помешательство?

Какова она, ткань времени? Черный шелк? Жесткий твид, гладкая саржа? Или хрупкие кружева, как вязанье миссис Бакстер?



Как доверять реальности, если мир чувственных явлений морочит мне голову на каждом шагу? Вот, например, столовая. Однажды вхожу, а она совсем другая, будто ее этак незаметно и необъяснимо переделали. Словно играли в «Что такое?» из «Домашних забав»: человек выходит из комнаты, остальные передвигают кресло или картину меняют, а он (вероятнее всего, похоже, она) возвращается и угадывает, что изменилось. Вот и в столовой так же, только еще отчетливее, будто это и не наша столовая вовсе. Будто столовая — комната в Зазеркалье, копия, столовая прикидывается столовой... нет-нет-нет, отсюда и до полного помешательства рукой подать.

За мной входит Дебби. На ней самодельный костюм эпохи Тюдоров, и на миг мне становится не по себе.

— Ты почему так одета? — Я стараюсь выкинуть из головы экспедицию в прошлое «Стародавнего светила», а костюм — неприятное напоминание.

Она оглядывает свое платье, будто впервые видит, потом вперяет глазки в меня.

— А. У нас прогон, — вдруг выдает она — видимо, перевела наконец мой вопрос. — Сон когда-то там.

Я б ей сказала, что она слишком деликатно пахнет, не аутентично, но мне не до того.

— Иззи?

— Мм?

— Тут чего-то не хватает, тебе не кажется?

— Не хватает?

— Или что-то не так. Как будто...

— Как будто комната та же, но не та?

Она глядит на меня в изумлении:

— Именно! У тебя тоже так бывает?

— Нет.

Возможно, существует Бог (вот *это* был бы сюрприз), и на древесных улицах Он устроил себе игровое поле. Скорее всего, боги — во множественном числе.

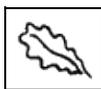
— В общем, я пошла, — говорит Дебби, подбирая юбки.

— С ума? — уточняю я.

— Что?

— Ничего.

Избегу ли я арденского помешательства?



Канун Иванова дня. Зенит года, неясно, куда девать столько дневного света. В саду Эдема каждый день был Ивановым. Нам бы через костры прыгать, что ли, или колдовать. Но нет, мы с миссис Бакстер пьем чай на газоне, как завещал градостроитель. Одри чахнет у себя в комнате. Пес растянулся в траве, грезит о кроликах. Под рододендроном дрыхнет черепаховая кошка миссис Бакстер. В центре газона — фейское кольцо, трава примята, будто ночью там приземлился миниатюрный космический кораблик.

Миссис Бакстер сготовила большой стеклянный кувшин домашнего лимонада и кусок за куском режет розовый бисквит, на вид — как банная губка.

Миссис Бакстер умеет исполнять удивительное количество вариаций на тему бисквита «Виктория», и у каждой свои рюшечки: шоколадные бисквиты помечены шоколадной стружкой, лимонные — мармеладными лимонными дольками, а кофейные — половинками грецких орехов, похожими на мышинные мозги. Винни в жизни своей не пекла и, уж конечно, не посвящена в таинства украшения выпечки.

Миссис Бакстер свои плюшки тоже, разумеется, ест и порой, съев несколько штук подряд, смеется, прикрыв ладонью рот:

— Батюшки мои, да я скоро *сама* в плюшку превращусь!

Каким бисквитом станет миссис Бакстер? Ванильным с кремом, мягким и рассыпчатым.

— Неудивительно, дьявол тебя дерит, что ты такая жирная, — говорит ей мистер Бакстер. Сам он в склонности к плюшкам не замечен. («Он у нас плюшки не любит», — грустит миссис Бакстер.)

Она всегда дает мне лишний кусок в салфетке — отнести Чарльзу. Если кто видит, как я несусь домой из «Холма фей», наверняка думает, что там круглосуточно празднуют чей-то день рождения.

Сегодня по случаю солнца миссис Бакстер отказалась от обычной своей бежевой гаммы и надела яркий красно-белый сарафан, полосатый, как леденец, как навес над лавкой, как шезлонг. У него тонкие красные бретельки-шнурки, и тело миссис Бакстер весьма на виду — полные руки, локти в ямочках, роскошная ложбинка в декольте, где уместились розовые

бисквитные крошки. От работы в саду кожа у нее стала как ириска и вся покрыта веснушками размером с конский каштан. Наверное, обожжешься, если к ней прикоснуться, и я давя в себе желание нырнуть в бездонную расщелину ее материнской груди и потеряться там навсегда.

Миссис Бакстер блаженно вздыхает:

— Самое оно сыграть в «Человеческий крокет», — однако не уточняет, о чем речь — о газоне, о погоде или о настроении. — Само собой, — прибавляет она, — сейчас народу маловато.

На газоне вдруг возникает мистер Бакстер, его грозная тень зловещими солнечными часами ложится на поднос, и чашка миссис Бакстер содрогается на блюдце. Мистер Бакстер смотрит вдаль, за шпалеру с альбертинами, на зеленое взгорье, что зовется Боскрамским лесом.

— Чайку, миленький? — спрашивает миссис Бакстер, предъявляя мужу чашку с блюдцем, чтоб до него дошло, о чем речь.

Мистер Бакстер переводит взгляд на нее, видит ее летнюю шляпу — красную соломенную азиатскую шляпу, — морщится:

— С рисовых полей явилась?

И миссис Бакстер так торопится налить мистеру Бакстеру чайку, что опрокидывает кувшин с молоком (на редкость неуклюжая у них семейка).

— Вот растяпа, — говорит она и сияет широкой улыбкой, в которой ни грана счастья.

— Заняться нечем? — Он смотрит на птичью кормушку и вздевает бровь. Вопрос, однако, не к птицам.

Мистер Бакстер не любит, когда люди лодырничают. Он самоучка («Так я избежал шахты», — мрачно объясняет он) и злится на тех, кому «всё поднесли на блюдечке». Может, потому и плюшки не ест.

— Ты что тут делаешь? — рявкает он на меня.

— Время убиваю, до спектакля еще долго, — бубню я, набив рот бисквитом. («Ох батюшки мои, не надо так говорить», — шепчет миссис Бакстер.)

Мистер Бакстер внезапно хлопается на траву рядом с шезлонгом, где валяюсь я, выставляет худые волосатые лодыжки над серыми носками. В Аркадии ему не по себе — он предпочитает сидеть на жестких стульях и глядеть, как уходят в бесконечность колонны письменных столов.

— На розах завелась тля, — говорит он миссис Бакстер таким тоном, будто намекает на моральную распущенность, а не на нашествие вредителей. — Спрыснула бы.

Миссис Бакстер ненавидит спрыскивать. Никогда не давит пауков, не прихлопывает ос, не чпокает блох, и даже мухам дозволено вволю жужжать

в «Холме фей», если они не попадают на глаза мистеру Бакстеру. У миссис Бакстер уговор с ползучками и летучками: она не убивает их, они не убивают ее.

С порывом теплого ветра до меня долетает запах мистера Бакстера — крем для бритья, табак «Олд Холборн», — и я стараюсь не вдыхать.

— Я одним глазком разглядела тайком, — с надеждой начинает миссис Бакстер, — кое-что на «Т», — а мистер Бакстер орет:

— Господи, Мойра, дай мне минуту покоя, будь добра?

И мы так и не узнаём, что же это такое на «Т». Может, Тезей, и как раз сейчас он шагает по полю под ослепительным загородным солнцем, дабы возвестить, что час нашей свадьбы близок. <sup>[33]</sup>

— Ой, они начинают! — взволнованно вскрикивает миссис Бакстер. — Пойду Одри позову.

Зрелище — петля, <sup>[34]</sup> но в данном случае петля на горле зрителя, и я опущу умозрительную завесу над «Сном в летнюю ночь» в исполнении «Литских актеров». Комично там, где место лирике, уныло там, где задуман комизм, волшебства ни капли. Мистер Примул играл Мотка и не изобразил бы персонажа механичнее и грубее, если б репетировал до Страшного суда, а девушка, прикинувшаяся Титанией, Дженис Ричардсон с почтамта на Ясеновой, — толстуха с голосом как у сверчка. (Хотя кто его знает, может, все эльфы таковы.)

Дебби возвращается домой посеревшая, и поначалу я решаю, что это из-за ее чудовищной игры — могла бы сразу отдать роль суфлеру, — но за кружкой солодового молока она шепчет мне:

— Лес.

— Лес?

— Лес, лес, — повторяет она, словно Эдгар По тщится сочинить стихотворение. — В пьесе, — шипит она, — во сне когда-то там.

— Так? — Я само терпение.

— Моя эта, как ее.

— Персонаж?

— Ну да, мой персонаж, она же теряется в лесу? — (Тысячу деревьев героически сыграла леди Дуб.)

— Так.

Дебби озирается, странно кривясь, — облечь мысль в слова ей, похоже, нелегко.

— Что такое?

Она отвечает тихо-тихо — я еле слышу.

— Я была в лесу по-настоящему, я, дьявол его дери, заблудилась в огромном лесу. Часами бродила, — прибавляет она и плачет.

По-моему, она перегрелась на солнце. Рассказать ей о проулках, закоулках и переулках времени? Пожалуй, не стоит.

— Может, тебе к психиатру сходить? — мягко предлагаю я, и она в ужасе улепетывает из кухни.

Ну вот. Мы обе помешались, как чаевничающие Безумные Шляпники.

Поздно уже, канун Иванова дня почти уступил Иванову дню. В доме даже мышки заснули. Я в кухне наливаю воду из-под крана; в «Ардене» вода из-под крана всегда солоновата, будто в баке что-то неторопливо гниет.

От кухни такое впечатление, словно кто-то отсюда только что вышел. Я стою на заднем крыльце, пью воду. Коже горячо от жара, впитанного в саду миссис Бакстер. От земли поднимается тепло, горькой зеленью пахнет крапива. Тоненькая кожурка желтой луны серпом прорезала небо, и на нижнем роге алмазною серьгой у чернокожей ночи на щеке<sup>[35]</sup> повисла звезда.

Мне не хватает мамы. Боль по имени Элайза всплывает из ниоткуда, стискивает сердце, и я опять сирота. Вот как она действует: я перехожу дорогу, жду автобус, стою в магазине и вдруг не пойми отчего мне так отчаянно хочется к маме, что слезы душат. Где она? Почему не приходит?

Часы на литской церкви отбивают ведьмовской час. *Кар.* На леди Дуб шуршат листья и перья.

Под ногами незримо роются кроты, извиваются черви. В океане тьмы порскает летучая мышь. В далекой дали воет собака и что-то шевелится — черный силуэт шагает через поле. У него нет головы, честное-пречестное. Но потом я вглядываюсь, а силуэт уже исчез.

**ПРЕЖДЕ**

## Закрываемся рано

Шарлотта и Леонард Ферфаксы — столпы общества, впрочем столп Леонард вскорости обрушился, умер от удара в 1925-м, упустил шанс владеть пожить в прекрасном новом доме на древесных улицах.

Его жена управлялась с делами так ловко, будто в роду у нее патентовали бакалею, а не эмалированную посуду. Шарлотта, матриарх Ферфаксов, погрузилась в свое вдовство с викторианским пылом; все на свете называли ее Вдовой Ферфакс.

Вдова любила свой прекрасный дом, прекраснейший дом на древесных улицах. Пять спален было в нем, и гардеробная на первом этаже, и буфетная, и просторные чердачные комнаты с красивыми щипцами, и в одной чердачной комнате Вдова поселила свою чернавку Веру. У Веры из окна открывался замечательный вид на леди Дуб, а за леди — дымка холмов, будто написанных профессиональным аквалеристом, а вдали еле-еле виднелся темно-зеленый мазок Боскрамского леса.

Вдова любила большой фруктовый сад с деревьями и кустами, длинный подъезд к фасаду, крытый розовым гравием, изящные кованые ворота и стеклянную оранжерею за домом — градостроитель, спохватившись, спроектировал ее напоследок, и Вдова держала там свои кактусы.

Вещи у Вдовы были красивые. Вдова делала себе красиво (говорили люди). Были у нее бело-голубые дельфтские вазы с гиацинтами по весне, а на Рождество — молочай в сацумском фарфоре. На дубовом паркете мягкие индийские ковры, на подушках наволочки из шелка-сырца, расшитые и с кистями, точно прямиком из султанского дивана. А в гостиной у нее висела люстра, маленькая, времен Георга Третьего, с нитями стеклянных бусин, и крупные хрустальные груши капали с люстры великанскими слезами.

Мэдж давным-давно сбежала в Мирфилд, выйдя за блудливого банковского клерка, и произвела на свет еще троих детей.

Винни выглядела так, будто питается хлебными корками и обглоданными костями, и ходила кислая, как солодовый уксус, который отмеряла пинтами из керамической бутылки на задах. Уксусная Винни, ровесница века, но не так истрепана войнами, родилась синим чулком, однако после Первой мировой ненадолго сходила замуж за некоего мистера

Фицджеральда — тылового дипломированного библиотекаря с маниакально-депрессивными наклонностями, человека существенно старше, чем его синечулочная жена. Чувства Винни касательно смерти мистера Фицджеральда (от пневмонии в 1926 году) так и не прояснились, хотя в освобождении от супружеских обязанностей, признавалась она Мэдж, есть своя прелесть. Впрочем, Винни осталась в супружеском гнезде на Ивовом проспекте, которое недолго делила с мистером Фицджеральдом.

Этим домом она, по крайней мере, владела единолично в отличие от патентованной бакалеи — там железной рукой правила мать, а Винни низвели до простой продавщицы. «Я бы управляла не хуже матушки, — писала она Мэдж в Мирфилд, — но она ничего мне не доверяет». Бакалея была уготована Гордону; едва он закончил школу, Вдова упаковала его в белый фартук и немало осерчала, когда он вечером улизнул из дому на лекции Глиблендского политеха.

— Все, что ему потребно знать, содержится здесь, — молвила Вдова, тыча себе в лоб, точно в яблочко мишени.

В фартуке Гордону было неудобно; за полированным прилавком красного дерева он стоял с таким лицом, будто в голове у него разворачивается совершенно иная жизнь.

Затем пришла новая война, и все переменялось. Гордон стал героем, на «спитфайре» летал в синем небе над Англией. Сыном-летчиком Вдова гордилась до умопомрачения. «Зеница ока», — писала Винни в Мирфилд. «Любимчик ясноглазый», — отвечала Мэдж. Глаза у Гордона и впрямь были ясные. Он был зеленоглаз и красив.

Элайза — загадка. Никто не знал, откуда взялась; сама она утверждала, что из Хэмпстеда. Произносила «Хампстид», точно королевская особа. Намекала — хотя за язык не поймаешь, — что где-то у нее водятся если не деньги, то голубая кровь.

— Хоть бы серебряную ложку изо рта вынула, — сказала Мэдж Винни, когда сестры познакомились с Элайзой.

Акцент у нее и впрямь был странен, несуразен в «Ардене», где так славно, по-северному, смягчались гласные. Элайза будто застряла между очень дорогим пансионом и борделем (иными словами, в высшем обществе).

Вся родня Гордона впервые узрела отнюдь не застенчивую невесту на свадьбе. Вдова рассчитывала, что ее малышу достанется тихая милая женушка — невзрачная шатенка, умеющая вести приходно-расходную книгу. Чтоб не слишком образованная, чтоб мечтала о местной частной

школе для вывода внуков Ферфаксов, а больше никаких амбиций. Элайза же оказалась...

— Сердцеедка? — рьяно встряла Мэдж.

На свадьбу Элайза — тонкая, как ива, и стройная, как Дугласова пихта (*Pseudotsuga menziesii*), — надела темно-синий костюм с утянутой талией; в петлице белая гардения, на голове черная шляпка из перьев, точно плюмаж балерины. Черный лебедь, злодейка. Никакого букета, лишь кроваво-красные ногти. Вдова, особо не скрываясь, содрогнулась от ужаса.

Вдова скрутила длинные волосы в пучок, походивший на стальную мочалку, и больше смахивала на сицилийскую вдову, чем на английскую. Ее отношение к этой свадьбе из ее наряда вполне очевидно — она облачилась в черное с головы до пят. Она пристально смотрела, как Гордон («Мой малыш!») надевает кольцо на палец этому странному созданию. Возникло подозрение, что Вдова пытается усилием воли оторвать Элайзе палец.

Что-то странное сквозило в Элайзе — с этим никто не спорил, даже Гордон, но никто не понимал, что не так. Стоя у нее за спиной в загсе, Мэдж пережила завистливую судорогу, заметив, как тонки у Элайзы щиколотки под непатриотично длинной юбкой. Как птичьи косточки. Винни хотелось их переломить. И сломать Элайзе шею, как стебелек. Щ-щелк.

Вдова настояла на том, чтобы заплатить за прием в отеле «Регентство», — вдруг кто подумает, что Ферфаксы не в состоянии себе позволить приличную свадьбу. Ясно как день, что с Элайзиной стороны никто не явится и уж тем более не раскошелится. У Элайзы, судя по всему, никого не было. *Все мертвы, голубчик*, прошептала она, и темные глаза ее наполнились трагедией непролитых слез. Та же трагедия пропитала и ее голос, хриплый, шелестящий никотином, виски, бархатом. Сокровище Гордона, нечаянная находка — Гордон выудил ее из руин разбомбленного дома, очутившись в Лондоне на побывке, и даже вернулся за ее потерянной туфлей (*Они такие дорогие, голубчик*).

*Мой герой*, улыбнулась она, когда он осторожно поставил ее на тротуар. *Мой герой*, произнесла она, и Гордон потерялся, утонул в карамельных ее глазах. *Эпоха рыцарей*, прошептала запыленная бомбежкой Элайза, *жива и здорова. И зовут ее?*

— Гордон. Гордон Ферфакс.

*Чудесно.*

— Как они со свадьбой-то поспешают, а? — подмигнул мирфилдский банковский клерк куда-то в пространство, а Элайза тотчас налетела на него, проворковала: *Голубчик, неужели мы теперь одна семья?* Так трудно поверить, — и он ретировался под водопадом хампстидских гласных.

— Ах-ах, фу-ты ну-ты, — сказала Винни Мэдж.

Волосы у Элайзы были темные-темные. Блестящие, волнистые. Черные, как вороново крыло, как грач, как черный лебедь.

— Черной крови подмешали? — одними губами спросила Винни сестру за свадебным тортом.

Мэдж потрясенно отсалютовала бокалом хереса и одними губами ответила:

— Макаронница?

Элайза, умевшая читать по губам со ста шагов, сочла, что новоиспеченные золовки похожи на рыбин. На Треску и Палтуса.

— Тот еще фрукт! — презрительно сказала Винни сестре, когда все пили херес за жениха и невесту.

— Ягодка, — отметил муж Мэдж, похотливо вздев бровь.

*Ну честное слово,* сказала Элайза жениху, *можно подумать, я украшение на свадебном торте,* и Гордону захотелось съесть ее целиком. До последней крошки, чтоб никому не досталось. «Да какой еще торт?» — ворчала Вдова, поскольку торт был военный, с допоенными финиками, обнаруженными в недрах патентованной бакалейной кладовой. Сготовлен тяп-ляп, «дорогое удовольствие, — сообщила Вдова своим рыбьим дочерям, — для дешевой, сами понимаете».

Почему они так спешно поженились?

— Скользкое дело, — заметила Палтус Винни.

— Подозрительно, — сказала Вдова.

— Очень, — согласилась Треска Мэдж.

*Они вообще в курсе, что королева Виктория умерла?* спросила Элайза новоиспеченного мужа.

— Не факт, — засмеялся тот, впрочем он нервничал.

Вдова и Винни жили во мраке Средневековья. И им там нравилось. *Даже не знаю, что хуже,* сказала Элайза, — *быть Винни на Ивовом проспекте или Мэдж в Мирфилде.* И громко расхохоталась, отчего на нее уставилось все собрание.

Чарльз родился в поезде, что объясняется взбалмошностью Элайзы, пожелавшей развеяться в брэдфордском театре «Альгамбра», хотя любая нормальная женщина в ее положении сидела бы дома, задрвав ноги повыше,

и лелеяла бы свои варикозные вены и геморрой.

— Недоношенный, — молвила Вдова, опасливо укачивая Чарльза. — Хорошо хоть здоровенький. — На миг растаяв от своей бабушковости, она попыталась одарить Элайзу улыбкой. Винни из окна больничной палаты обозревала Брэдфорд. Она никогда не уезжала так далеко от дому. — И *крупный*, — прибавила Вдова, восхищенная, саркастичная, растроганная, и все это разом — очень неудобно. — Ты только подумай, — сказала она Элайзе и сощурилась, поскольку выиграл сарказм, — каким бы он получился, если б ты выносила все девять месяцев.

*Ой, я вас умоляю!* сказала Элайза, делано содрогаясь и закуривая сигарету.

— Дитя медового месяца, — задумчиво сказала Вдова, глядя ребенка по щеке. («Вот только чьего медового месяца? А?» — писала Винни в Мирфилд.) «Интересно, на кого он похож? — писала она Гордону. — На тебя он не похож ни капли!» Винни — чемпионка по нарочитым восклицательным знакам! (И чемпионка по количеству писем со времен упадка эпистолярного романа.)

*Совершенный херувимчик*, молвила Элайза, а затем: *Голубушка, я бы все на свете отдала за бокал джина.*

Появление Чарльза даже отметили в газетах:

### ГЛИБЛЕНДСКИЙ РЕБЕНОК РОДИЛСЯ В ПОЕЗДЕ,

собственнически возвестила «Вечерняя газета Глиблендса». Так Вдова и узнала, что у нее завелся внук, — Элайза не потрудилась прислать весточку из больницы, куда ее отвезли, когда поезд наконец прибыл на вокзал.

— Да уж, эта в газету попадет как пить дать, — фыркнула драконша Винни.

Родился в поезде. Люди из кожи вон лезут, желая помочь, проводник переводит ее в первый класс, чтоб ей было где кричать и стонать (что она проделывала весьма воспитанно, единодушно признали все), — она так сказала проводнику: *Голубчик, вы просто ангел*, что ей, решил он, самое место в первом классе. Непонятно было, что писать Чарльзу в свидетельстве о рождении. Он был философской головоломкой, как Зенонова стрела, парадоксом пространственно-временного континуума.

— Что напишем — где он родился? — спросил Гордон, вернувшись домой на побывку.

*В Первом Классе, голубчик, где же еще?* отвечала Элайза.

Увы, Чарльз получился довольно-таки уродлив.

— Встречают по одежке, провожают по уму, — объявила Вдова, повелительница невнятных клише.

Впрочем, Элайза (естественно — она же мать) объявила, что красивее ребенка в мире не бывало. «Чарли мой красавчик», — тихонько пела она Чарльзу, кормя его грудью, и тот ненадолго переставал сосать и дергать и улыбался матери беззубыми деснами.

— Улыбчивый какой младенчик, — говорила Вдова — она не знала, хорошо это или плохо.

Элайза подбрасывала Чарльза на коленях и целовала в загривок. Винни разлепляла губы и цедила:

— Избалованный вырастет.

*Повезло ему,* отвечала Элайза.

Гордон наконец приехал на побывку и узрел сына, уже веснушчатого, как жираф, и с морковным хохлом на обширной лысой макушке.

— Рыжий! — злорадствовала Винни. — Интересно знать — в кого?

— Крепенький он у нас, — сказал Гордон, не обращая внимания на сестру. Он уже влюбился в своего рыжеволосого отпрыска.

— Ни капельки на тебя не похож, — твердила Винни.

Гордон таскал Чарльза по дому на закорках.

— И на Элайзу тоже, — отвечал Гордон, и тут был, конечно, совершенно прав.

Затем Гордона отправили полетать в европейских небесах — они посрее английских.

— Можно подумать, — усмехалась Винни, — он воюет с люфтваффе в одиночку.

— Железные нервы, — говорила Вдова. Железный человек.

*Золотое сердце,* смеялась Элайза — смех у нее был бурливый, довольно страшный.

До конца побывки Гордон умудрился зачать еще одного ребенка (*Нечаянно получилось, голубчик!*).

— Приглядишь за Элайзой? — спросил он мать перед отъездом.

— Как могу я не приглядеть? — отвечала она, и ее синтаксис чопорно каменел, как ее хребет. — Все-таки под одной крышей живем.

В пропаренной и влажной ванной Вдова раздвигала вездесущие джунгли Элайзиных чулок, недоумевая, отчего это входит в ее обязанности.

А кроме того, размышляла Вдова, — откуда у нее чулки? У Элайзы всего имелось в избытке — чулки, духи, шоколад; чем она за них расплачивалась? Вот что интересовало Вдову.

— Хоть этот ребенок не родится в дороге, сказала она Элайзе. Вдова боялась, как бы Элайза не собралась в харрогитские турецкие бани или на денек в Лидс.

Элайза загадочно улыбнулась.

— Мона Лиза, дьявол ее дерит, — вслух сказала себе Винни, на обед куря сигареты в кладовке патентованной бакалеи.

Элайза вплыла в лавку, чреватая, как надутый парус. Села в гнутое деревянное кресло для усталых покупателей под громадными красно-черно-золотыми чайницами с поблекшими японками — в этих чайницах некрупный ребенок поместился бы. Подтянула Чарльза себе на колено и пососала ему пальцы, один за другим. Винни брезгливо содрогнулась. *Он меня смешит*, сказала Элайза и в доказательство расхохоталась, как всегда нелепо. Элайзу много чего смешило, и почти все Вдова и Винни вовсе не полагали забавным.

Вдовьи пальцы поискали пыль на черных бутылках амонтильядо, ощупали литые масленки (чертополох и короны), резак для бекона и струнные сырорезки. Вдова с такой яростью пробила покупки в громадной латунной кассе — размером с небольшой орган, — что касса вздрогнула на прочном красном дереве. Вдова была прямая, как гладильная доска, сопоставимо худая. Кожа — не бывает бледнее, как белая бумага, которую тысячу раз мяли и складывали. *Старая склочница*. Старая склочница, на язык ядовитая, на голове поросль — что порох и пепел. Элайза запела, пряча свои мысли, ибо никому не должно слышать, что творится у Элайзы в голове, даже Гордону. Особенно Гордону.

Живот у Элайзы был как барабан. Она поставила Чарльза на пол. В барабан били изнутри. Винни видела, как что-то пихается в кожу барабана — рука, нога, — и старалась не смотреть, но невидимый ребенок притягивал взгляд. *Побег задумал*, сказала Элайза, из сумочки у ног извлекла пудреницу, дорогую пудреницу, Гордон подарил, — синяя эмаль, жемчужные пальмы, — и подкрасила губы. Потерла ими друг о друга, этими губами, красными, как свежая кровь, как маки, и, к сугубому неудовольствию Винни и Вдовы, причмокнула. На Элайзе была нелепая шляпка, вся из острых углов, точно картина кубиста.

*Я пошла*, сказала она и вскочила так поспешно, так неуклюже, что гнутое кресло грохнулось на пол.

— Куда? — спросила Вдова, пересчитывая деньги, складывая монетки горками на прилавке.

*Погулять*, ответила Элайза, поджигая сигарету и глубоко затягиваясь. Сказала Чарльзу: *Голубчик, побудь здесь с тетенькой Винни и бабулей Ферфакс, ладно?* — а «тетенька Винни» и «бабуля Ферфакс» воззрились на эту назойницу и про себя взмолились, чтобы война закончилась, Гордон вернулся, забрал Элайзу и поселился с нею вместе где-нибудь далеко-далеко. Желательно на Луне.

Ребенок родился тремя неделями раньше срока, и Элайза заявила, что удивлена не меньше прочих. Вдова, полная решимости в этот раз обойтись без сюрпризов, уже объявила военное положение.

В очаге развели огонь (снаружи моросила весна), и Вдова застлала постель прокипяченными и отбеленными простынями. Под кроватью тактично притаились резиновая пеленка и ночной горшок, и на разрешение родового конфликта была брошена армия тазов и кувшинов.

Интуиция погнала Вдову в дом из оранжереи, где она поклонялась своим кактусам; Элайза стояла на лестнице, вцепившись в желудь-фиал и согнувшись пополам от боли. В шляпке, в плаще, с сумочкой — уверяла, что желает прогуляться.

— Свиная петрушка, — вынесла вердикт Вдова, умевшая на глаз распознавать чокнутых, тем более чокнутых на последней стадии схваток, и решительно отконвоировала Элайзу в не ахти какую спальню, а Элайза всю дорогу вырывалась. — Мегера, — вполголоса проворчала Вдова.

Усадила Элайзу на постель, а сама отправилась кипятить насущные чайники. Когда вернулась, дверь в спальню была заперта, и, сколько Вдова ни стучала и ни трясла, сколько ни кричала и ни улещивала, ход в родовую палату ей не открылся. Призвали Винни, деклассированную служанку Веру и мужика, который помогал Вдове в саду. Мужику удалось вышибить дверь, но прежде Вдова успела всласть ободрительно покричать.

Им предстало само воплощение безмятежности. Элайза, по-прежнему в плаще, возлежала на постели и качала на руках что-то маленькое, новенькое, слегка окровавленное и завернутое в наволочку. Торжествующе улыбнулась Вдове и Винни: *Ваша новая внучка*. Когда Вдова наконец заполучила ребенка, выяснилось, что пуповина уже перерезана. Трепет ужаса незримым электричеством сотряс плоское вдовье тело.

— *Перегрызла*, — прошептала она Винни, и та, зажимая руками рот, кинулась в ванную.

И вот так на древесных улицах, почти на вертлявом вертексе двадцатого столетия, в воюющей стране, на комковатой перине в не ахти какой спальне «Ардена» появилась Изабел, и самый первый вдох ее напитала кислая сочность новорожденного боярышника.

Наутро Вдова посетила не ахти какую спальню, дабы ханжески поднести Элайзе чашку чая, и увидела, что Элайза, Чарльз и младенец спят на комковатой постели одной перепутанной кучей. Вдова поставила чашку с блюдцем на тумбочку. По всей спальне валялось дорогое белье Элайзы, тонюсенькие тряпочки, шелковые и кружевные, от которых Вдову воротило. Чарльз тихонько похрапывал, во сне лоб у него взмок. Элайза заворочалась, выкинула из-под одеяла голую руку, округлую и тонкую, но не проснулась. На секунду Вдове привиделась тревожная картина: ее сын в этой постели, его чистенькие героические руки-ноги заплутали в этом полуголом распутстве. Вдове захотелось извлечь из-под кровати ночной горшок и отколошматить им Элайзу по голове. А еще лучше, думала Вдова, глядя на белое горло Элайзы, задушить ее же собственным чулком с черного рынка.

— Как звери, — сказала Вдова, сырорезкой яростно разнимая надвое кус чеддера, — все вповалку, а она почти в чем мать родила. Что из них выйдет? Она же задушит ребенка. В мое время с детьми так не обращались.

Винни представила себе налитые молоком груди Элайзы, почуяла ее запах — духи и никотин — и поморщилась.

Вдова заглянула в глубины палисандрового ажюра колыбельки.

— Вот мы какие, — сказала она с непривычной нежностью, а Элайза подоткнула детское одеяльце с вышитыми голубыми кроликами — голубыми из-за Чарльза. — Дочка Гордона, — сказала Вдова гораздо увереннее, чем обычно произносила «сын Гордона». — У нее твои глаза, — великодушно прибавила она.

— У нее все твое, — сказала Винни, ни капли не очарованная.

*Я хочу, тихонько сказала Элайза, чтоб она цвела и росла.*

— Глупые у тебя желания, — сказала Винни.

*Глядите, тихонько сказала Элайза, откидывая платок с темной головки, разве не красавица?*

Винни скривилась.

— Как назовешь? — спросила Вдова. Элайза не ответила. — Можно Шарлоттой, — не отступала Вдова. — *Очень красивое имя.*

*Да, но оно ваше,* промурлыкала Элайза и погладила раковинку

младенческого уха. *Ушки ее — лепестки, сказала она, а губки ее — розовые цветочки, а кожа ее — звездки и лилии, а зубки ее...*

— Да нету у нее никаких зубок! — заорала Винни.

*Она майский бутончик. Новый листочек. Может, назову ее Майский Цветик, засмеялась Элайза, и от бурлящего ее смеха у всех мурашки по коже побежали.*

— Ну уж нет, дьявол тебя дери, — сказала Вдова.

*Покачайся, деточка, пропела Элайза, на верхушке ели, и шепнула имя в лепесточное ухо: И-зо-бел, зазвенел колокольчик. Изобел Ферфакс. Теперь ребенок мог начать жизнь. Колыбелька падает, обломилась ветка.*

— Изобел? — фыркнула весьма невеселая Вдова и не придумала, что бы еще прибавить.

*«Голубчик, — писала Элайза Гордону, — возвращайся поскорее, а не то я укукошу твою клятую семейку».*



Долгая и счастливая жизнь оказалась несчастливее, чем задумывалось. Собственно говоря, не жизнь, а *скука смертная*, шипела Элайза, *давай поселимся отдельно*, — то и дело. Гордону. Гордон больше не геройствовал, не летал в небесах любых расцветок. Снова облачился в длинный белый фартук и превратил себя в бакалейщика. Элайзу эта гражданская метаморфоза огорчала. Вдова, разумеется, была на седьмом небе.

*Бакалейщик*, говорила Элайза, будто ей противно от самого слова.

— Ну а чем ему, по-твоему, заниматься? — огрызалась Вдова. — Он для этого рожден, — важно прибавляла она, словно Гордон наследный принц гигантской бакалейной империи.

Для Чарльза Гордон оставался героем, особенно если показывал фокусы, которые выучил, бездельничая в ожидании подъема по тревоге. Гордон умел вынимать монетки у Чарльза из пальцев и материализовывать яйца у Вдовы за ушами. Особенно удачно у него выходили фокусы с исчезновениями. Когда он колдовал над Вдовой, та говорила:

— Ой, Гордон, — тем же тоном, каким Элайза произносила *Ой, Чарльз*, если Чарльз ее забавлял.

Элайза глядела, как Вдова сметает листву на газоне за домом. Вдова гневно махала метлой под березой, и сикомором, и яблоней, но листва

сыпалась дождем, и, едва Вдова сгребала ее в кучку, ветер снова подымал листья в воздух. *С тем же успехом могла бы звезды в небе подмести.*

— Лучше бы дала нам там поиграть, — надулся Чарльз, а Элайза рассмеялась: *Поиграть? Да старая склочница и слова-то такого не знает.*

Чарльз и Изобел наклеивали мертвые листики в альбом — клеем, вонявшим рыбой (*Это кровь Винни*, сообщила им Элайза). Чарльз под каждым листом написал, как называется дерево: сикомор и ясень, дуб и ива. Листья они спасали от Вдовы или находили на тротуарах, когда Элайза и Изобел встречали Чарльза после школы.

С деревьев на Каштановой авеню они собрали горсть шипастых зеленых каштанов, похожих на средневековое оружие, и Элайза показала, как они открываются: разломила каштан острыми красными ногтями, сняла мягкую белую оболочку с бурого ядра, сказала: *Этого еще никто на свете не видел.*

Гордон засмеялся из дверей:

— Но лучше бы, Лиззи, открыть Ниагару, — и позвал Чарльза на мужской урок вымачивания каштанов в уксусе, потому что выяснилось, что каштаны и впрямь средневековое оружие, и тут Элайза швырнула ему в лоб горсть нечищенных каштанов, а Гордон очень холодно сказал: — Давай в этом доме для разнообразия станет поспокойнее, хорошо, Лиззи?

Элайза скорчила рожу его удаляющейся спине, а когда он ушел, сказала: *Поспокойнее, ха! В этом доме станет поспокойнее, когда старая склочница помрет и ляжет в гроб на шесть футов.*

— Шесть футов чего? — спросил Чарльз. Он весь перемазался клеем, к локтю прилип крупный лист.

*Подкроватной норы, разумеется*, беззаботно отвечала Элайза, заметив в прихожей Винни.

— Повсюду листья, — пожаловалась та, входя в комнату. — Тут еще хуже, чем на улице.

Затем она бежала из комнаты, подальше от лиственного половодья, отбыла выяснять, куда подевалась Вера с чаем, и даже не заметила, что лист рябины с алыми ягодами чудной ботанической береткой прицепился к ее седеющей прическе.

— Ноет, ноет, ноет, — прошептал Чарльз. — Почему мы ей не нравимся? — Жизненная программа Чарльза — всех смешить, но с Винни он вечно терпел неудачу.

*Ей никто не нравится, даже она сама*, фыркнула Элайза.

— Она тут даже не живет, — пробубнил Чарльз, но воспрянул духом, увидев, как Вера, сторбившись, волочет поднос с чайником, чашками,

тостами с маслом, слойками со смородиной и вдовьим кексом с курагой.

*Господи боже*, сказала Элайза, глубоко затягиваясь сигаретой. *Опять пироги и плюшки, одни, дьявол их дери, сплошные кексы, больше в этом доме ничего и нет.*

— А мне нравится, — сказал Чарльз.

После чая Элайза выложила им на обеденный стол раскраски и толстые восковые карандаши. Она была великодушный критик — что бы дети ни сотворили, все было *совершенно восхитительно*. На другом конце стола Вдова произнесла нечто неразборчивое. Нацепив очки на кончик носа, она перелицовывала воротники и манжеты («мотовство до нужды доведет»), Элайза сказала Изобел, что дочери, когда вырастет, надо стать художницей.

— Хлеба в дом не принесет, — отметила Вдова. — Чарльз, осторожнее с карандашами.

Элайза не ответила, но, если подойти к ней очень близко, слышно было, как она бормочет себе под нос заклинание вуду — будто пчелиный рой гудит. Вдова стряхнула с пальцев крошки кекса и ушла.

Чарльз сосредоточенно хмурился, склонившись над рисунком. Он рисовал неуклюжие идеальные дома — квадратные домики с крутыми крышами, глазами-окнами и дверными ртами. Изобел рисовала дерево с листвой червонного золота, и тут вошел Гордон, сказал:

— Маргрит, оттого ль грустна ты, что пустеют роц палаты, <sup>[36]</sup> — и улыбнулся, что выходило у него все удрученнее, а Элайза, не взглянув на него, сказала:

*У нее и правда хорошо получается, да?* и просияла дочери нежной улыбкой, начисто исключив Гордона.

Тот засмеялся:

— Надо бы нам завести еще, мало ли, кем они окажутся — может, Шекспирами и Леонардо да Винчи.

— Что — еще? — спросил Чарльз, не отводя взгляда от своего солнышка — большого глаза с золотыми спицами.

*Ничего еще*, отмахнулась Элайза.

— Детей, — ответил Гордон Чарльзу. — Надо завести еще ребенка.

Элайза смахнула прядку с глаз Изобел и сказала: *Это еще зачем?* Нынче Гордон и Элайза беседовали через посредников.

— Потому что люди так делают, — сказал Гордон, переворачивая рисунок Чарльза, будто разглядывает, хотя явно не смотрел. — Во всяком случае, если любят друг друга. — Тут, видимо, и на него подействовала

беззвучная Элайзина порча, и он вдруг тоже ушел. Нынче в «Ардене» все только и делали, что шастали туда-сюда.

— А где берут детей? — спросил Чарльз, напоследок дорисовав двух птичек, летящих по небу танцующими галочками.

Элайза щелчком раскрыла золотую зажигалку и прикурила. *В детском магазине, разумеется.*

С происхождением детей в «Ардене» все было непросто. По словам Вдовы, детей приносили аисты, по версии Винни, детей находили под кустом крыжовника. Ответ Элайзы представлялся гораздо разумнее. В саду на задах полно крыжовника, а никаких детей так и не появилось. Что до аистов, в Англии, рассказывал Гордон, они не водятся — совершенно непонятно, как тогда рождаются английским детям, об уэльских и о шотландских не говоря.

Вдова вернулась в столовую, мельком глянула на детские рисунки.

— У деревьев зеленые листья, — сообщила она Изобел, — а не красные, — будто никогда не открывала окон одиноких своих глаз и не видала осени.

*Дети, раздраженно сказала Элайза, когда Вдова ушла, да кому они нужны? Лучше б я вообще детей не рожала,* и злилась так, что восковой карандаш разломился у нее в руках пополам.

— Но ты же любишь нас? — встревожился Чарльз.

Элайза расхохоталась — опять этот дикий звуковой налет, — и ответила: *Боже правый, ну еще бы. Если б не вы, здесь бы меня не было.*

Осенью Элайза валялась в плетеном шезлонге в оранжерее, нацепив солнечные очки, будто на пляже, хотя небеса куксились, — читала библиотечные книжки, пила виски и курила сигарету за сигаретой, пока оранжерею не заволакивало облаком туманной синей мути. Вдовьи кактусы закручинились. Вдова тоже.

— Лиззи... — говорил Гордон — разумно, убедительно, вкрадчиво. Беспомощно. — Лиззи, ты бы помогала чуть-чуть по дому, а? Вера забегалась нас обслуживать, а мама с утра до ночи у плиты.

*У меня с детьми забот полон рот,* отвечала Элайза, не отрываясь от книжки. Хотя Гордон ясно видел, что рот у нее полон сигаретного дыма и виски из большого стакана, а дети с грохотом катаются по перилам на чайных подносах.

Осенними вечерами, когда дети укладывались спать, Гордон, Элайза и Вдова сидели у огня в гостиной, слушали радио и играли в карты. Вдова

подозревала, что Элайза мухлюет, но поймать за руку не удавалось. (Пока.) Временами Гордон сидел и смотрел в огонь, а Вдова крутила исцарапанные пластинки на древнем заводном граммофоне.

Вдова очень суетилась, кормя Гордона ужином.

— О нем надо заботиться, — со значением говорила она Элайзе, отрезая сыну кусок прошлогоднего рождественского пирога и водружая сверху кусок уэнслидейла размером с мельничное крыло.

*Ох господи*, вполголоса жаловалась Элайза люстре Георга Третьего, *даже эта дребедень у них с сыром.*

— Ой, прошу *прощения*, — говорила ей Вдова, величая северная герцогиня. — *А ты хочешь?*

Джилли пел из граммофона «*Che gelida manina*»,<sup>[37]</sup> а Вдова разливала чай по чашкам в цветочек. Элайза пила чай без молока и сахара, и всякий раз, наливая, Вдова повторяла:

— Просто не понимаю, как ты так можешь! — и морщила белое бумажное лицо.

Гордон, набив рот пирогом, совершает ошибку — шутит, чтобы порадовать мать, дескать, Элайза никогда не печет, а Элайза смотрит на него, полуприкрыв глаза, и отвечает: *Это правда, зато я тебя ебу*, — и Гордон расплескивает чай в блюдце и давится прошлогодним рождественским пирогом. Вдова растягивает губы в жизнерадостной вежливой улыбке, будто внезапно оглохла, и переспрашивает:

— Что такое? Что она сказала?

К ноябрю деревья почти оголились, только редкий листик цеплялся за ветку тут и там, хлопал, точно скорбный флажок, и, когда Чарльз ходил туда-сюда между домом и начальной школой на Рябинной улице, палой листвы на тротуарах уже не было. Школу Чарльз ненавидел. Школу Чарльз ненавидел так, что не мог завтракать по утрам.

У Вдовы философия детского питания была проста: как можно чаще и как можно больше. Особенно дороги ей были завтраки — она требовала, чтобы Чарльз и Изобел кушали овсянку, яйца (пашот или вкрутую), тосты с джемом и выпивали по полпинты молока из больших стаканов.

*Они лопнут, как воздушные шарики*, говорила Элайза, по обыкновению завтракая сигаретами и черным кофе.

— *А ты скоро совсем растаешь*, — упрекала ее Вдова, и Чарльз в тревоге отрывался от яйца.

Элайза и впрямь была худа, но нельзя же похудеть так, что исчезнешь?

С Чарльза счистили джем (весьма бесцеремонно — Вдова применила

старую фланельку). Запихали Чарльза в блейзер и фуражку. Толстая нижняя губа у него задрожала, и он очень тихо сказал Элайзе:

— Мамуль, я не хочу в школу.

— Глупости, — резко возразила Вдова, — все должны ходить в школу.

Началка на Рябинной была сумрачна и тесна, там воняло влажным габардином и резиновыми подошвами, там кишмя кишели кисломордые старые девы, обнаруженные, вероятно, под тем же крыжовенным кустом, что и Винни. В этих кирпичных стенах были невероятно популярны побои — Чарльз возвращался домой с рассказами о ежедневных порках и избиениях тростью или плеткой (к счастью, колотили пока не его), учиняемых директором мистером Бакстером.

— Он поддерживает дисциплину — и что такого? — сказала Вдова, безжалостно нацепляя на узкие Чарльзовы плечи громадный кожаный ранец. — Маленькие мальчики шалят, надо им показать, что к чему.

*Да и большим мальчикам это не помешало бы,* манерно протянула Элайза, глубоко затягиваясь сигаретой и щурясь Гордону, поедающему горячий вдовый завтрак. *Я Гордону нередко показываю, что к чему, правда, голубчик?* Элайза улыбнулась, словно кошка на солнцепеке, а Вдова стала цвета своей по-домашнему замаринованной красной капусты и, видимо, погрузилась в мечты о том, как расшибет Элайзе череп большим хромированным чайником, бессменным центром настольной композиции. Гордон все это стоически проигнорировал, взял с тарелки треугольный тост и сказал:

— Пойдем, старина, — (офицерство в военные годы отразилось на его изначально плебейском лексиконе), — я тебя подброшу до школы на машине.

У бедного Чарльза, смирившегося с неизбежным, над полосатой фуражкой воссиял нимб обреченности. Чарльз подошел поцеловать Элайзу на прощанье, и та шепнула ему на ухо: *Если мистер Бакстер хоть пальцем тебя тронет, скажи мне — я ему голову оторву и легкие через горло выдеру.* На свете нет человека страшнее мистера Бакстера, но и ему далеко до Элайзы.

Рождество подарило Чарльзу две недели отдохновения, и он долгими часами косоруко клеил бумажные цепи и сооружал украшения из серебристых крышечек от молочных бутылок. *Очаровательно, голубчик,* сказала Элайза и завернулась в гирлянду из крышечек, по ошибке решив, что Чарльз смастерил ей ожерелье.

Гордон съездил за город и вернулся с исполинской елью в багажнике

большой черной машины — все корни облеплены землей. Элайза нежно погладила ветки, словно дикого зверя успокаивала, сказала: *Ты понюхай*, и они вдохнули аромат холода, и смолы, и чего-то совсем таинственного. Гордон укротил елку, посадив ее в старую бочку, обернутую рождественской упаковочной бумагой, и увешав разноцветными фонариками.

Элайза из салфеток и крепдешина смастерила гномиков, на бумажных личиках карандашом небрежно начертила улыбки, вместо глаз вставила спичечные головки. Ершистые гномьи ручки и ножки что есть мочи цеплялись за елку. *Симпатичные, правда?* спросила всех Элайза; она восторгалась своей работой, и ни у кого духу не хватило сказать, что гномики страшны как смертный грех.

На Рождество Гордон подарил Элайзе викторианское цыганское кольцо — золотое, с изумрудными и бриллиантовыми звездами. Элайза прижала кольцо к бледной щеке. *Мне идет?* спросила она Чарльза. Вдова мерила ее ястребиным взором из-под нависших век и злилась, представляя, во сколько обошлось это кольцо ее малышу. Сама она вручила Элайзе скучный и натужный свекровный подарок — коробку носовых платков с монограммой.

Гордон купил Чарльзу набор фокусника, до которого Чарльз не дорос.

— Да ты его купил себе, — сказала Винни, колючая, как сосновые иглы. (Она была сама не своя с тех пор, как наступил мир.)

*Сделай так, чтоб она исчезла, голубчик*, (громко) шепнула Элайза Гордону.

Вдова разрешила рождественского поросенка, криво уместив бумажную корону на седом пучке, Гордон произнес тост за будущее, и все выпили французского вина, а Чарльзу и Изобел Элайза дала разбавленного. Вдова глотнула кровавого вина из бокала и молвила:

— Ну конечно, у нас же тут царство свободы.

Пришло лето, а с ним и новые соседи. Старики, жившие в «Шервуде» с самой постройки, умерли с разницей в неделю, и дом купил некий мистер Бакстер. Тот самый мистер Бакстер — к неизбывному ужасу Чарльза, — который директорствовал в началке на Рябинной. Редкая несправедливость: Чарльз и так целыми днями прячется от мистера Бакстера в школе, а теперь даже дома и в саду спасения нет. Уж такая у Чарльза судьба — если он пинал мячик, тот перелетал к мистеру Бакстеру через забор, если решал заорать во все горло, что с Чарльзом случалось нередко, именно мистер Бакстер дремал в шезлонге за бирючиной.

А еще была застенчивая миссис Бакстер. Моложе супруга, типично материнской конституции — невысокая, полная, мягкая в отличие от костлявого мистера Бакстера. Миссис Бакстер переименовала дом и велела разнорабочему, который трудился на Вдову, снять с ворот латунную табличку «Шервуд» и заменить ее деревянной, на которой значилось «Хълм самодив».

— Только металлом разбрасываться, — высказалась Вдова, хотя неясно, подразумевала она латунь или деньги.

«Хълм самодив», объяснила миссис Бакстер Вдове, — это «Холм фей» по-шотландски. Миссис Бакстер была шотландка с чудесным акцентом — торф, вереск, дома из мягкого песчаника.

У Бакстеров имелась дочь Одри, ровесница Изобел. Одри была «робкой малюткой» (по словам Вдовы), с волосами цвета палых кленовых листьев и глазами как голубиные крылья. Мистер Бакстер обходился с Одри и миссис Бакстер по всей строгости. *Как ужасны чужие семьи*, зевала Элайза.

На соседские любезности миссис Бакстер Вдова откликалась без воодушевления — она придерживалась принципа «к чужим не лезть и к себе не пускать». *Да кому она нужна?* говорила Элайза, в купальнике растянувшись на коврике посреди газона, и длинные тонкие руки ее были невероятно бледны, словно в жизни не видели света.

Вдова желала общаться по-соседски только с избранными. Помимо прочих, обхаживала семейство Любет («Пригласи маленького Малькольма в гости», — говорила она Чарльзу, подкупая его леденцами). Она питала сверхъестественный пиетет к медицине и не смущалась гинекологов, поскольку у нее не водилось женских проблем.

Как-то раз Гордон пришел домой и сказал:

— Ну так как насчет отпуска? — а Элайза ответила: *Только без нее.*

И они вчетвером уехали на море и поселились в пансионе, где вечерами хозяйка призывала жильцов на ужин, колотя в медный гонг, висевший в коридоре, и Гордон однообразно шутил насчет Дж. Артура Рэнка,<sup>[38]</sup> пока Элайза не сказала: *Господи всемогущий, Гордон, хватит уже, а?* — и больше Гордон не шутил.

Гордон снял кабинку на берегу, где по всему променаду тянулась целая шеренга разноцветных кабинок, и днями напролет строил замечательные песчаные замки. Чарльзу приходилось носить вислую панамку, как маленькому, потому что рыжие очень обгорают.

— Так у тебя в роду были рыжие? — спросил Гордон в редком

припадке коварства, но Элайза лишь непроницаемо воззрилась на него сквозь солнечные очки.

Они закопали Элайзу в песке. Она сидела равнодушно, читала книжку, иногда поглядывала на детей поверх очков и улыбалась. (*Я ваша пленница!*) На ней был шикарный красный купальник с хомутом; жаркое солнце не выключалось всю неделю и окрасило ее белую кожу смуглой экзотикой.

Вечерами Элайза наряжалась в дорогие вечерние платья и они с Гордоном гуляли по променаду. А когда возвращались, Гордон расстегивал ей платье на спине, и снимал ожерелье, и пальцами гладил теплую смуглую кожу, и лицом зарывался в темные-темные волосы, а Элайза смеялась: *Прости, голубчик, детский магазин закрыт*, и Гордон спрашивал, отчего она распутничает со всеми, кроме него? Элайза смеялась.

*Я пошла гулять*, сказала Элайза, вскочив с шезлонга, *и не ходите за мной*, предостерегла она, когда Гордон тоже начал подниматься, *мне дышать нечем*.

На ней была красная хлопковая юбка поверх красного купальника, она подоткнула эту юбку сбоку, и мужчины, послушно сидевшие на пляже с детьми и женами, украдкой оборачивались и глядели, как Элайза неспешно кочует вдоль кромки моря. Один раз она наклонилась, что-то подобрала, рассмотрела и зашагала дальше.

Она ушла далеко, превратилась в далекий красный огонек, еще чуть-чуть — и исчезнет. Когда прибрела назад, солнце больше не жарило, а песчаные замки по всему пляжу вылизывал прилив.

— Я думал, ты не вернешься, — сказал Гордон, когда Элайза наконец появилась.

Она не ответила, сказала Чарльзу: *Гляди, что я нашла*, и вручила большую спиральную раковину, снаружи белую, шероховатую, известняковую, а внутри блестящую, атласно-розовую, *цвета детского нутра*, пояснила Элайза, и Гордон сказал:

— Лиззи, перестань, ради бога.

Элайза закурила, поглядела, как волна подползает к ее худым коричневым ступням с ногтями как ягоды остролиста.

— Ну, пошли, — сказал Гордон Чарльзу и Изобел. — Дж. Артур Рэнк вот-вот позовет, мы же не хотим остаться без ужина?

Они по шершавым бетонным ступням взобрались на променаду, а Элайза осталась, и волны облизывали ей щиколотки.

— Тоже мне Кнуд Великий, <sup>[39]</sup> дьявол ее дери, — сказал Гордон,

который обычно не ругался, — пускай хоть утонет, к дьяволу.

Но Чарльз от такой идеи заорал, побежал обратно и притащил Элайзу за руку.

— Ты бы могла с ней подружиться, — сказал Гордон Элайзе — они смотрели, как миссис Бакстер работает в саду. — Она же ненамного тебя старше.

Они стояли в чердачной спальне, но Чарльза и Изобел не было, они купались в ванне под надзором Вдовы, которая притворялась капитаном подлодки, чтобы Чарльзов лодочный флот ее потопил. Гордон сзади обнимал Элайзу за талию, положил голову ей на плечо. Элайза заставляла себя не обращать внимания на его голову, не вздрагивать, не отпихивать его.

Миссис Бакстер вела наступление на запущенные травяные заросли в саду «Холма фей», всем весом налегала на механическую газонокосилку, то и дело останавливалась, чтобы снять с вала длинные мокрые стебли. Жаркий чердак заполонили ароматы скошенной травы.

— Зря она так, в ее-то положении, — сказал Гордон (миссис Бакстер была беременна), тревожно нахмурившись; вышел мистер Бакстер, что-то сказал жене. — Вот ведь ненормальный тип, — сказал Гордон.

Элайза попятилась от окна, прижалась к Гордону, а тот вел ее задом, держа за талию, точно пленницу, а потом Элайза изо всех сил вонзила локоть ему под ребра, пнула каблук в лодыжку, и от боли и изумления Гордон рухнул на постель Чарльза.

Он долго лежал и слушал, как уничтожают германский флот («Ахтунг! Ахтунг!» — кричала тонущая Вдова) и рычит в вечернем воздухе газонокосилка миссис Бакстер. Он слышал, как хлопнула парадная дверь. В эти долгие летние вечера Элайза все время уходила. Куда? *Погулять.*

— Бабье лето, — возвестила Вдова.

Стоял сентябрь, зелень на деревьях состарилась. Чарльз и Изобел болели ветрянкой, у Чарльза еще не начались уроки, Изобел пойдет в школу только в будущем году.

— Здоровы как быки! — всякий раз при виде их сердилась Винни.

Завтрак — это всегда нелегко. Вдова — сама назойливость, Элайза — сама праздность.

— Да ты сама только обрадуешься, когда Чарльз опять пойдет в школу, — сказала ей Вдова как-то раз за особо удручающим завтраком; сентябрьское утреннее солнце маслом растекалось по белому льну Вдовой скатерти. — Когда они оба в школу пойдут! — продолжала Вдова, одолжив

у Винни восклицательный знак.

Гордон еще не спустился к столу — брился, опасной бритвой осторожно скреб красивое горло.

*Да?* переспросила Элайза, беззаботно щелкая зажигалкой. Глубоко затаилась и сказала, что, будь ее воля, она бы детей вообще в школу не посылала. Она еще не накрасилась, лицо чисто вымыто, а волосы забраны лентой на затылке, и вдруг проступили эскимосские скулы.

— Ну, значит, и хорошо, что воля не твоя, — огрызнулась Вдова.

Элайза промолчала, только празднично воздела бровь и намазала маслом тост — от таких ответов у Вдовы вскипала кровь.

(«У меня кровь от нее вскипает», — бормотала она Винни, взяв старой деревянной щеткой по ковру в гостиной, словно хотела стереть его до полного несуществования. Винни, которая следовала за ней с тряпкой для пыли и политуры, посетило неприятное видение: в материнском телереторте весело булькает кровь. По Вдове не скажешь, что у нее кровь кипит, скорее, сворачивается от холода.)

— И чем бы ты с ними тогда занималась? — не отставала Вдова; любопытство понуждало ее длить беседу, хотя в целом она бы предпочла вообще не разговаривать с Элайзой.

*Ой, ну не знаю,* беспечно отвечала та, к восторгу Чарльза выдувая идеально круглое дымное колечко. Намотала на палец черный локон, улизнувший из ленточных уз, улыбнулась Чарльзу. На ней был старый шелковый пейслийский халат Гордона и ночнушка, такая красивая, что в ней хоть на танцы, — длинный кружевной лиф и косая юбка устричного атласа, — и в неприбранности своей Элайза была до того прекрасна, что у Гордона, который незамеченным замер в дверях, сжалось сердце. *Я бы их выпустила где-нибудь на большом зеленом лугу,* наконец сказала Элайза, *и пускай бегали бы весь день.*

— Гиль, дичь и дурь, — протелеграфировала в ответ Вдова.

Овсянка у Изобел собралась островком посреди молочного пруда, серым и комковатым, как расплавленные мозги. Изобел запустила ложку в середину овсяного островка и вообразила, как бегают по Элайзиному зеленому лугу. Вот она, Изобел, крохотная фигурка в океане зелени.

— Ты будешь есть или играть? — сурово осведомилась Вдова.

*Не надо так разговаривать с моим ребенком,* сказала Элайза, встала и оттолкнула стул, будто вот-вот бросится на Вдову со столовым ножом. Халат соскользнул, обнажив плечо и северное полушарие гладкой круглой груди, что вздымалась над кружевными зарослями. Кожа у Элайзы была безупречна — Чарльзу она напоминала мягкий творог, который готовила

Вдова, только без мускатных веснушек, как у него самого.

— Посмотри на себя, шлюха, — прошипела Вдова, и Изобел поджала пальцы на ногах и принялась быстро-быстро поедать овсянку.

— Что тут такое? — спросил Гордон, входя в столовую.

Рубашка у Гордона (накрахмаленная Вдовой) и свежесбритое лицо были так свежи, так чисты, что все устыдились и за столом наступило перемирие.

Гордон вдруг подхватил Изобел со стула — она и ложку не успела положить — и подбросил так высоко, что казалось, она вовсе не приземлится.

— Осторожнее — ты ее на абажур подвесишь, — попеняла ему Вдова.

Появилась Винни, в поход на работу экипированная шляпой и сумочкой.

— Описается же, — предупредила она.

*И не подумай, что у нее есть свой дом, вслух сказала Элайза, вечно здесь торчит.*

Гордон водрузил Изобел на стул и сказал Вдове:

— Если б в этом доме изредка веселились — вот был бы ужас, правда? — а та ответила:

— Оставь, пожалуйста, этот тон, Гордон.

Винни тоже не упустила шанса вклиниться.

— Веселье, Гордон, — усмехнулась она, — рубашки тебе не стирает.

— Что это вообще значит, Винни? — Гордон резко развернулся к ней, а она села за стол и налила себе чая, поскольку ответа не придумала.

*Ой, голубчик*, проворковала Элайза, подошла к Гордону, прижалась к нему всем атласно-кружевным телом, и Винни пришлось рукой закрыть Чарльзу глаза. Руки Элайзы скользнули Гордону на талию, под пиджак, высвободили рубашку и майку из брюк, ладони проползли по спине до самых лопаток, и Гордон не сдержал постыдного стога. Винни и Вдова зеркалами отражали гадливость друг друга. Губы Винни надулись, как у карпа. «Шлюха», — украдкой бормотала она чайнику.

Элайза встала на цыпочки, зашептала Гордону в ухо, и кудри ее щекотали ему щеку, а голос ее был как жженый сахар: *Голубчик, если мы вскорости не поселимся отдельно, я от тебя уйду. Ты понял меня?*

Миссис Бакстер потеряла ребенка. («Как можно потерять ребенка?» — ужаснулся Чарльз. *Легче легкого, если сильно постараться, голубчик*, засмеялась Элайза.) Как-то ночью миссис Бакстер внезапно отбыла в

больницу. Мистер Бакстер явился в «Арден», волоча за руку Одри, попросил Вдову за ней присмотреть. Едва ли Вдова могла отказаться, и Гордон отвел Одри наверх и уложил в постель к Изобел. Одри вела себя очень смиренно, сказала только «здравствуйте» и «спокойной ночи», но тихонько похрапывала, как котенок.

Ребенок у миссис Бакстер был недоношенный, слишком рано родился и умер, так и не увидев дневного света.

— Нежизнеспособный, — сказала Вдова наутро за яйцами-пашот, а Гордон сказал:

— Тш-ш, — и указал на Одри. Та, впрочем, была занята — ловила яйцо, убегавшее с тарелки, — и ничего не заметила.

Потом, когда Одри ушла домой, Чарльз спросил, что такое нежизнеспособный, и Винни ответила:

— Мертвый, — как обычно не церемонясь. Она жевала тост, ожидая, когда ее подбросят до работы.

— Куда девают мертвых детей? — спросил Чарльз.

Винни ни капли не растерялась:

— В землю кладут.

И Вдова зацокала языком от такой прямолинейности.

— Они, естественно, отправляются на небеса, — утешила Вдова, — дети улетают на небеса и становятся ангелочками.

Чарльз вопросительно посмотрел на Элайзу. Если Элайза не подтверждала, дети не верили почти ничему.

*На ремонт в детский магазин*, сказала она, к досаде Винни и Вдовы.

— А если не поторопишься в школу, — прокаркала Вдова Чарльзу, — тебя тоже отнесут в детский магазин и обменяют на другую модель! — Довольная своей уловкой, Вдова победно ухмыльнулась Элайзе и отбыла из столовой.

Элайза сощурилась и закурила. *В один прекрасный день*, сказала она, *в один прекрасный день я убью эту старую сволочь*.

— Нам действительно пора жить своим домом, — рискнул Гордон.

Вдова в кухне месила тесто для воскресного пирога с плодами ее собственных «викторий» — на столе стояла огромная фарфоровая ваза красных слив. Ошалев от благоухания, по ним медленно ползла оса. Вдова скрестила руки, подперев тощую грудь, и обсыпала блузку мукой. Она спала и видела избавиться от Элайзы, но, едва доходило до дела, мысль о том, что Гордон («сыночек») уйдет из дома, оказывалась невыносима.

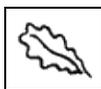
— Не вижу смысла, — сказала она, — у меня тут места полно, и без

меня некому о тебе заботиться, и вообще этот дом однажды станет твоим. Очень скоро, — прибавила она, и голос у нее дрогнул.

Она фартуком промокнула глаза, и Гордон сказал:  
— Ну полно, полно, — и обхватил ее руками.

Элайза хладно лежала в постели подле Гордона. В не ахти какой постели. Простыни в «Ардене» были жестки, как оберточная бумага. Через ледяное плечо Элайза сказала ему: *Ты посмотри на нее — почему она не уедет, не поселится, с Винни, отдала бы нам дом или хоть денег с лавки? Лавка ведь твоя, она уже старуха, чего она за эту лавку цепляется? Мы бы продали, выручили бы денег, убралась бы из этой адской дыры. Добились бы чего-нибудь.*

За последние месяцы Элайза ни разу не говорила Гордону столько слов подряд. Он в темноте смотрел на стену — если вглядываться очень пристально, можно различить, где начинает повторяться узор, розы на шпалере. На Сикоморной улице заухала сова.



Вдова тяжело взгромоздилась на переднее сиденье большой черной машины.

— Сегодня закрываемся рано, — сказал Гордон Чарльзу. — Я к обеду вернусь.

Винни залезла на заднее сиденье, негодуя:

— Почему я вечно сзади? Почему я всегда не ахти что?

И все уехали, чтобы снова превратиться в патентованных бакалейщиков, *пррт-пррт-пррт*. Чарльз махал, пока автомобиль не скрылся из виду, и потом еще чуть-чуть, потому что у Гордона был такой фокус — притвориться, будто исчез за углом, думаешь, будто его нету, а потом он она — и опять есть. В этот раз, правда, не так.

*Пикник*, сказала Элайза, туша сигарету на Вдовьем блюде в цветочек, *каникулы все-таки, а мы, дьявол его деру, всю неделю баклуши, бьем, выволокла старую плетеную корзину из корзинного тайника под лестницей* и прибавила: *На автобусе в город, встретим папу в обед, устроим ему сюрприз.*

Детям на радость, они сидели на втором этаже автобуса, впереди, и смотрели, как мимо проплывают древесные улицы. Толстая ветка сикомора

неожиданно треснула по стеклу, затрясла мертвой листвой, как ладонями, и Элайза сказала: *Все нормально, это просто дерево*, и закурила. Помахала рукой, отгоняя от них дым, скрестила ноги и застучала туфлей по полу, будто ей не сиделось. Она надела любимые туфли Чарльза, на шпильках, из коричневой замши, с мохнатыми помпончиками. *Норковыми*, говорила Элайза. Тонкие чулки того же оттенка. *Норкового*.

Автобус протрюхал дальше, по улице, где прежде жила Винни. Элайза затушила сигарету на полу, долго-долго крутила ногой, хотя сигарета давно погасла. Элайза источала недовольство, точно холодное октябрьское солнце. Прямо напротив двери Винни была автобусная остановка, и они втроем заглянули сверху в крошечный садик, всмотрелись сквозь кружевные занавески — им ничто не угрожало, Винни же на работе. Спальня прямо напротив окна автобуса, но шторы навеки задернуты — не на что здесь смотреть любопытным пассажирам второго этажа, — и никаких тайн спальня зевакам не выдала. Краснокирпичный домишко Винни — узкий, ленточная застройка, с небольшим угловатым эркером и убогим крыльцом; дом построили, когда у градостроителя истоцилась фантазия и алкоголем переполнились сосуды (крепкая туша градостроителя рухнула под ударом инсульта в 1930-м).

*Бр-р*, передернулась Элайза, хотя не поймешь, думала она про дом или про его отсутствующую хозяйку. Про обоих, наверное. Чарльз и Изобел не любили ходить к Винни. Там пахло сыростью, моющими средствами и вареными овощами.

Вдова стояла в лавке у потертой краснометаллической кофемолки «Хобарт» и грезилла о деньгах и отмене нормирования. Гордон посадил Изобел на полированный прилавок красного дерева, чтоб посмотрела, как он взвешивает чай. Чай пах темнотой и горечью, как Вдовый горячий хромированный чайник с вязаной желто-зеленой чайной бабой. Винни резала ланкашир, белый, как Вдовья кожа.

— Так-так-так, — сказала постоянная покупательница миссис Тиндейл, грузно вваливаясь в лавку, — да это же Чарльз и Изобел. — Повернулась к Вдове. — Вылитая мамочка, правда? — (И Вдова с Винни разом воздели брови, между собою безмолвно обсудив неизбежные выводы из этого наблюдения.) — Как приятно, — сказала миссис Тиндейл, — видеть счастливую молодую семью!

Элайза ни слова не ответила и исчезла в глубине лавки, а за ней на невидимом поводке ушел Гордон. Миссис Тиндейл заговорщицки склонилась над прилавком и сказала Винни:

— Взбалмошная она штучка, да?

Винни улыбнулась этак странно, с прищуром, и шепнула:

— И игривая, — будто Элайза представительница диковинного орнитологического вида.

Элайза и Гордон вернулись — у обоих лица напряженные и пустые, словно они только что поругались. *Мы на пикник, но сначала вас подвезем*, сказала Элайза Вдове. Та воспротивилась. Она идет обедать в «Базилику», сказала она, вся такая святоша, будто молиться собралась, будто «Базилика» — взаправду храм, а не ресторан при универмаге.

— Пикник в *октябре*? — жизнерадостно переспросила миссис Тиндейл, но на нее никто и не взглянул.

Элайза сняла Изобел с прилавка и принялась покусывать ей ухо. Почему, недоумевала Винни, Элайза вечно пытается отгрызть кусок от своих детей? *Ах ты, вкусенькая плюшка*, прошептала Элайза дочери, а Винни тем временем энергично кромсала масло, воображая, что это Элайзина голова. Лучше б она поостереглась, думала Винни, — в один прекрасный день опомнится — а детей и нету, всех съела.

Вдова между тем размышляла, что это за пикник такой — не очередная ли спонтанная Элайзина вылазка? А вдруг она опять вернется с ребенком? Или, если повезет, заплутает и вообще не вернется? Винни шмякнула кусок масла на мраморную доску — *ее-то* позвать на пикник никому и в голову не пришло, а? *Винни*, ласково промурчала Элайза, *поедем с нами, хочешь?* И Винни отшатнулась в ужасе: да она *никуда* с ними не поедет, ни за какие блага, ей просто хотелось, чтоб позвали.

— Да, поезжай, — гаркнула Вдова, — может, свежий воздух в тебя чутка жизни вдохнет.

*Бедная Винни*, сказала Элайза, бурля смехом.

Элайза развеселилась, хотя бы на пару минут, и все вздохнули с облегчением. Она неделями на всех кидалась. *Я не в себе*, сказала она и захохотала, как маньяк, *но вот где я — это вопрос*.

Гордон, взмахнув рукою, эффектно вывернулся из белых бакалейных пут, надел габардиновый плащ и фетровую шляпу и совсем перестал походить на бакалейщика. У него такие густые кудри — он прямо как кинозвезда. Встал в дверях и поднял руки, чтоб сыграть в «Апельсины, лимоны»,<sup>[40]</sup> сказал:

— Скоро тебя утешит палач!

И Изобел пробежала у него под руками. Чарльз разволновался и, чтоб его утешил палач, бегал три раза. Гордон как раз собрался отрубить голову и Элайзе, но она сказала — очень холодно, очень *по-хампстидски* —

*Прекрати, Гордон,* — и он глянул на нее странно, щелкнул каблуками и ответил: — *Jawohl, meine dame,*<sup>[41]</sup> — а Винни рявкнула:

— Не смешно, Гордон, — на войне люди погибали!

Элайза засмеялась: *Да ну тебя, Винни,* — а Гордон развернулся к ней и сказал:

— Помолчи, Элайза, ладно?

*Не понимаю, что с тобой такое,* беспечно ответила она, а Гордон поглядел на нее очень пристально и ответил:

— Правда, что ли?

Когда Гордон захлопнул дверь, лавочный колокольчик на пружинистой железке громко загремел. Вдова и миссис Тиндейл стояли за дверным стеклом и махали машине, одеревенелые, как Панч и Джуди в сундуке. Едва мотор завел свое *пррт-пррт-пррт*, обе они повернулись друг к другу — не терпелось посудачить о поведении этой не особо счастливой молодой семьи.

— Куда двинемся? — спросил Гордон не пойми кого, руками в кожаных перчатках постукивая по рулю, словно перед ним тамбурин.

*Куда угодно,* ответила Элайза, закуривая. Он посмотрел на нее странно, косо, будто они только что познакомились и он не понимает, что она за человек такой.

— Может, в Боскрамский лес? — спросил он, глянув на Чарльза в зеркало заднего вида.

— Да! — воодушевился Чарльз.

Элайза что-то сказала, но Гордон, отъезжая от обочины, с шумом дал по газам, и слова Элайзы утонули в реве мотора.

Винни, по обыкновению сосланная на заднее сиденье, съезжилась, уворачиваясь от пагубы брыкающихся ног и липких рук.

— А ты что скажешь, Вин? — спросил Гордон, и та ответила:

— Что, в кои-то веки кого-то заинтересовало мое мнение? — Закурила, так своего мнения и не высказав, и исчезла в дымном облаке.

Едва Гордон завел мотор, Изобел закрыла глаза. Ей нравилось уплывать в дрему, вдыхая снотворные запахи кожаных сидений, никотина, бензина и Элайзиных духов. Когда проснулась, они еще не приехали. Элайза оглянулась через плечо и сказала: *Почти прибыли.* Язык у Изобел во рту был как гравий. Чарльз ковырял болячку на коленке. Все лицо в веснушках и крошечных эллиптических кратерах шрамов от ветрянки. В сигаретном дыму он шмыгал курносый носом. Гордон приятным мягким баритоном запел «На ивовой аллее мы повстречались с ней».<sup>[42]</sup> В профиль

нос у него был прямой и римский, и, если смотреть, лежа на кожаном заднем сиденье, прямо вообразалось, как он летит на самолете в облаках. Временами Гордон взглядывал на Элайзу, словно проверял, не испарилась ли она.

Он резко дал по тормозам — дорогу перед машиной перетекал тоненький ручеек серых белок, — и все подпрыгнули и клонули носом. Винни стукнулась лбом о спинку переднего сиденья и взвизгнула.

— Господи, — сказал потрясенный Гордон, а Элайза только рассмеялась — опять этот ее странный смех, раздражает. Гордон глядел в лобовое стекло, и щека у него дергалась.

— А ты как, Винни? — поинтересовалась Винни. — Ой, спасибо, не беспокойтесь, — ответила она, и ее снова тряхнуло, когда Гордон помчался дальше.

Холод удивил после долгой жары в машине, после табачного смога ясный лесной воздух потряс. Элайза подняла воротник верблюжьего пальто и натянула тоненькие кожаные перчатки. *Надо было шляпу надеть*, сказала она и нагнулась завязать Изобел шарф. Изобел увидела крупинку туши у Элайзы на щеке, под ресницами. Элайза так затянула шарф, что Изобел стало нечем дышать, — пришлось совать под шарф руки и растягивать.

Шарф был под цвет шотландского берета — то и другое связала Вдова на Рождество. Чарльз в школьном блейзере и фуражке, Винни — в темно-синем габардиновом пальто с поясом и такой же зюйдвестке. Посмотреть на них — славная семейка, здоровая, красивая, обыкновенная, из тех, что еженедельно согревают своим присутствием рекламу в «Пикчер пост». Славная обыкновенная семейка идет прогуляться по лесу. Посмотреть на них — никто не догадается, что их мир вот-вот подойдет к концу.

Элайза лизнула краешек рождественского подарочного носового платка и опять наклонилась, протереть Изобел уголки губ. Она так терла, что Изобел нечаянно попятилась. Откуда-то сверху голос Гордона глухо сказал:

— Не три так сильно, Лиззи, ты в ней дырку протрешь.

И Изобел увидела, как сузились глаза у Элайзы, как выступила и запульсировала под нежной кожей на лбу тонкая синяя жилка цвета гиацинтов. Элайза сложила платок аккуратным треугольником, запихала в карман клетчатого шерстяного пальто Изобел: *Вдруг тебе понадобится высморгаться*.

Пикник вышел так себе. Стряпня Элайзе не давалась. От огурца

раскисли бутерброды с рыбным паштетом, у яблок под кожурой проступали ржавые пятнистые бочка, и еще Элайза не взяла ничего попить. Они уже углубились в лес.

— В лесу, — сказал Гордон Чарльзу, — всегда держись тропы, тогда не заблудишься.

*А если нет тропы?* спросила Элайза, и от раздражения голос у нее срывался.

— Тогда иди к свету, — сказал Гордон, даже не обернувшись.

Элайза захватила с заднего сиденья большой тартановый коврик и разостлала его на ковре буковой листвы. *Чудесное солнечное местечко*, сказала она, но ее лихорадочное оживление никого не убедило. Чарльз упал на коленки и покатался по ковру. Гордон лег, опираясь на локти, и у него под мышкой притулилась Изобел. Элайза сидела эдакой рафинированной аристократкой, длинные тонкие ноги в норковых чулках и элегантных туфлях вытянулись на тартановом коврике и смотрелись не у дел, будто забрели сюда с парада манекенов. Винни косилась на них с завистью — ее тощие ноги сошли бы разве что за кольшики на вешалке. Она мучительно скрючила свое тело-кочергу, подогнула колени и прикрыла ноги юбкой; она была как викторианский путешественник среди примитивных лесных аборигенов.

Новизна ковровой жизни вскоре приелась. Дети безутешно дрожали и жевали бутерброды с джемом и «Кит-Каты», пока не замутило.

— Невесело, — сказал Чарльз, бросился с коврика в грудку листвы и давай зарываться, как собака. Веселье было очень важно для Чарльза — самому веселиться и смешить других.

— Он просто внимания добивается, — сказала Винни.

*И получает его — умница, правда?* ответила Элайза. Волосы у Чарльза были почти под цвет умирающего леса — бежевый дуб и завитки медного бука. Если потеряется в грудке листвы, до весны никто не найдет.

Винни не без труда поднялась с коврика, сказала:

— Мне надо пойти это самое, — и исчезла между деревьями.

Бежали минуты, Винни не возвращалась. Гордон засмеялся:

— На много миль уйдет, только бы ее трусов никто не увидал, — а Элайза изобразила, как ее тошнит при мысли о белье Винни, потом вдруг вскочила, сказала: *Пойду погуляю*, ни на кого не взглянув, и зашагала по тропе, не в ту сторону, куда Винни.

— Мы с тобой! — крикнул ей вслед Гордон, а она развернулась на ходу — широкое верблюжье пальто взметнулось, под ним водоворотом заплескалось зеленое платье — и крикнула: *И думать не смейте!* В

ярости. — Как она в таких туфлях по лесу будет шастать, — сердито пробормотал Гордон и через плечо запустил в лес гнилым яблоком. Уже исчезая за поворотом тропы, Элайза остановилась, закричала, и слова ясно прозвенели в морозном воздухе: *Я иду домой, нечего за мной ходить!* — Домой! — взорвался Гордон. — Как это она собралась домой? — потом вскочил, устремился за Элайзой, на ходу крикнул Чарльзу: — Я на минутку — побудь с сестрой! — И с этими словами тоже исчез.

Солнце уползло из леса, осталась только солнечная лужица в уголке ковра. Изобел лежала лицом в теплой лужице, задремывая и просыпаясь, но в конце концов Чарльз прыгнул на нее и разбудил. Она закричала, и крик диким эхом раскатился в тишине. Они сидели рядышком на коврик, держась за руки, ждали, когда вместо умирающего эха зазвучит что-нибудь еще, ждали голосов Элайзы и Гордона, птичьей песни, жалоб Винни, ветра в ветвях, чего угодно, кроме абсолютного лесного безмолвия. Может, Гордон опять показывает фокус с исчезновением? У него плохо получается, но он вот-вот все исправит, выпрыгнет из-за дерева и крикнет: «Сюрприз!»

Лист, похожий на шевелюру Чарльза, слетел перышком и беззвучно приземлился. В животе у Изобел кипятком бултыхался страх. Что-то случилось, что-то серьезное.

Время растворилось. Они как будто часами сидят одни в лесу. Где Гордон с Элайзой? А Винни? Может, пока она ходила это самое, ее съел дикий зверь? Веселая мордашка Чарльза побледнела и в тревоге сморщилась. Элайза твердила, что, если они потеряются, *оставайтесь там, где вы есть*, — она вернется и их найдет. За последние час-два вера Чарльза в это обещание существенно пошатнулась.

В конце концов он сказал:

— Ладно, пошли их искать, — и за руку потащил Изобел с ковра. — Наверное, в прятки играют, — прибавил он, но его выдавали посеревшее лицо и дрожь в голосе. Быть взрослым и за все отвечать — тяжелое бремя.

Они направились вслед за Элайзой и Гордоном, и тропа была прекрасно видна — твердая, утоптанная земля, кое-где прощитая древесными корнями.

Уже темнело. Изобел споткнулась о корень, змеившийся через тропу, и расшибла колени. Чарльз нетерпеливо ждал, когда она его догонит. Он что-то держал в руке и в сумерках щурился. Туфля, коричневая замшевая туфля, каблук сворочен на сторону, норковый помпончик мокрый и липкий, распластался плоско и вяло, как новорожденный котенок, страз тускло

блестел в меркнувшем свете.

Чарльз, с туфлей в руке, пошел медленнее, потом ни с того ни с сего нырнул вбок, в заваленную листвой сухую канаву. Листьев целые горы — Чарльз утонул по разбитые коленки, — и эти листья приятно шуршали и хрустели, когда он переходил канаву вброд. На миг Изабел решила, что это он не оставляет вечные свои поиски веселья, но Чарльз почти сразу выпрыгнул из канавы на той стороне. Изабел пошла за ним, слезла в канаву, похрустела листьями. Хорошо бы лечь, утонуть в мягкой лиственной постели, немножко поспать, но Чарльз устремился вперед, и Изабел выкарабкалась на другом берегу и побежала следом.

Он шел впереди сквозь ветвистую завесу, и прутики стегали Изабел по лицу, словно тонкие хлыстики. Когда она догнала Чарльза, тот стоял к ней спиной, застылый, как дерево, будто в статуи играет, руки в стороны. В одной руке туфля. На другой пальцы растопырены, и Изабел взяла Чарльза за эту сикоморную руку, и они стояли и смотрели вместе.

На Элайзу. Она привалилась к стволу большого дуба — брошенная кукла, сломанная птица. Голова перекатилась на плечо, белая шея тонкая, лебединая, хрупкий стебелек, вот-вот сломается. Верблюжье пальто распахнуто, шерстяное платье цвета яркой весенней листвы веером покрыло ноги. Одна туфля упала, другую не сняла, и в голове у Изабел заскакали слова «Дили-дили-дон, мой сыночек Джон».

Непонятно, как поступать с этой спящей матерью, не желающей просыпаться. Она такая безмятежная, длинные ресницы опущены, крупинка туши до сих пор видна. Только темно-красные ленты крови в черных кудрях намекали, что ее череп раскроен о дубовый ствол, точно буковый орех или желудь.

Они запахнули ей пальто, и Чарльз очень постарался надеть туфлю на ее изящную ступню в чулке. У нее во сне как будто ноги распухли. Туфля не налезала, и в конце концов Чарльз испугался, как бы что-нибудь Элайзе не сломать, плюнул и запихал туфлю в карман блейзера.

Они прижались к Элайзе, постарались ее согреть, постарались согреться — притулились по бокам, прискорбно сентиментальная сценка («Неужто вы не проснетесь, дражайшая матушка?»). Изредка с ветвей слетали листья. Три-четыре листика уже застряли в черных Элайзиных кудрях. Чарльз встал и вытряс из волос листву, как собака. Стало совсем темно — «идите к свету», ага, как же, а если нету никакого света? Изабел попыталась встать, однако ноги затекли, она не удержалась и упала. И она ужасно проголодалась — на головокружительную секунду захотелось

впитаться зубами в древесную кору. Но она так ни за что не поступит, Элайза рассказывала им сказку «Самое старое дерево в лесу», и Изобел понимала, что кора у дерева — это кожа, больно ведь, когда кусают кожу, — Изобел знала, потому что Элайза все время кусалась. Иногда больно.

Чарльз сказал:

— Надо папу найти, — и голос пронзительно зазвенел в тишине, — он придет и маму заберет.

Они с сомнением взглянули на Элайзу — не хотелось оставлять ее в одиночестве, в холоде и мраке. Щеки у нее были ледяные — они для сравнения пощупали свои. Оказалось, у них еще холоднее. Чарльз принялся сгребать листья и засыпать Элайзе ноги. Вспомнилось лето у моря, как они закапывали Элайзу по пояс в песок, а она сидела в красном купальнике с хомутом, читала книжку, в солнечных очках смотрелась шикарной иностранкой, тушила сигареты в песчаных башнях, которые они вокруг понастроили (*Я ваша пленница!*). На краткий миг солнце согрело плечи Изобел, донесся запах моря.

— Помоги, — сказал Чарльз, и она стала пинать к нему листья, а он сгребал их руками и сыпал на Элайзу.

Потом они ее поцеловали — каждому досталось по щеке, странный негатив еженощного ритуала. Уходили неохотно, несколько раз оглядывались. У канавы обернулись в последний раз, но Элайзу не увидели — только груда мертвой листвы громоздилась под деревом.

Вернуться к тартановому коврику и позаброшенному пикнику, ждать спасения? Или пойти вперед и поискать выход из леса? Жалко, сказал Чарльз, что они не захватили недоеденные бутерброды.

— Мы бы сыпали крошки, — сказал он, — и нашли бы дорогу назад.

У них был всего один план спасения, да и тот сказочный. Увы, они помнили сюжет: с минуты на минуту они выйдут к пряничному домику — и вот тогда взаправду начнется кошмар.

Изобел теперь раскаивалась, что капризничала из-за Элайзиных бутербродов с паштетом, — сейчас бы она не сыпала крошки, она бы все съела. Она до того проголодалась, что согласна была отгрызть пряничную черепицу или кусок леденечной оконной рамы, хоть и знала, каковы будут последствия. Оба они вдруг отчаянно пожалели обо всей пище, что оставляли на тарелках. Сейчас они бы съели даже Вдовый пудинг из тапиоки. Миражем замерцал пред ними большой овал стеклянного блюда, в котором Вдова стряпала молочные пудинги. На языке склизкость тапиоки, вкус шиповникового сиропа, жидкого янтаря, который Вдова всегда

наливала в серединку. Чарльз обыскал карманы и обнаружил конский каштан без веревочки, фартинг и полосатую черно-белую мятную конфету, всю облепленную карманным пухом. Разломить не получилось, и они сосали ее по очереди.

В лесу было очень шумно. Иногда темноту прорезали странные звуки, скрипы и свисты, на какие в этом мире никто не способен. Хрустели и щелкали веточки, кустарник грозно шелестел, будто кто-то шел за ними по следу.

Куда ни пойдешь, везде страшно. Прямо над головой беззвучно нырнула по своему маршруту сова, и Изобел ясно почувствовала, как совиные когти коснулись волос. Кинулась на землю, в панике обезумев, однако Чарльз остался невозмутим.

— Это просто сова, дурочка, — сказал он, снова вздернув ее на ноги. Сердце у нее билось очень быстро, как будто вот-вот остановится. — Нам не сов бояться надо, — угрюмо пробормотал Чарльз. — Бояться надо волков. — Потом вспомнил, что ему полагается отвечать за эту скорбную экспедицию, и прибавил: — Да я шучу, Иззи, — забудь и не думай.

Если идти, чуть-чуть не так страшно, чем если стоять и ждать, когда что-нибудь налетит и сцапает, и они горестно шагали дальше. Изобел немножко утешало шершавое тепло Чарльзовой руки в ее ладони. Чарльз припомнил обрывок стишка. *В чаще плохо потеряться, в чаще есть чего бояться.* <sup>[43]</sup>

Дерево за деревом, потом опять дерево — в ту ночь в Боскрамском лесу собрались все деревья со всего света. *В чаще так далек рассвет в полночь, когда света нет.* Может, Элайза решила выпустить их на волю не на большом зеленом лугу, а в бескрайнем лесу? Лучше бы просто вернула в детский магазин, решила Изобел.

Тропа вильнула и вдруг раздвоилась. Чарльз вынул из кармана фартинг и сказал:

— Кинем монетку: орел — направо, решка налево, — выжимая из себя всю мужественность до последней капли, и Изобел кволо ответила:

— Решка.

Монетка упала крапивником вверх, и птичка клювом указала налево. Как по команде, из-под облачного одеяла вынырнула луна — полная, вот-вот лопнет, — и на несколько кратких секунд неоновой вывеской повисла над левой тропинкой.

— Идем к свету, — решительно сказал Чарльз.

Тропа зарастала, ежевика тянулась к ним, точно птичьи когти, хватала за одежду и дергала за волосы. Тьма стояла крошечная, и они не сразу

сообразили, что сбились с тропы. Еще несколько шагов, и под их «стартерайтами» захлюпала земля. Они боязливо пощупали носочками — везде мокро и топко. Они слышали истории о людях, увязших в зыбучих песках, утонувших в болотах, и сейчас ринулись сквозь колючки туда, где повыше и посуше.

— Хуже не будет, — понуро сказал Чарльз, и тут к ним потусторонним гостем подступил туман.

Он вихрился вокруг деревьев и густел, точно матовая вода, накатывал волна за волной, и все вокруг затопляло призрачное белое море. Изобел очень громко заревела, и Чарльз сказал:

— Закрой варежку, Иззи. Пожалуйста, а?

Устали — шагу больше не ступить, в этом тумане совсем растерялись, устроились под большим деревом, свернулись калачиком меж исполинских корней, что вздымались над землей узловатыми костистыми пальцами. Вокруг горы палой листвы, есть чем укрыться, но они вспомнили Элайзу под лиственным одеялом и завернулись в одежду. Их окутало холодным туманным покрывалом.

Изобел тотчас заснула, а Чарльз лежал и ждал, когда завоят волки.

Изобел приснился наичуднейший сон. Она была в огромной подземной пещере, где тепло, шумно и полно народу. При свете сотен свечей она видела, что стены и свод пещеры золотые. На троне у стены этого огромного зала сидел человек. Весь в зеленом с головы до пят, на голове золотая лента. Кто — то дал Изобел серебряное блюдо с горой вкуснейшей едой, какой она никогда не едала. Кто-то другой сунул ей в руку хрустальный кубок, и жидкость в нем была на вкус как мед и малина, только вкуснее, и, сколько Изобел ни пила, кубок не пустел. Люди вокруг затанцевали — поначалу степенно, затем музыка потеряла рассудок, танцы одичали на глазах. Человек с золотой лентой на голове вдруг появился подле Изобел и, перекрикивая гвалт, спросил, как ее зовут, и она в ответ закричала: «Изобел!» — и в тот же миг зал, и огни, и музыка, и люди исчезли, и она очутилась одна в лесу, жевала гнилой гриб на листочке и пила стоялую воду из желудя.

Она вздрогнула и проснулась, и сон ее испарился в свете зари — ни хрустального кубка, ни серебряного блюда, ни даже гнилого гриба и желудевой чашечки, только лесное безмолвие. Чарльз храпел, опрятно свернувшись, точно залегший в спячку зверек. Туман рассеялся, подступил водянистый рассвет, и ничегошеньки не изменилось — они по-прежнему

были одни в лесной чаще.

**НБІНЕ**

## Листья света

— Древнейшая жизнь — бактерии и синезеленые водоросли — появилась миллиард лет назад. Синезеленые водоросли первыми научились превращать молекулы света в питательные вещества. Кислород, выделяемый при этом процессе, навсегда изменил атмосферу Земли, что и породило нынешнее биологическое разнообразие. После синезеленых водорослей появились мхи, грибы и папоротники. К концу девонского периода уже вымерли первые деревья — *Genus cordates*. В каменноугольный период разрослись леса гигантских папоротников, появились первые хвойные, была заложена основа первых угольных бассейнов. Сто тридцать шесть миллионов лет назад на сцену впервые выступили цветковые и широколиственные деревья. Большинство деревьев, нам известных, существовали уже двенадцать миллионов лет назад. — По классу разносится бубнеж мисс Томпсетт.

По правую руку от меня Юнис застыла чутко, точно пастушья собака, а мисс Томпсетт аккуратно пишет на доске:



И сама мисс Томпсетт в темно-зеленой двойке и тартановой юбке со встречными складками аккуратно, как ее почерк.

Слева Одри сгорбилась, положила голову на руки и спит. Под глазами тени, густые, как синяки, она ужасно бледна. Ее тут, по сути, и нет — будто кто-то сотворил очень приблизительную копию и невежественным доппельгангером послал ее в мир, не обучив этикету.

Мисс Томпсетт все гундит: «...внешние слои эпидермиса и палисадную ткань...» — она излагает краткую историю фотосинтеза, которая эффективнее всякого снотворного. Слова втекают мне в уши и зеленым туманом окутывают мозговые клетки. «...Хлорофилл, граны, фотоны...»

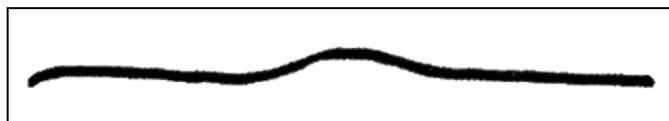
Юнис деловито конспектирует. В тетрадке у нее все тщательно нарисовано, выделено, раскрашено, помечено и подчеркнуто. Графики точнее, чем в учебнике. Мисс Томпсетт рисует молекулы на доске — они размером с шарики для пинг-понга. Наверное, мисс Томпсетт живет в мире гигантов: примитивные организмы там малы, как небольшие города, а

слоны размером с Сириус Б.

Я клюю носом, мозг затуманивается, и вскоре я тоже засыпаю.

— Так, — гавкает мисс Томпсетт, и я, вздрогнув, просыпаюсь. — А теперь нарисуйте, как происходит фотосинтез в поперечном сечении листа.

Я понятия не имею, как выглядит лист в поперечном сечении (ну... зеленый, тонкий, плоский



но, по-моему, она что-то другое имеет в виду). Я даже учебник не принесла.

Все, кроме Одри, трудятся над своими листьями, мисс Томпсетт спрашивает:

— Что-то не так, Изобел? — И тон ее яснее слов говорит: в моих интересах, чтобы все было так.

Я вздыхаю и качаю головой.

— Одри Бакстер! — гаркает мисс Томпсетт, и Одри вздрагивает и озирается, будто напуганная кошка. — Как мило, что вы к нам присоединились, — продолжает мисс Томпсетт, впрочем она поторопилась с выводами — Одри уже вскочила.

— Мне надо идти, — бормочет она и исчезает за дверью.

— Что такое с Одри, Изобел? — спрашивает мисс Томпсетт, недоуменно (однако очень аккуратно) хмурясь.

— Сама не своя, — невнятно отвечаю я (а кто свой?).

Вооружившись карандашами «Лейкленд», я склоняюсь над учебником по биологии и, чтобы взбодриться, рисую дерево.

И не какое-нибудь просто так дерево, но чудесное и таинственное, проросшее из недр воображения. У дерева кривой узловатый ствол, кора выкрашена коричневым и умброй, а гигантская крона разделена напополам. Слева я рисую листья всех оттенков зеленой гаммы — как мягкий мох и плакучие ивы, как спутанный луговой ржанец, как яблони и первобытные леса.

А справа — лиственный костер, листва охвачена пожаром червонного золота, оранжевым, бронзовым. Лиственные скелетики прожарены до лисьего цвета, листья желтеют айвовым и серным, нездоровыми самоцветами падают с обугленных ветвей, листья-топазы и листья-лимоны выстреливают пламенем цвета шиповника и крови. Листик, как грудка

зарянки, сорвался и всплывает к небу на перышке древесного пепла. И пока правая половина дерева сгорает, левая густо зеленеет разгаром весны.

Может, это древо жизни или Евино древо познания? Личный Зевесов высоковерхий дуб в Додоне или великий священный дуб Тора? Или Иггдрасиль, великий ясень, мировое древо, земной шар в древнескандинавской мифологии, — ветви его подпирают небосвод у нас над головой, шелестят листьями-облаками, мигают тропическими звездами, а корни его под землю прорастают из источника всей материи. Древа Жизни. Надо ли говорить, что мисс Томпсетт не в восторге от моих художеств.

— Доделайте схему дома, — любезно велит она, — а если найдете время, прочтите следующую главу в учебнике.

Если найдете время? Где, интересно, его искать? В космосе? (Но ведь не в великой пустоте, правда?) В синей пучине морской? В земном ядре? На конце радуги? Если мы найдем время, избавимся ли от всех бед?

— Будь у меня побольше времени, — говорит Дебби, — я бы, может, чего и успела.

Ладно — а *потом* что ей делать?

*Поперечное сечение листа, рисунок Юнис:* Фотоны света перемещаются по стрелам солнечных лучей ровно 8,3 секунды и через внешний слой эпидермы прорываются в недра палисадного слоя. Частицы света устремляются в хлоропласт, в кругленькие микроскопические зеленые диски гран. Свет ничего не может поделывать, его притягивает магний в крошечных молекулах хлорофилла, свет погружается все глубже. Свет и зелень сливаются в объятии и бесконечно малую долю секунды самозабвенно пляшут бешеную джигу, в которой частица света отдает свою энергию. В горячке встречи молекула хлорофилла расщепляет молекулу воды на молекулы водорода и кислорода. Растение выделяет кислород в воздух, и нам есть чем дышать. Водород превращает углекислый газ в сахар, из которого строятся растительные ткани. «В отличие от растений, — четкой перьевой ручкой отмечает Юнис, — мы не умеем синтезировать питательные молекулы из света и потому вынуждены поедать растения или животных, которые питаются растениями; таким образом, без фотосинтеза наше существование было бы невозможно».



Припадок летнего одичания в саду угасает, и обнаруживаются несколько потерянных предметов — старая туфля (да они повсюду), теннисный мячик, запасные очки Винни и бедняга Уксусный Том, уже не мягкий носочный котик, а застылая и высохшая свалывшаяся штуковина, вдавленная в землю. Непонятно, как он умер, но Винни не верится, что мистер Рис не причастен к фелиноциду.

Смерть котенка ужасно ее расстраивает — обычно она ограничивается узким эмоциональным спектром (раздражительна, раздражена, раздражает), а потому весьма неуютно наблюдать, как ее пугаловы плечи содрогаются от рыданий, и мы с Чарльзом пытаемся утешить ее садовыми похоронами.

— Кот, рожденный кошкою, краткодневен и пресыщен печалями, <sup>[44]</sup> — решительно молвит Чарльз, а Винни, распахнув рот, голосит у могилки.

В сад врывается Ричард Примул — выскакивает из-за рододендрона, ухмыляется:

— ПМС, «Покойся в мире, сдохший» или «Переродись в меру сил», *хап-хап*.

И я с наслаждением созерцаю, как Винни лупит его лопатой.

Мистер Рис окончательно попадает в опалу, когда Дебби застаёт его в гостинной на шезлонге в весьма двусмысленной позе с белокурым дредноутом по имени Ширли, барменшей из «Бочки и затычки» на Литском шоссе.

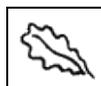
— К тому же по-собачьи, — самодовольно делится мистер Рис с Чарльзом.

— По-собачьи? — переспрашивает Чарльз, и его озадаченная бровь взлетает — как бы не улетела совсем.

Впрочем, теперь мистер Рис не слишком пристыженной собакой прячется у себя и ждет, когда Дебби уймется.

— Прости, мужик, — беспомощно бубнит Гордон, — боюсь, тебе сейчас лучше из конуры не вылезать.

— Ну а ты-то — совсем другое дело, — ухмыляется мистер Рис.



— Глянь, — говорит Чарльз — я бегу в школу — и что-то сует мне в руку. Носовой платок, сомнительной чистоты, сложен обвислым треугольником.

— *Ее?* — весьма цинично осведомляюсь я.

— Ага, — говорит Чарльз, расправляя треугольник. — Явно.

На платке вышитая монограмма, витиеватая «Э», и поскольку в голову не приходит больше никого с таким инициалом, надо думать, платок и вправду ее. Слабый отзвук воспоминания, едва-различимый вздрог нейронов (еле слышный «щелк») — я что-то вспоминаю. Чарльз прижимает платок к носу и так вдыхает, что некрасиво хрюкает.

— Да, — говорит он.

Я нюхаю платок — не так усердно. Ожидала аромата французских духов и табака (запаха взрослой женщины), но чую только нафталин.

— В ящике нашел, — говорит Чарльз.

Я подозреваю, в поисках Элайзы он переворачивает весь дом — может, уже отдирает половицы и сбивает штукатурку. Но поиски Элайзы — дело скорбное и неблагодарное. Мы-то знаем — всю жизнь этим занимаемся.

И однако я беру платок, сую глубоко в карман пальто, а потом бегу по Каштановой к остановке на Сикоморной.

Автобус неспешно катит по Высокой, я сижу на втором этаже и изо всех сил стараюсь не слушать Юнис, которая болбочет об аденозинтрифосфате. Я же курю драгоценную «Собрание», прикидываюсь изысканной и сосредоточенно воображаю Малькольма Любета в чем мать родила.

И на миг пугаюсь, — кажется, я его овецестила (правда, полностью одетого): вот он, стоит на тротуаре. Автобус тормозит, глотает пассажиров, я вполне успеваю рассмотреть чудесные темные кудри, гладкую щеку, тонкие руки хирурга. Почему он в Глиблендсе — он же должен постигать жизнь и смерть в Гае? Стоп, а с кем это он так увлеченно беседует? Это существо, что откидывает светлые волосы с лица, точно лошадь, рекламирующая шампунь, и сюсюкает, и так по-девчачьи улыбается?

— Хилари! — беспомощно ярюсь я. Юнис изображает припадок рвоты. — Что он тут делает? — Я в растерянности.

— А, у него мать заболела, — отвечает Юнис без тени сочувствия. — Рак, кажется.

— Но почему он с *ней*?

— Они, судя по всему, гуляют, уже давно. — Что в этом мире Юнис не известно?

Разговаривая с мальчиками, Хилари имеет привычку склонять голову набок и отчасти прикрывать неестественно голубые глаза — поза, которая по неизвестной причине вызывает взрыв тестостерона в радиусе десяти

футов. Она весьма недурна.

— Все равно дура, — говорит Юнис.

— Так, придется мне ее укокошить.

— Отлично придумала, — резонно отвечает Юнис.



Стою над кухонной раковиной и нехотя мою посуду, взглядываю в окно и испускаю вопль ужаса — в темном стекле мутно маячит лицо, какой-то странный Питер Квинт<sup>[45]</sup> лезет мне на глаза. На миг я решаю, что наконец засекала своего невидимого призрака, но потом до меня доходит — не призрак это никакой, а мистер Рис стоит в саду, и световой нимб от электрического фонарика освещает весьма неприглядную сцену. Мистер Рис разыгрывает моноспектакль. Луч фонарика устремлен на другую его руку, в которой фонарика нет, а есть поганка, заменяющая ему пенис, и мистер Рис со всей дури его наяривает. Я в ужасе шарахаюсь, а когда осмеливаюсь взглянуть снова, мистера Риса уже не видать.

Я собираю остатки мужества и иду расследовать это дело, однако вся разумная жизнь в саду вымерла, только слышно, как кто-то тихонько насвистывает «На Старом Курилке»,<sup>[46]</sup> да и свист вскоре затухает. Наверное, мистера Риса пожрали гигантские борщевики.

Где-то на Сикоморной тихонько ухает сова, и призрачное хухухууу перышком плывет в безмолвии, однако мистер Рис исчез.

*Мистер Рис медленно просыпается после беспокойного сна, в котором он закрыл глаза и обнял барменшу Ширли, а потом открыл и увидел, что прижимает к себе тело истлевающей Винни, — у нее выпали глаза, а плоть как болотная жижа. Знатно его надули.*

Тем не менее про себя он усмехается — ах, хитрец, чемоданы с образцами и саквояж парадной одежды оставил в камере хранения на Глиблендском вокзале, сразу после завтрака отбудет из «Ардена», как будто на работу, и больше не вернется! Он задолжал ренту за три месяца и не собирается платить. Какое счастье — сбежать из этой помойки; если, конечно, удастся проснуться.

Он опасливо открывает глаза — в глазах двоится. Голова чугунная, — несомненно, результат вчерашнего переизбытка бренди с «Бейбишамом» в «Бочке и затычке». Он снова открывает глаза. Теперь не двоится — зрение раскрошилось на сотню фасеточных картинок. Мистер Рис шевелит ногой



— Исчез? — делает стойку Чарльз, но Гордон уверяет, что мистер Рис не ушел по простывшему следу, ему хватило предусмотрительности забрать с собой костюм и чемоданы образцов; наверное, вчера вечером я наблюдала некий прощальный салют.

— Дурное дрянцо, дьявол его дери, — говорит Винни, бросая в костер его одежду.

— Насекомая тварь, — резюмирует Дебби.

Над соседской изгородью тоже завивается султан дыма — по поручению миссис Бакстер Одри жжет листву. Волосы у нее распущены, то и дело взметаются на ветру, и червонно-золотые пряди вуалью занавешивают лицо.

— Ничегошеньки мы не знаем, — таинственно сообщает Одри, заметив меня. Не исключено, что говорит она об экзамене по биологии, который мы только что провалили.

В воздухе разлита осенняя печаль, пахнет дымом, землей и давно позабытым. Первый гусиный клин (души мертвых) ножницами разрезает небо над нами — летит зимовать к северу от Боскрамского леса, и от гусиного гогота на нас накатывает меланхолия. Пес поднимает голову, видит, что гусиные крылья чернотой наследили по небу, и грустно, сдавленно скулит.

— Вот и зима, — говорит Одри.

В это время ушла моя мать, и порой осенью мне чудится, будто весь мир — элегия Элайзе. Порой, как сейчас, утрата затопляет меня, сердце тяжелеет камнем и что-то тянет внутри, словно отступает прилив. Я как будто снова ребенок, ее отсутствие парализует меня, и остается мне единственная мантра: «Хочу к маме, хочу к маме, хочу к маме».

Одри тяжело вздыхает, будто сочувствует. Даже под бесформенным старым пальто миссис Бакстер видно, что ее детская худощавость уходит, она расцветает поздним цветиком. Но похоже, эта женственность с питанием не связана — Одри не стала есть больше, скорее меньше, если такое возможно, безропотно поклевывает по чуть-чуть, как птичка, если кто-нибудь смотрит.

У миссис Бакстер кастрюля грибного супа на плите («папочкин любимый»), а сама она печет пирог — яблоки с собственной яблони, последняя в этом году ежевика с церковного кладбища, и миссис Бакстер несколько не беспокоится о том, чем эта ежевика питалась (плотью и кровью). Впихивает мне бурый пакет яблок:

— Пудинг сладите на Рождество.

Но у обитателей нашего дома ничего не ладится.

Она замешивает жир в муку, поднимает высоко, а потом роняет мелким мягким снегом и говорит:

— Одри-то у нас полнеет наконец, да? — Режет яблоки, полные луны яблочек без сердцевин, — на десятки новолуний.

На лице у миссис Бакстер ярким осколком радуги цветет огромный синяк — фиолетовый, индиго и иссиня-черный, как ежевика.

— Вот растяпа, — говорит миссис Бакстер, перехватив мой взгляд. — Споткнулась о кошку и грохнулась о буфет.

Опрятная черепаховая кошка Бакстеров невозмутимо восседает на подоконнике, взирая на птиц, обсевших кормушку в саду. Дверь распахнута, в кухню просачивается ярко-голубой октябрьский день. Как красиво было бы в «Холме фей», если б не мистер Бакстер.

Мистер Бакстер после осеннего триместра уходит на пенсию, впрочем не по своей воле. В начатке на Рябинной случился тщательно замалчиваемый скандал: маленького мальчика положили в больницу после рутинной карательной операции мистера Бакстера. Мистер Бакстер — как перегретый паровой котел, а миссис Бакстер только и делает, что сбрасывает давление.

Явился не запылится — мистер Бакстер врывается в кухню, нарушая наш покой, осведомляется у миссис Бакстер, что, дьявол ее дери, она сделала с его трубкой, рассыпает ежевику из дуршлага по всей кухне, и я спешно линияю — мало ли, вдруг он взорвется.

— А, это ты, — говорит Дебби, когда я вхожу с яблоками. — Это же ты?

— Чего? — Мы, наверное, опять играем в «Кто я?».

За кухонным столом Винни ест печенье и курит сигарету, разглядывая громадное окровавленное бычье сердце, в белой эмалированной миске возлежащее на столе, будто здесь только что свершили жертвоприношение ацтеки (честное слово, оно еще бьется, я же вижу). Я так понимаю, это наш вечерний чай, а вовсе не останки мистера Риса. Вряд ли это сердце Винни — великовато, и к тому же ее тощая грудь вроде бы не пострадала.

Имперский подданный Пайуэкет, благовоспитанный черный кот с белой грудкой, белой манишкой и белыми носочками, осторожненько, с некоторой даже нежностью, это сердце лижет. К молоку из блюдечка, которое тоже стоит на столе, кот не притрагивается — оно и к лучшему, в молоке плавают куски мухомора.

— От трупных мух, — поясняет Винни, глубоко затягивается самокруткой и выпускает дымную струю через нос, отчего смахивает на вскипевшего дракона.

Пес кладет голову ей на колено, кротко пускает слюни на юбку, и морда у него такая, будто он готов продать Винни бессмертную душу (хотя в действительности он ждет, не просыплет ли она крошек).

Дебби занята и все эти нарушения кухонной гигиены оставляет без внимания. Она беспрестанно моет руки в раковине, словно бычье сердце только что добыла из быка лично. Явно помешалась. Вчера я застала ее в гостинной — она глядела на каминную полку, ждала, не шевельнется ли что-нибудь, и сама была решительно не в состоянии пошевелиться.

— На секунду отвернусь — и они сбегут.

— Кто сбежит?

— Подсвечники.

Сейчас она спрашивает:

— Видишь эту собаку?

И я вслед за ней перевожу взгляд на Гиги, которая в остром психопатическом припадке раздирает на куски старый шлепанец.

— Вижу.

— Похожа на Гиги, да?

— Очень, — соглашаюсь я. — Собственно говоря, одно лицо.

Дебби переходит на шепот, параноидально озирается:

— Так вот, это *не она*.

— Да?

— Да, — говорит она и настойчиво тянет меня за рукав, чтобы Гиги не подслушала. Приближает свинячью мордочку к моему уху. — Это робот!

Винни презрительно фыркает, а Гиги отвечает рыком, задирает верхнюю губу и скалит выцветшие акульи зубки. Пайуэкет прерывает обряд поклонения бычьему сердцу и не без интереса озирает окружающий мир, застывший на грани конфликта. Кухне опять угрожает хаос.

— Робот? Гиги подменили роботом?

— Да.

Вот гусыня карюзлая, как сказала бы миссис Бакстер, но чего ждать от женщины, у которой с пуделем одна мозговая клетка на двоих по очереди? Чья очередь сегодня — поди угадай. Я беру Пса за ошейник и предъявляю Дебби, как судья на собачьей выставке:

— А вот Пес — это Пес или тоже робот? — (Чтобы Дебби легче было угадывать, Пес демонстрирует ей свой небогатый репертуар гримас — грустная, еще грустнее, трагичная, — но гадать Дебби отказывается.) — Ты

с Гордоном об этом говорила?

— С Гордоном? — повторяет она, и глаза у нее снова совсем бешеные. (Ой нет, неужто и он тоже?)

— Ну да, с Гордоном.

Глаза у Дебби сужаются (непонятно, как ей это удалось), она отворачивается, прикусывает губу и наконец отвечает:

— Ты, наверное, про человека, который прикидывается Гордоном.

— Слушай... — говорю я Гордону, когда он трусцой прибывает с работы, — пригородный Атлант, что несет на плечах своих бремя «Ардена». — Слушай, с Дебби что-то такое совсем не то.

— Да знаю, — устало отвечает он, — но я водил ее к врачу.

— И?

Гордон беспомощно жмет плечами:

— Прописал ей таблеток, говорит, у нее истрепаны нервы. — (Истрепанные нервы, какой образ.) — Бедная Дебс, — грустно прибавляет он, — вот если б ребенок родился, все было бы иначе.

Дабы возместить отсутствие ребенка, Гордон (человек, который прикидывается Гордоном, — мало ли, вдруг Дебби права, мы вот с Чарльзом тоже сомневаемся) лезет из кожи вон и приглашает ее поужинать в «Бочку и затычку».

Чарльз увел Пса гулять, а мы с Винни смотрим «Улицу Коронации» (Винни состоит в клубе поклонников Ины Шарплз).<sup>[48]</sup> Во время рекламной паузы она увлеченно исследует распад самокрутки и то и дело извлекает изо рта ошметки табака, отчего смахивает на черепаху, которая пощипывает бурый драный латук. Кроме того, к губе у нее прилипла папиросная бумага. Лучше бы Винни опять перешла на «Вудбайнз».

— Там кто-то за дверью, — говорит она, не отводя глаз от телевизора.

Винни покрыта Кошками, это какое-то сюрреалистическое кино — три на коленях, одна на плечах, одна у ног. Наверняка вот-вот и на голову кто-нибудь залезет. Сделала бы себе палантин из ближайших двух кошачьих покойниц — очень необычно. (Почему кошки столько спят? Может, им поручена некая серьезная космическая задача, соблюдение важнейшего закона физики — скажем, если в каждую текущую секунду спят меньше пяти миллионов кошек, Земля остановится. Смотришь на них, думаешь: «Что за ленивая бестолковая тварь?» — а они тем временем вкалывают, себя не помня.)

Винни в Кошачьей Шкурке вооружается длинной каминной вилкой — кажется, примеривается пырнуть Гиги.

— Там кто-то за дверью, — раздраженно повторяет она.

— Я никого не слышала.

— Это не значит, что там никого нет, — говорит Винни. (По-моему, таким же образом в этой истории появился Пес. У меня, наверное, дежавю, очередной зловещий заусенец на ткани времени.)

— Ладно, иду-иду, — говорю я, когда она машет на меня вилкой.

Боязливо приоткрываю заднюю дверь — кто его знает, что там бродит на воле, скоро Хеллоуин, и мне еще предстоит стереть воспоминание о мистере Рисе. Я бы не удивилась, если б на крыльце опять сидела собака, в «Ардене» все только и делают, что шастают туда-сюда, все интересное происходит на порогах. Но собаки нет — есть картонка. А в картонке — младенец.

## **МЛАДЕНЕЦ!**

Закрываю глаза, считаю до десяти, опять открываю. Все равно младенец. Крепко спит. Совсем маленький, явно совсем новенький. К картонке скотчем прилеплена разлинованная бумага, на которой кто-то (не младенец, надо полагать) печатными буквами написал:

### **ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБО МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА.**

Вряд ли призыв обращен ко мне — я не особо знаменита своими воспитательскими талантами, у нас в «Ардене» мало опыта обращения с младенцами, я ни одного даже не видала вблизи.

Бедное сердечко мое бьется, как птичка в клетке, есть в этом некий восторг — найти младенца, как разглядеть рыбу в реке (лису в поле, оленя в лесу), но есть и ужас (тигр на дереве, змея в траве). И младенец не просто необъяснимая посылка из детского магазина, доставленная не по адресу, вместе с ним приходят мифы и легенды — Моисей, Эдип, эльф-подменьш.

Осторожно поднимаю коробку — не хочу брать младенца на руки, вдруг я его поломаю (или он меня).

— Глянь, — говорю я Винни, предъявляя ей картонку.

— Что бы там ни было, нам не надо. — И Винни ее отталкивает.

— Нет, ты *глянь*, — не отступаю я.

Она приподнимает картонный клапан, и у нее отваливается челюсть.

— Это что?

— А ты как думаешь?

Винни отпрядывает от коробки — обычно люди так шарахаются от крыс.

— Младенец?

— Ну да.

Она огорошенно трясет головой:

— Но почему?

Впрочем, сейчас не время для экзистенциальных головоломок — младенец открыл глаза и заревел.

— Унеси его, — поспешно говорит Винни.

Я ставлю коробку на пол между нами — надо попривыкнуть.

Возвращаются Чарльз и Пес, мы показываем Чарльзу младенца — тот бросил реветь и снова уснул. Пес сует морду в коробку и радостно виляет хвостом, но потом, увы, лижет младенца, а младенец просыпается и опять ревет. Может, Пес за ним и присмотрит?

— Будет как Ромул и Рем? — говорит Чарльз. — Или Питер Пэн. — (Уж он-то знает, он и сам Потерянный Мальчишка.)

Детский рев достиг предельной истощности, но, к несчастью, Пес не вышел полом и не может утешить дитя.

Чарльз вынимает младенца из коробки, словно невзорвавшуюся бомбу, держит на вытянутых руках подальше от себя, и младенец, решив, что сейчас его уронят с невероятной высоты, визжит в крайнем ужасе. Винни робко принимает участие в операции, застенчиво укачивает младенца, оскалившись в улыбке, но, как легко догадаться, от этого дела идут только хуже. К счастью, тут возвращаются Дебби с Гордоном — несколько минут они пребывают в полнейшем изумлении, за коим следуют истерический припадок и яростные дебаты, но в итоге принято решение: Дебби «оставляет дитяtko».

— Ты не можешь взять его себе, — ужасается Гордон.

— Это еще почему?

— Потому что не можешь. Он не твой.

Дебби тычет Гордону в нос разлинованной бумажкой:

— Что тут *написано*, Гордон?

— Я вижу, что написано, — мягко отвечает он, — но ребенка надо отнести в полицию.

— И что с ним там сделают? В приют отправят. Или, — зловеще прибавляет она, — в тюрьму. Никому он не нужен, Гордон, а кто-то попросил *нас* о нем позаботиться. Вот, написано же: «Позаботьтесь обо мне, пожалуйста».

— А людям ты что скажешь? — скептически осведомляется Гордон.

— Скажу, что мой.

— Твой?

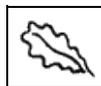
— Ну да, скажу, что появился дома. — (В общем, это правда.) — Никто и не узнает. — (Ну да, Дебби очень толстая, забеременела бы — никто б и не догадался, и бывают ведь истории о людях, которые внезапно рожают: минуто назад молоко кипятили, не успели оглянуться — а уже стали матерью.) — Люди всему поверят, — говорит Дебби. — Мол, нам прежде не везло, не хотели заранее говорить, боялись удачу сглазить. И ты погляди, какая удача, — прибавляет она и давай сюсюкать с младенцем. Винни от ее воркования воротит, и она сбегает из комнаты. У младенца такое лицо, будто и он не прочь слинять, если шанс выпадет. — Людям *все равно*, Гордон, — сердится Дебби, когда он снова принимается спорить, — на самом деле всем на всех плевать. Можно проверить убийство, и никто не догадается.

Гордон вздрагивает и смотрит на младенца.

Пожалуй, в некотором смысле это и впрямь как убийство. На каждое раскрытое убийство — штук двадцать никем не замеченных. И с младенцами, наверное, так же: на каждую историю о ребенке на крыльце — штук двадцать детей, которых забрали в дом вместе с молочными бутылками.

— Он есть хочет, бедный пацан, — говорит Гордон, явственно смягчаясь.

— Это *девочка*, дурачок, — отвечает Дебби (теперь она в своей стихии) и разворачивает свой детский подарок, чтоб Гордону показать, — ибо на ступени «Ардена» младенец прибыл отнюдь не голышом, но в подарочной упаковке, в снежно-белом платке, на котором ракушек — что в синем море.



Но фотосинтез-то не так прост, как чудится на первый взгляд. Я размышляю об этом поутру, шагая по Каштановой к автобусу. Фотосинтез — фундаментальная алхимия всего живого, золото солнца перерождается зеленью жизни. И наоборот — потому что деревья на Каштановой окрасились осенним золотом, целые груды золота дрейфуют по тротуарам. Всё на свете умеет во что-нибудь превращаться.

И наверное, не бывает никакого «нигде» — даже простывший след проложен *где-то*. (Состав атмосферы на древесных улицах: 78 процентов

азота, 21 процент кислорода и 1 процент микроэлементов — всхлип банши, волчий вой, плач исчезнувших.)

Все умирает, но преобразуется — в прах, пепел, перегной, пир для червей. Ничто не перестает существовать совсем, только во что-нибудь превращается, а значит, не может потеряться навсегда. Все, что умирает, возвращается так или иначе. Может, и люди возвращаются новыми людьми, а младенец — чья-то реинкарнация?

Молекулы, составляющие что-то одно, распадаются, склеиваются с другими молекулами и становятся чем-то другим. Выходит, нет никакого ничто — кроме безбрежной пустоты космоса, и, вероятно, даже там всякого разного больше, чем снилось нашим мудрецам. (Оно незримо, но это не значит, что его нет.)

Возможно, мы еще не открыли молекулы времени — невидимые, редкие молекулы, ни капельки не похожие на шарики для пинг-понга, — и, возможно, они умеют перестраиваться, отправлять тебя куда угодно: в прошлое, будущее, даже в параллельное настоящее.

Юнис ждет меня на углу, подчеркнуто смотрит на часы — традиционная пантомима пунктуальных людей, желающих продемонстрировать моральное превосходство над непунктуальными друзьями (насколько упростилась бы жизнь, если бы пунктуальные люди опаздывали). Недавно перевели часы — в нашем бестолковом хозяйстве с опозданием на сутки, мы вечно путаем, когда куда переводить.

— Весной бежим, по осени спим, — декламирует Юнис.

Перевод часов ради экономии времени — блестящая идея. (Ах если бы — но где хранить сэкономленное? Вместе с найденным? Или с убитым? В сундуке или в могиле?)

— Ты опоздала, — говорит Юнис.

— Лучше так, чем никогда, — огрызаюсь я; Одри уже на остановке. — Смотри, — говорю я ей и показываю на рыжую белку, которая кувыркается вокруг толстого сикомора, что побуждает Юнис к детальным разъяснениям: дескать, это невозможно, в Глиблендсе рыжие белки не водятся. (Может, это Рататоск, что носится вверх-вниз по мировому ясеню Иггдрасилью?)

Юнис углубляется в лекцию о разнице между рыжими и серыми белками, а Одри рассеянно спрашивает:

— То есть они не просто рыжие и серые?

Гляжу, как листик червонного золота планирует с дерева и цепляется за волосы Одри. От этого под ложечкой как-то странно. Надо с Одри поговорить. Рассказать о младенце, о платке с ракушками, который Дебби

всучила нашему персональному мусоропереработчику (Винни), чтоб та сожгла на костре, — моя память уже сомневается, видела ли я платок.

(— А куда делся этот красивый платок, вы его вязали для племянницы в Южной Африке? — невзначай спрашиваю я миссис Бакстер.

— А, я довязала, — отвечает она, вспоминая с явным удовольствием, — и отправила по почте.

Вот оно как.)

— Автобус, — объявляет Юнис, будто мы сами не в состоянии разглядеть красный двухэтажный автобус, что на всех парах мчится по Сикоморной к остановке, последнему своему аванпосту, — здесь он разворачивается и возвращается в город.

Затем я наблюдаю, как автобус исчезает у меня на глазах.

— Погоди-ка, — говорю я, в изумлении оборачиваясь к Одри: она-то заметила сей блестящий фокус?

Но узрите, Одри тоже испарилась. И Юнис. И автобусная остановка, и тротуары, дома, деревья, антенны, крыши... прошлое опять вторглось в настоящее без никакого «позвольте пройти».

Я в глухой чаще, вокруг сосны, березы, осины, карагач и шершавый вяз, лещина, дуб и падуб, я застряла посреди бескрайнего зеленого океана. Может, конечно, это не прошлое, — может, я не путешествовала во времени, а просто путешествовала, гигантская незримая рука выщипнула меня и поместила в чащу огромного леса. Но ощущение такое, будто я в прошлом, будто часы вернулись к самому началу времен, в эпоху, когда земля еще таила волшебство. Впрочем, если мисс Томпсетт не переврала историю фотосинтеза, я отмотала назад максимум двенадцать миллионов лет плюс-минус пару секунд. *(Большинство деревьев, нам известных, существовали уже двенадцать миллионов лет назад.)*

Подбираю лиственный скелетик. В прошлом тоже осень. Ноздри заполняет грибной запах плесени и гниения. Земля покрыта темно-зеленым одеялом плюща. Невероятная тишина, только птица поет. Даже сладкое птичье пенье, сокрытое в чаще, обостряет тишину в этом великом лесном соборе. Может, я не в начале времен, но в конце, когда все люди ушли, а леса вновь заполнили землю.

Мне тут нравится — здесь спокойнее, чем в настоящем, где уж оно ни есть. Стану собирать орехи и ягоды, совью гнездо в дупле, юркой белкой буду сновать в громадном своем лесном обиталище. Есть ли предел этому лесу, есть ли граница, за которой кончаются деревья, или он бескраен, лиственным платком пеленает планету, обращает земной шар в бесконечность?

Но затем, увы, из нового Эдема меня вырывает автобус номер 21, что вламывается в лес с диким треском, ломая ветви и распыляя листву. Автобус подкатывает ко мне и останавливается. Древний лес исчез. Я опять на остановке.

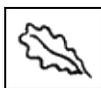
— Иззи, — говорит Одри, шагая на площадку, — пошли.

Забираюсь в автобус, слышу, как кондуктор звонит в колокольчик, как громко взрывает мотор, со вздохом плачу за проезд. Сколь флегматична я пред лицом распада времени.

Гляжу на Одри — сидит рядом, читает французскую грамматику, ни слова не говорит. Ладно, у всех свои секреты.

Почему я выпадаю в случайные карманы времени, а потом впадаю обратно? Это по правде случается или мне мерещится? Это что, эпистемологическая попытка у меня такая? Зря я убивала время. Я его тратила попусту, и теперь оно убивает меня.

Если б я могла это контролировать, была бы польза — заскочила бы в прошлое, поставила все деньги на лошадь, пришедшую первой в «Сэндауне» в три часа, или запатентовала бы электролампочку, или осуществила бы еще какую стандартную фантазию начинающих путешественников во времени. Или — вот это да! — встретила бы с мамой. («Да ты запросто могла бы с ней встретиться, только адрес узнай», — весьма саркастично отмечает Дебби.) Я щупаю лиственный скелетик — эту улику суд не признает, в точности такой же листик я могла подобрать минуту назад на древесных улицах.



На дворе Хеллоуин, и Кармен сидит у меня на постели, красит ногти на ногах в мертвецкий оттенок «Подмороженный виноград» — впечатление такое, будто ногти выдрали клещами. Пес растянулся на полу и старается не обращать внимания на Юнис — та живописует эволюцию волков в домашних собак.

— Видите хвост, — говорит она, для наглядности хватая Пса за тонкий хвостик, который Пес немедля вырывает у нее из рук в полном ужасе.

Завершив убийство своих ногтей, Кармен переходит к моим; процедура отчасти усложняется тем, что в комнате нет света, кроме свечных глаз и вампирской ухмылки репного фонаря, который пристроился на подоконнике, чтобы мертвые нашли дорогу в дом.

Кармен по уши погрязла в приготовлениях к свадьбе с Хуком.

— Может, погодить чуток? — сомневаюсь я.

— Да ладно — мне шестнадцать, я не ребенок, — отвечает Кармен, перекатывая во рту огромную карамельку.

Когда же и мне попадется человек, который оценит меня по достоинству и отведет в «Гомон» на Королевской улице, не говоря уж о том, чтоб на мне жениться?

— Однажды попадется, — беспечно отвечает Кармен. — Со всеми случается — влюбляешься, выходишь замуж, рожаеть детей, так уж устроена жизнь... кто-нибудь появится.

(«Однажды, — так же уверенно говорит миссис Бакстер, — появится твой принц, — тут она едва не раздражается песней, — и ты полюбишь его и будешь счастлива». Но что, если принц будет как мистер Бакстер — ржавые доспехи да буравящий взгляд из-под забрала?)

Впрочем, никто меня не полюбит, узнав, до чего я помешалась. И вообще, мне не нужен «кто-нибудь», мне нужен Малькольм Любет.

Как бы мне укокошить Хилари? Мухомором? Подсыпать отраву из перстня? Расколошматить ей черепушку, как вареное яйцо или буковый орех? А еще лучше — захватить ее с собой, когда опять нырну в разрыв пространственно-временного континуума, и бросить там, где о шампуне еще знать не знают, — скажем, в Монголии двенадцатого века. Поделом ей.

— Что мальчишки нашли в Хилари? — отмахивается Юнис. — Ну, блондинка, ну, длинные волосы, большие голубые глаза, идеальная фигура, но в остальном-то что в ней такого? — (Юнис раздражена — Хилари сдала экзамен по химии лучше ее.)

— Хм? В остальном? — Кармен терпеливо разъясняет, что большинству мальчиков хватает и этого. Выуживает из сумочки пачку с десятью «Плейерз № 6», вытряхивает сигареты ко мне на постель. — Давай, — подзуживает она Юнис, — от этого не умирают.

Мы сосем сигареты. Кармен к тому же умудряется сунуть в рот мятную конфетку — продолговатую, а не круглую (может, если ее рот на секунду застынет, она умрет). Одри, как всегда, не с нами.

— Что такое с Одри? — спрашивает Кармен.

— Опять грипп.

— Да нет, что с ней *такое*? — Где-то в недрах дома плачет младенец. — А у нее как делишки? — спрашивает Кармен и склоняет голову — я так понимаю, она про Дебби.

— Ну... трудно сказать. Чудит слегка.

— С мамашей так было все разы, что нас рожала, — говорит Кармен. — Пройдет. Женские проблемы, — со знанием дела вздыхает она.

Вряд ли причудь Дебби пройдет сама собой — из ближайшей родни она лишь младенца не подозревает нынче в том, что его подменили точной копией. Гвалт становится громче (у младенца есть что-то общее с Винни), и внезапно запах грусти налетает на меня холодным сквозняком, и я вздрагиваю.

— Но могилке твоей прошлись? — участливо спрашивает Кармен.

— Редкая нелепость, — говорит Юнис (она стала бы счастливее, если б слова заменили на формулы и уравнения). — Чтоб лечь в могилу, надо умереть, а ты тут живая сидишь.

— Живые мертвецы, — весело отвечает Кармен и сует в рот лимонный леденец.

Может, все мы живые мертвецы, сотворены из праха мертвых, как песчаные замки. Детские рыдания нервируют моего незримого призрака, невидимым северным сиянием он колышется и мерцает на частотах духа.

— Чем тут пахнет? — (Блаженный дух? Иль окаянный демон?<sup>[49]</sup>) Кармен подозрительно принюхивается.

— А, это мой призрак.

— Призраки, — фыркает Юнис, — не бывает никаких призраков, это совершенно иррациональный страх. Фазмофобия.

Но я своего призрака не боюсь. Он — или она — как старый друг мне, как удобная туфля. Фазмофилия.

— Какая абсолютная мерзость, — говорит Юнис и корчит рожу, которая ее отнюдь не красит.

Когда они уходят, я включаю свет и сажусь за домашку по латыни. Валяюсь на постели под аккомпанемент «Радио Люксембург» по транзистору «Филипс», любезно купленному Чарльзом в честь моего дня рождения — со скидкой, потому что он сотрудник.

Увы, на радиоволнах приносятся вести печальнее не бывает — Рикки Вэлэнс передает Лоре, что любит ее,<sup>[50]</sup> Элвис Пресли любопытствует, одиноко ли мне<sup>[51]</sup> (да-да, еще как), а Рой Орбисон утверждает, что лишь одинокий поймет, каково ему<sup>[52]</sup> (да я понимаю, понимаю). Я перекатываюсь на спину и разглядываю трещины в потолке. Похоже, меня отлили из чистой меланхолии. О, я от призраков больна,<sup>[53]</sup> ну честное же слово.

Переводить нам задали Овидия. В «Метаморфозах» не продохнуть от людей, которые оборачиваются лебедями, телицами, медведями, тритонами, пауками, летучими мышами, птицами, звездами, куропатками и

водой, целыми реками воды. Беда с божественными силами, прибегнуть к ним — большой соблазн. Если б я умела превращать, я бы этим пользовалась на каждом шагу — Дебби давным-давно стала бы ослицей, а Хилари скакала бы лягушкой.

Я же — о, я дочь солнца, горе обратило меня в какую-то диковину. Перевожу я историю о сестрах Фаэтона, повесть о зелени почки и листа. Сестры Фаэтона оплакивали сгоревшего своего брата и обернулись деревьями — вообразите, что они пережили, когда ноги их приросли к земле, стремительно превращаясь в корни. Волосы рвали они, и в руках оставались отнюдь не власы, но листва. Ноги у них обросли древесной корою, руки их стали ветвями, и в ужасе сестры глядели, как животы их и груди сковала кора. Климена, их бедная мать, сдирала кору с дочерей, но их ветки ломались, и древесные дщери ее кричали от боли и страха, умоляя их больше не трогать.

Постепенно, очень постепенно кора напозла на их лица, и остались видны одни рты, и их мать кинулась к ним, неумно целуя, одну за другой, дочерей. И затем они распрощались в отчаянии, и кора покрыла их губы навеки. Они плакали даже деревьями, слезы падали в реку у них под ногами и обращались в капли солнечного янтаря.

(— Весьма прочувствованный перевод, Изобел, — обычный вердикт моей учительницы латыни.) Лишь одинокий поймет, каково мне.

Буду ли я счастлива? Вероятно, нет. Поцелую ли я Малькольма Любета? Вероятно, нет. Этот катехизис я знаю наизусть, за ним следует трясина уныния и бессонная ночь.

Потушенные мертвые глаза репного фонаря разглядывают меня в темноте, а я все пытаюсь уснуть.

По земле сейчас шастают мертвые из мира иного, выступают из-за завесы, свершают ежегодный визит. Быть может, внизу Вдова сгоняет Винни со своей постели. Быть может, мертвые кошки уже мячуют и мурлычут у камина, а леди Ферфакс плавает вверх-вниз по лестнице, сунув голову под мышку, точно клоунесса из варьете.

Где же Малькольм? Отчего ко мне в окно стучится не он, а лишь холодный ливень? Где же мама?

Я засыпаю, волосы мои пахнут дымом, запах грусти опутывает меня лозою, и снится мне, что я заблудилась в бескрайнем темном лесу, одна, никто не спасет, и даже Вергилий не придет, не покарает меня турпутевкой в преисподнюю.

**ПРЕЖДЕ**

## Недоделки

Изобел кто-то позвал, честное слово, — эхо незримо повисло в сером свете, и она ущипнула Чарльза за ухо, чтоб проснулся. Ну да, их кто-то звал — голос далекий, охрип. Чарльз вскочил, нахлобучил фуражку.

— Это папа, — сказал он.

Истерзанный, будто со вчерашнего дня постарел на много-много лет. Голос все ближе, совсем близко, уже можно к нему идти. А потом вдруг, словно все это время прятался за деревом, а теперь вышел, — вот он, Гордон.

От облегчения он рухнул на колени, Изобел упала ему в объятия и разревелась, однако Чарльз не подходил, глядел пусто, словно подозревал, что Гордон — очередной лесной мираж. Фокус с появлением.

— Ну иди сюда, старина, — тихонько позвал Гордон, протянул Чарльзу руку, и тот наконец припал к габардиновой отцовской груди и зарыдал — глубокие, ужасные всхлипы сотрясали его невеликое тельце.

Гордон щекой прижался к кудрям Изобел, и втроем они разыграли еще одну никудышную сентиментальную сценку («Где же вы пропадали, дражайший батюшка?», например). Гордон смотрел прямо перед собой, на дерево, словно виселицу узрел.

— Пора идти, — в конце концов нехотя сказал он.

Чарльз яростно хлопнул носом, вытерся рукавом, сказал:

— Надо маме помочь, — и подчеркнул настоятельность этого сообщения горестной икотой.

Гордон высоко поднял Изобел и понес, прижимая к груди, а другой рукой держал ладошку Чарльза.

— С мамой все в порядке, — сказал Гордон, и не успел Чарльз возразить, они застыли при виде Винни — Винни, про которую оба забыли напрочь, примерно когда она пошла это самое.

Она сидела на замшелом пне, обхватив голову руками. Была она темна и кряжиста, словно древний леший. Но затем поднялась, с ними даже не поздоровалась, и Чарльз с Изобел увидели, что перед ними обыкновенная Винни, а никакое не мифическое существо.

— А, это ты, — сказал Гордон, будто они случайно столкнулись в саду, и — видимо, во власти того же заблуждения, — она ответила:

— Ты, я вижу, не торопился.

Толстые бурые чулки ее пошли дорожками, на носу ссадина. Может, ее

оцарапал дикий зверь.

В знакомом нутре черной машины они ослабели от счастья. Вдыхали зелье кожаных сидений, Изобел подозревала, что сейчас умрет от голода, подумывала *съесть* кожаные сиденья, и Чарльз, наверное, размышлял о том же — гладил кожаную спинку ладонями, будто спину живого зверя. Ноги у них болтались, носки грязные, икры исчерчены царапинами.

— Мама, — напомнил Чарльз, а Гордон в зеркале ответил омертвелой ободряющей улыбкой.

— С мамой все нормально, — сказал он и поддал газу.

Непонятно, как это может быть, — когда они видели ее в последний раз, с ней все было совершенно ненормально. Где она?

— Где мама? — проныл Чарльз.

У Гордона задергалось веко, он включил поворотник и, вместо ответа, внезапно свернул направо.

— В больнице, — сказал он, когда они еще немного проехали этой новой дорогой. — Она в больнице, ее там полечат.

Винни, которая осела на переднем сиденье и, судя по лицу, нуждалась в переливании крови, на минуту ожила, еле ворочая языком, пробормотала:

— За нее не волнуйтесь, — и угрюмо хохотнула. — Наконец-то я сию вперед, — вздохнула она и закрыла глаза.

Чарльз вынул Элайзину туфлю из кармана, где она лежала с вечера, и молча протянул Гордону — тот выронил туфлю и чуть не врезался в дерево. Винни проснулась, выхватила туфлю и запихала в сумку. Шпильку на туфле своротило на сторону, точно выбитый зуб.

— Мы домой едем? — после паузы спросил Чарльз.

— Домой? — неуверенно переспросил Гордон, будто ему такой план и в голову не приходил. Он глянул на Винни — может, она подскажет, — но Винни уснула и с облегчением храпела, а потому Гордон, испустив глубокий вздох, отвечал: — Да, нам нужно домой.

В «Ардене» Вдова сварила овсянку и яйца, пожарила бекон, а потом уложила детей в постель.

— Приговоренный сытно позавтракал, — произнес Гордон, мрачно разглядывая яйца с беконом.

Он порезал бекон на мелкие кусочки, долго-долго на них смотрел, сунул кусок в рот, будто хрупкую штучку, которую легко раздавить, если жевать слишком энергично. Приложив немало усилий, сглотнул, а затем отложил нож и вилку, точно в жизни больше не собирался есть. А вот

Винни ничего не смущало, она завтракала так, будто нет лучше средства нагулять аппетит, чем всю ночь бродить по лесу.

Вдова пробудила их от сна без снов, доставив обед в постель, как тяжелобольным. Они съели бутерброды с ветчиной, последние помидоры из оранжереи и лимонный кекс «Мадейра», а потом опять уснули и не заметили, как Вдова убрала подносы.

К чаю она их снова подняла, они спустились к столу и сели есть вареные яйца и тосты-солдатики, а потом остатки яблочного пирога. Быть может, так они и будут отныне жить — есть, спать, есть, спать; такой детский режим Вдова одобряла.

Гордон, Винни и Вдова тоже сидели за столом, но ничего не ели, хотя Вдова только и делала, что подливала чай — цветом как листва лесного бука — из большого хромированного чайника под желто-зеленой бабой. Яйца ждали их в одинаковых желто-зеленых чехольчиках, словно только что вылупились из чайника. Винни отпивала из чашки, изысканно согнув мизинчик. Вдова очень пристально наблюдала за Чарльзом и Изобел — что бы они ни делали, интересовалась очень живо.

Чарльз снял с яйца чехольчик и постукивал по скорлупе чайной ложкой, пока скорлупа не пошла трещинами, как старый фарфор. Гордон, завороченно наблюдая, странно скрипнул, будто ему сдавили легкие, и Вдова сказала Чарльзу:

— Прекрати! — наклонилась и сняла верхушку с яйца. С яйца Изобел тоже сняла верхушку, велела: — Ешьте.

И Изобел послушно ткнула поджаренной хлебной палочкой в рыжий яичный глаз.

В кои-то веки стояла поразительная тишина — Винни не пилила, Вдова не делилась мудростью. Только Чарльз жевал тост, а Винни смешно булькала, глотая чай. Гордон смотрел в скатерть, заблудившись в темном лабиринте мысли. Временами взглядывал на плотные хлопковые занавески в окне эркера, будто ждал, что оттуда вот-вот кто-то выступит. Наверное, Элайза. Хотя нет — Элайза в больнице, Вдова подтвердила. При имени Элайзы между губами у Винни змейкой мелькал язык. Ни Гордон, ни Винни, ни Вдова говорить об Элайзе не хотели. Никто ни о чем не хотел говорить.

Но что же случилось? Вчера все было так ясно — лес, страх, потерянности, — а сегодня ускользало, словно вчерашний туман не отступил, но стал невидимым. Чарльз цеплялся за то единственное, в чем они были уверены, — отсутствие Элайзы.

— А когда мы пойдем к маме? — горестно сипел он.

— Скоро, — отвечала Вдова. — Я так думаю.

Гордон закрыл глаза руками, будто смотреть на скатерть стало невыносимо.

Чтобы ему помочь, Винни собрала тарелки на большой деревянный поднос. Вере дали «пару дней отпуска», сказала Вдова, а Винни заняла:

— Надеюсь, ты не собираешься меня припахать, — и, чтобы показать, до чего плохая из нее выйдет служанка, ухитрилась грохнуть целый поднос фарфора, еще не добравшись до двери; Гордон и головы не поднял.

Собираясь спать в третий, и последний, раз за тот день, они, в пижамах, спустились пожелать всем спокойной ночи. Вдова дала им с собой молока и печенья, а за это они поцеловали всех на ночь — легонько клюнули в щеку Винни и Вдову, потому что высокоградусной нежности те бы не вынесли. Вдова пахла лавандовой водой, Винни — дегтярным мылом и капустой. Гордон обнял их по одному, крепко, слишком крепко, хотелось вырваться, но они не вырывались. Он прошептал:

— Вы даже не представляете, как я вас люблю. — И его усы щекотали им уши.

На миг Изобел почудилось, что она снова в Боскрамском лесу. Потом она сообразила, что проснулась в собственной постели, а маньяк, который страшно размахивает руками в полутьме, точно свихнувшийся немой, — вообще-то, Чарльз, и он тянет ее за собой на лестничную площадку.

Сквозь щель в занавесках пробивался столбик света, слышалось знакомое *пррт-пррт-пррт* черной машины. Всю сцену они наблюдали сверху из-за занавесок. Гордон (габардиновый воротник поднят, поля шляпы опущены, вылитый злодей) стоял у открытой дверцы машины, что-то сказал Вдове, та вскрикнула, вцепилась ему в лацканы, и Винни пришлось ее отрывать. Гордон сел в машину, хлопнул дверцей и, не оборачиваясь, укатил из Боярышникового тупика.

Раздутый лунный фонарь, что всего сутки назад вел их по лесу, завис теперь в черноте над древесными улицами. В конце Каштановой машина притормозила, словно задумалась: ехать налево по Остролистному проезду или направо по Сикоморной? Наконец приняла решение, свернула налево, к северу, и габаритные огни внезапно исчезли в ночи.

Наутро за завтраком по-прежнему сидела Винни — громадными ступеньками нарезала бутерброды с джемом и говорила:

— Перееду к вам, поживу чуть-чуть, помогу за вами присматривать. —

Она подождала отклика на эту весть, но они ничего не сказали, потому что Вдова всегда учила: «Если не знаете, что сказать хорошего, лучше помолчите». — Вашему папе пришлось уехать по делам, — продолжала Винни, переводя взгляд с одного на другого, с Чарльза на Изобел и обратно, будто ждала, что они не поверят.

В столовую вошла Вдова, села за стол.

— Вашему папе пришлось уехать, — прохрипела она и промокнула глаза платком с витиеватой монограммой (не «В», потому что «Вдова», а «Ш», потому что «Шарлотта»), и тут Изобел кое-что вспомнила.

Она так резво рванула из-за стола, что чуть со стула не грохнулась. Выбежала в прихожую, придвинула стул к вешалке, чтоб достать до кольшкков, взобралась и сунула руку в карман клетчатого шерстяного пальто, которое там висело с самого их возвращения из леса.

Платок Элайзы так и лежал в кармане, аккуратным треугольником, как сэндвич, инициал на месте, пахнет по-прежнему Элайзой — табаком и *Arpege* и чем-то сумеречным, похожим на гниющие лепестки и плесневеющие листья. Винни стащила Изобел со стула — та уже билась в истерике и, вырываясь из костистой хватки, выдрала Винни клочок волос. Винни закричала (так кричат ржавые дверные петли и крышки гробов) и сильно шлепнула Изобел под коленкой.

— Лавиния! — сурово попеняла Вдова из столовой, и от этого тона Винни подпрыгнула. — Не забывай, что у нас случилось, — прошипела Вдова на ухо противной своей дочери.

Винни эдак дернула плечом и пробормотала:

— Ей без нее все равно лучше.

В схватке Винни удалось отнять у Изобел платок, и Вдова наклонилась, подобрала кружевной трофей с монограммой и поспешно запихала в чопорный вырез блузки.

После отъезда Гордона в ночь Вдова и Винни были дерганые, как кошки. Чуть рыкнет мотор, чуть послышатся шаги — они уже настороже. Каждый день прочитывали газеты от корки до корки, будто шифровки искали.

— Я прямо комок нервов, — говорила Вдова, подпрыгивая и хватаясь за сердце, когда Вера, бормоча себе под нос, входила в столовую с супницей.

Вдова старалась обходиться с ними по-доброму, но вскоре стало ясно, что этот труд ей не под силу.

— Вы такие озорники, — раздраженно вздыхала она. — Вот что

случается с озорниками, — говорила она, в воскресенье запирая их в чердачной спальне за какую-то провинность. Им было все равно, они были не против вместе сидеть под замком.

Им даже нравилось.

Они ждали Гордона и Элайзу. Ждали *пррт-пррт-пррт* черной машины. Ждали, когда Элайзу выпустят из больницы. Когда Гордон закончит дела и вернется. Жизнь вроде бы шла своим чередом — проснуться, поесть, поспать, пойти в школу после каникул, — но работы вкладывали бы в эту жизнь больше души. Подлинное время — время, которому они про себя вели счет, — застыло: они ждали возвращения Элайзы.

Время плыло и искажалось. Дни ползли с невыносимой медлительностью улиток, даже уроки не сокращали великих пропастей времени, что разверзались перед ними. Мистер Бакстер разрешил Изобел пойти в школу пораньше — «чтоб вы с ней не возились». Миссис Бакстер взялась провожать их в школу по утрам и приглядывать за ними до вечера, пока Вдова и Винни на работе. Миссис Бакстер поила их молоком и кормила плюшками в просторной теплой кухне, а на случай, если войдет мистер Бакстер, Чарльз прикидывался совсем другим мальчиком.

Винни, и без того сердитая, на нынешний поворот событий рассердилась так, что, пожалуй, рада была бы посадить их обоих под замок на веки вечные. Сама говорила. Лицо у нее стало как лежалое дикое яблочко, и Вдова придумывала ей занятия в кладовой, подальше от покупателей, чтоб от кислой физиономии Винни не сворачивались сливки и не плесневел сыр.

— Жизнь-то у нее изменилась, — вполголоса объясняла Вдова миссис Тиндейл за печеньем (впрочем, эту половину голоса Винни отлично слышала).

Жизнь изменилась у всех, но ведь не навсегда же, правда? Рано или поздно Элайза выйдет из больницы, Гордон доделает дела и вернется, все придет в норму. Ни Чарльзу, ни Изобел и в голову не приходило, что Гордон и Элайза бросили их навеки в когтях Винни и Вдовы. О поломанной Элайзе под деревом, о скорлупе ее черепа, разбитой и раскрошенной, о белом горле ее, невыносимо растянутом (как время), они вспоминать не желали. Вдова говорила, что в больнице Элайза поправляется.

— Почему тогда нельзя ее навестить? — хмурился Чарльз.

— Скоро, скоро, — отвечала Вдова, и ее дряхлые молочно-голубые глаза туманились.

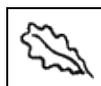
Без Гордона жизнь стала чуть скучнее, без Элайзы лишилась смысла. Она была все на свете — их спасение (даже когда сердилась), их забавы (даже когда скучала), их хлеб, и молоко, и мясо. Она жила у них внутри болью где-то в районе сердца.

— Наверное, маме запретили разговаривать, — размышлял Чарльз как-то раз в унылую субботу, когда они играли в «Змеи и лестницы» в своей чердачной тюрьме; причина заточения осталась неясна, но, вероятно, имела отношение к большой царапине на Вдовьем обеденном столе, неким образом порожденной перочинным ножиком, который Чарльз таскал в кармане. — Наверное, для горла вредно, — продолжал он.

Изобел запуталась в кольцах исполинской змеи и не замечала, что Чарльз плачет, пока ее внимание не привлекла к этому обстоятельству крупная прозрачная слеза — немногим меньше грушевых слез на Вдовьей люстре, — которая шлепнулась на поле.

К слезам друг друга они привыкли, их ожидание смачивалось и сдабривалось слезами. («Вечно у кого-нибудь из вас глаза на мокром месте», — попеняла измученная Винни как-то утром, когда Чарльз, собираясь в школу, стал задыхаться и Винни пришлось колотить его между лопатками, — средство, способное скорее убить, нежели исцелить.)

— Веселей, — посоветовала ему сейчас Изобел, но от ее меланхолического тона ему стало только хуже. Она протянула ему игральную кость, но им обоим еще долго не удавалось сделать следующий ход.



Они сидели у камина и слушали «Детский час», а Винни (в кресле, которое она присвоила) штопала толстые чулки. Рукоделие Винни не давалось — штопка, над которой она так корпела, смахивала на плетень, — и Вдова недовольно цыкала, разглядывая неудачные плоды ее трудов.

Где-то гремела Вера — накрывала к ужину в столовой. Вдова поглядела на Винни, и та отложила штопку. Вдова глубоко вдохнула, наклонилась и выключила радио. Они разом вопросительно уставились на нее.

— Дети, — веско произнесла она, — боюсь, у меня печальные новости. Ваша мама не вернется. Она уехала.

— Уехала? Куда уехала? — заорал Чарльз, вскочил на ноги, сжал кулаки и изготовился к драке.

— Успокойся, Чарльз, — сказала Вдова. — Она никогда не была, что

называется, *надежным человеком*.

Ненадежна? Едва ли это объясняло исчезновение Элайзы.

— Ты врешь, я тебе не верю! — завопил Чарльз. — Она нас не бросит!

— Боюсь, Чарльз, она вас бросила, — бесстрастно промолвила Вдова.

Это правда? Непохоже, но откуда им знать — что от них зависит? Вдова махнула Вере в дверях и сказала:

— Ну пойдете, вытри слезы, Изобел, у нас на ужин отличный пастуший пирог. И малиновое желе на десерт, ты же любишь малиновое желе, Чарльз.

И Чарльз уставился на нее, себе не веря. Она что, вправду считает, что розовое желе, которое будет съедено через две секунды, восполнит потерю матери?

Миновало почти два месяца с тех пор, как Гордон укатил в ночь в обществе одной лишь луны. Как-то утром Вдове по почте пришло письмо — тоненькая голубенькая бумажка с иностранными марками. Вдова вскрыла конверт, прочла, и на глаза у нее навернулись слезы.

— Ну, он ведь не помер, — сердито пробубнила Винни чайнику.

— Кто? — напрягся Чарльз.

— Тебя не касается! — огрызнулась Винни.

В тот вечер перед сном Вдова сказала, что у нее печальные новости. Лицо у Чарльза горестно вытянулось.

— Папа ведь нас не бросил? — прошептал он Вдове, а та кивнула:

— Боюсь, именно так.

— Он вернется, — заупрямился Чарльз. — Папа вернется.

Винни окунула в чай сладкий крекер и погрызла, точно крупная мышь. Дряхлая Вдовья рука, вся в печеночных пятнах, задрожала, чашка звякнула по блюдцу, и Вдова произнесла:

— Папа не может вернуться, Чарльз.

— Почему? — От волнения Чарльз опрокинул свое какао.

— Тряпка, Винни, — сказала Вдова таким тоном, будто советовала Винни остерегаться тряпки, а не просила эту тряпку принести.

Из прихожей донеслось бормотание Винни: «Тряпкавиннитряпкавинни».

Вдова взяла себя в руки:

— Он не может вернуться, потому что он на небесах.

— На небесах? — хором переспросили они.

Вдова каждую неделю гоняла их в воскресную школу, и про «небеса» они выучили — небеса голубые, в них полно облаков и ангелов, но людей в фетровых шляпах и габардиновых макинтошах там не водится.

— Он что, ангел? — удивился Чарльз.

— Да, — сказала Вдова, секунду помявшись. — Папа теперь ангел, он приглядывает за вами с небес.

— Он же не умер? — прямо спросил Чарльз, и Вдова побледнела еще сильнее, хотя, казалось бы, куда сильнее, и ответила:

— Ну, не совсем умер... — и закрыла лицо руками, чтоб им было не видно, и сидела так долго-долго, ни слова не говоря, и наконец им стало неуютно, они на цыпочках вышли из столовой и взобрались по лестнице.

Спать они отправились, так ничего и не поняв, — честно говоря, еще больше запутавшись, чем до поступления «печальных новостей».

Наутро за завтраком Винни любезно прояснила ситуацию. Вдова еще не вышла, а Вера грохнула хромированным чайником об стол и отправилась обугливать тосты. Чарльз и Изобел черпали свою овсянку и помалкивали, потому что по утрам Винни в наилучшей форме. Она закурила и сказала:

— Надеюсь, вы понимаете, что теперь все изменится. — Это замечание они встретили вполне заслуженным безмолвием. К великому своему несчастью, они отчетливо сознавали, до чего все изменилось. — Вам теперь надо вести себя очень хорошо, раз ваш папа умер.

— Умер? — в ужасе переспросил Чарльз. — Умер?

Он побелел, как Вдовый сальный пудинг, побелел, как Вдова, и выбежал из-за стола. Потом его не без усилий выволакивали из шкафа под лестницей, где он выл, как волчонок.

Гордон умер от бронхиальной инфекции в лондонском тумане.

— Много народу померло, — говорила Винни, словно это утешало. — Жертва желтого тумана. — Кажется, она в кои-то веки гордилась братом.

— Он страдал астмой, — каждому встречному и поперечному рассказывала Вдова, — с самого детства.

И со своего караульного поста на лестничной площадке они слышали, как люди ахают, удивляются, ужасаются. Что такое астма, они не знали, но, видимо, что-то серьезное.

На серванте стояла фотография Гордона в красивой серебряной рамке. Пока был оригинал, фотографию они почти не замечали, а теперь она стала важнейшим их тотемом: вот же он, Гордон, видимый и осязаемый (пусть и двумерный), — как это может быть, что он так недоступен? Красавец-военный в летчицкой форме, лихая фуражка набекрень — незнакомый храбрец, они жалели, что не обращали на него внимания.

Ночами Изобел лежала в постели и воображала, как Гордон уходит в

стену белого тумана: туман белой ватой окутывает его тело, ватный туман заполняет легкие, душит Гордона. Иногда во сне Гордон выступал из туманной стены, подходил к Изобел, подхватывал на руки и подбрасывал к небу, но, когда она приплывала к земле, Гордон исчезал — она была одна в темноте посреди бескрайней лесной чащи.

Где похоронили Гордона? Когда они спросили, Вдова вздрогнула.

— Похоронили? — Она разгоняла мотор в мозгу, в глазах крутились шестеренки. — На юге, в Лондоне, где он умер.

— Почему? — не отступал Чарльз.

— Что почему? — раздраженно спросила она.

— Почему его похоронили там? Почему ты не привезла его домой?

Но с ответом Вдова не нашлась.

От Элайзы не осталось ничего. Кроме детей, разумеется. Чарльз хотел посмотреть ее фотографии, а Вдова сказала, что никаких фотографий нет, — странное дело, Гордон столько раз доставал старый «кодак» и говорил: «А теперь все скажите „сы-ыр“!» Пугало то, что Элайзин портрет у них в голове с каждым днем понемножку выцветал, как недопроявленная фотография, как распадающееся время — как свитеры, которые Винни распускала, чтобы заново связать что-нибудь равно страхолюдное. Может, через несколько лет Элайза вновь появится — из нее свяжут новую мать.

— Не говори глупостей, Изобел, — сказала Вдова, ее терпение уже почти истощилось.

— Наверное, она вас бросила, потому что вы столько озорничаете, — высказалась Винни, когда Чарльз позаимствовал у Веры банку политуры «Особняк», чтобы сделать каток, и Винни прокатилась по полу столовой на индийском коврикe.

Поначалу они окопались в не ахти какой спальне, щупали одежду Элайзы в гардеробе, рылись в сундуке с сокровищами — шкатулке с драгоценностями, — точно в усыпальнице. Чарльз нашел Элайзину красную ленту, спящей змеей свернувшуюся в фарфоровом горшочке «каподимонте», у которого из крышки росли розовые розы. Ленту они спрятать не успели — Вдова отняла и сказала Винни:

— Ну хватит, это нездорово.

И назавтра, когда по Боярышниковому тупику процокала лошадь старьевщика, Винни отправили наперехват, и все вещи Элайзы свалили в телегу. Винни недоумевала:

— Могли бы выручить что-нибудь, это же денег стоит.

— Я не хочу денег, — холодно отвечала Вдова. — Я хочу, чтоб духу

этого всего тут не было.

Миссис Бакстер — она вынесла яблоко лошади старьевщика — вскричала:

— Боженьки мои, какая красивая одежда, вы ж не на тряпки ее пустите? — Она пощупала подол красного шерстяного платья и грустно прибавила: — Ой, я помню, как миссис Ферфакс его надевала, такая красавица в нем была.

Вдова, поджав губы, подождала, пока миссис Бакстер не удалится, и сказала:

— Я тут одна-единственная миссис Ферфакс! — Что, к несчастью, было истинной правдой.

— Вечно нос сует, — сказала Винни и взвизгнула, потому что лошадь старьевщика пихнула ее мордой в спину.

Обитатели древесных улиц с любопытством наблюдали из-за занавесок, как мимо плывет гора Элайзиных вещей. Вдова излагала обстоятельства исчезновения Элайзы каждому встречному («удрала со своим красавцем-мужчиной») — пожалуй, можно было и поскромнее — и обычно вставляла замечание о «бедняжке» Гордоне и его до сей поры незаметной астме.

Сразу после наиужаснейшего на свете Рождества Вдова слегла с тяжелым гриппом, и все дела перешли к Винни. В первый день исчез мальчишка-курьер, во второй — Айви, недавно нанятая продавщица.

— Что ты с ними делаешь? — сипло негодовала Вдова со своего одра. — Ешь?

Как-то раз в январе, в серую тоскливую субботу, когда она еще недужила, валялась в спальне, отхаркивалась и откашливалась, а Чарльз и Изобел были предоставлены самим себе, в заднюю дверь робко постучалась миссис Бакстер — предлагала с ними посидеть, но, увы, пришлось им отказаться: они и сами сильно простудились, и Вдова строгонастрого велела им сидеть дома. Бедная миссис Бакстер разговаривала с ними через замочную скважину, потому что Винни распорядилась никому не открывать.

Они играли на нижней площадке: у Чарльза — машинки и грузовики, у Изобел — скотный двор. Курицу с выводком желтых цыпляток она посадила на платформу грузовика — красного, металлического, любимой игрушки Чарльза.

Вдова вышла из комнаты и посетовала на шум. В толстом клетчатом

халате, в старых шлепанцах, волосы не убраны и свисают на спину сальным седым мотком. Смахивает на древнюю предводительницу дикарей. Вдова совсем охрипла, что не помешало ей заорать, едва она узрела плотность дорожного движения и оживленность скотного двора на лестнице.

— Что за кавардак? Сию минуту уберите, — сказала она, над ними нависнув, а они валялись на красно-синей ковровой дорожке. Уцепилась за перила, сказала: — Пойду аспирина выпью, — и стиснула лоб, словно боялась лишиться головы на плечах.

В последние дни она была очень несчастная — не захочешь, а пожалеешь, — и сейчас Чарльз подпрыгнул и сказал:

— Я тебе принесу, бабуль.

Однако причина подобного проворства была двойкой: а) принести упомянутый аспирин, однако б) Чарльз ужасно отсидел левую ногу. Едва он на нее оперся, ногу закололо так, что она подалась и Чарльз рухнул на Вдову.

Само по себе это не скинуло бы ее с лестницы, однако под ударом Вдова выставила ногу, ища опоры, и, увы, как раз там, куда она приладила ступню в старом шлепанце, уже припарковался красный металлический грузовик, груженный желтыми цыплятками. Другая нога дрыгнулась, разбрасывая машинки и животных, а грузовик, неосмотрительно остановившийся на краю, слетел с верхней ступеньки, увозя с собой новый груз — ногу в шлепанце. Курица и желтые цыплятки брызнули во все стороны, а Вдова покатила кувырком (или «вверх тормашками», как сказала бы Винни): седина-шлепанцы-седина-шлепанцы-седина, — подпрыгивая на каждой ступеньке. И крича. Крича, как зверь, как старый кот миссис Бакстер кричал, нажравшись крысиной отравы. Когда Вдова долетела до подножия лестницы, крики смолкли. Она неловко приземлилась на загривок, и пустые глаза ее уставились на задранные разбросанные ноги. Наверняка ей так неудобно.

Очень-очень быстро они сбежали по лестнице и подобрали красный грузовик и цыпляток. Потом ринулись наверх, по пути собирая жертв катастрофы, которую учинила Вдова, — коров и овец, коричневую тележку, пожарную машину, черный «ровер», телегу молочника, молочные бутылочки, уток и гусей, — побросали это все в ящик с игрушками и отволокли к себе на чердак.

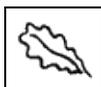
Потом опять спустились, проскользнули мимо Вдовы, стараясь на нее не глядеть. Влезли в плащи и резиновые сапоги, отперли дверь и выбежали под дождь в сад, наплевав на все запреты.

Во Вдовьем саду всегда царил порядок, опрятно росли благовоспитанные цветочки — львиный зев и левкой, четкие бордюры из патриотичных белых бурачков, голубых лобелий и красного шалфея. На зеленом бархате газона хоть в кегли играть, а деревья — сирень, груша, боярышник и яблони — всегда аккуратно подстрижены. Играть в таком саду — так себе веселье, но, как сказала бы Вдова, если б смогла заговорить, веселья им на сегодня вполне хватило.

Они упрямо играли в глубине сада, где даже ребенок с острым слухом, не говоря о детях с забитыми простуженными ушами, вряд ли услышал бы крики падающей женщины. Таково, во всяком случае, было у них алиби.

Впрочем, когда из задней двери выскочила Винни, ее крики они прекрасно расслышали.

Спустя много недель они играли в шарики, шарик закатился под вешалку, и Чарльз нашел там одинокого желтого цыпленочка — достал его и предъявил сестре. Оба не сказали ни слова. Желтый цыпленочек тоже тайны не выдал. Большое ему спасибо.



И вот так они остались на попечении Уксусной Винни, урода их рода, тетушки из преисподней — ровесницы века (сорок девять), но вовсе не современной. И близко не стояла. Раньше они о Винни особо не задумывались — главное, не попадаться ей на пути, — а теперь, когда сгнули все остальные, от нее стало некуда деться.

После смерти Вдовы Вера уволилась и уехала к сестре. Не вынесла мысли о том, что в доме будет хозяйничать Винни. Чарльз переехал в Верину комнату, а Винни с кошкой Каргой — в комнату Вдовы (лучшую спальню), вечно жаловалась, что Вдовый матрас ее убивает, а они вспоминали принцессу на горошине (хотя из Винни скорее получилась бы горошина, чем принцесса), и Чарльз обильно фантазировал о матрасах-убийцах, потому что не раз и не два они всерьез мечтали о том, чтобы Винни проглотили конский волос и тик.

Таким, как Винни, нельзя поручать детей. Дети ей не нравились, и она не любила воспитывать никого, кроме кошки — твари, которая изредка приоткрывала в Винни тайники нежности. Страшновато бывало войти в комнату и увидеть, как она стоит на четвереньках, заглядывает под диван и зовет: «Кис-кис-кис» — добрым голосом, осипшим от редкого

использования.

— А все ваша мать виновата! — кипела Винни, дергая колтуны Изобел; без присмотра кудри у Изобел стали как проволока и смахивали на терновник. — Я вам что, парикмахерша? — бормотала Винни, сражаясь с щеткой «Мейсон Пирсон».

Чарльз спасался хулиганством. Дрался в школе, пинался, кусался, и его с позором отсылали домой, где Винни лупила его той же щеткой. Он носился как одержимый, все ронял, все ломал, потом застывал с идиотской ухмылкой. Ему вечно не сиделось на месте. Может, потому, что родился в дороге. Когда Винни его отчитывала, он стоял руки в боки, ржал, как робот на пружинке, — ха-ха-ха, — и Винни лупила его по лицу, чтоб замолчал.

Почти каждую ночь он писался в постель — что особенно удручало Винни, которая ежеутренне сгружала его постельное белье в медный котел, сопровождая процедуру рыданиями и ламентациями, достойными катастрофы библейских пропорций.

— Я не понимаю, что с тобой такое! — визжала она, волоча его за большое ухо вверх по лестнице.

Один аспект суррогатного материнства неустанно поражал Винни: оказывается, дети растут. Изобрети китайцы метод бинтования всего тела, Винни стала бы их первым заказчиком.

— Ты что, опять выросла? — скрежетала она всякий раз, когда Изобел предъявляла пальцы, стоптанные в слишком тесной обуви, а худые веснушчатые запястья Чарльза вылезали из манжет блейзера.

Раз уж ей достались дети, пускай они будут карликами. Хотя, разумеется, с точки зрения Винни, не бывает детей подходящей модели — разве что выросшие и уехавшие.

Ладно бы Чарльз, низкорослый, давно отставший от сверстников, но вот с Изобел были проблемы. За полгода она выросла из старой школьной формы, и Винни решительно отказалась покупать новую.

— Как грибы после дождя, — умилилась миссис Бакстер, принеся Винни сверток. — Ношенная, но в чудном состоянии, — уговаривала она.

Она и не знала, возмутилась Винни, что нуждается в благотворительности, и миссис Бакстер сказала:

— Ох-х нет-нет-нет-нет, ну какая благотворительность, просто в школе у мистера Бакстера целое море формы про запас — все считают, что это разумно... я и решила... они так быстро вырастают... и новые покупать — только деньги на ветер, и... это разумно... очень многие так считают...

И в конце концов, когда сложилось впечатление, будто Винни делает миссис Бакстер одолжение, а не наоборот, Винни приняла сверток. Нелюбезно ворча. Можно ли утонуть в море школьной формы?

Клоунская Чарльзова физиономия лыбилась из-под фуражки а-ля Билли Бантер<sup>[54]</sup> — Чарльз собрал обширную коллекцию дурацких гримас, посредством которых и общался с внешним миром, будто мир крепче его полюбит, если Чарльз сумеет одновременно скосить глаза к носу и надуть щеки. Ничего подобного, увы.

Простуда, одолевавшая Чарльза со дня смерти Вдовы, так его и не оставила — нос вечно забит желто-зелеными соплями, уши заложены чем-то похожим. Чарльз населял подводный мир слабослышащих, и, лишь когда школьная медсестра направила его в больницу, остальные узнали, до какой степени он полагался на чтение по губам, расшифровывая слова, — ушная дислексия, игра «эрудит» на слух.

— Такой-то лопухий, — сказала Винни, она много часов проторчала в больничной приемной и была недовольна, — мог бы и научиться слышать.

Бедный Чарльз, у него на голове торчали розовые уши слоненка Дамбо, как у тетки королевских кровей.

— Уже взлетел? — любопытствовал Тревор Рэндалл, главный школьный задира, и Чарльз, вместо того чтобы мудро струсить и улизнуть, заехал ему в глаз, за что был избит до раскаяния мистером Бакстером.

В конце концов Чарльза прооперировали — добрый хирург проткнул ему барабанные перепонки и вытянул все желто-зеленые сопля. К сожалению, это не помогло Чарльзу научиться читать, и мистер Бакстер продолжал колотить его по рукам линейкой, чтобы Чарльз лучше разбирал слова.

Чарльз помалкивал о том, что Элайза, когда вернется, оторвет мистеру Бакстеру голову и выдерет легкие через горло. Он предвкушал потрясение мистера Бакстера. «Хлоп! Хлоп! Хлоп-п-п!» — говорила кожаная плетка мистера Бакстера (она же «камшик» на своеобразном диалекте миссис Бакстер).

Скудные воспитательские умения и навыки Винни были истощены кашлями и простудами, вирусами и инфекциями, ноющими и острыми болями, прыщами и бородавками — микробно документированной утратой родителей. Чарльза снова положили в больницу с подозрением на аппендицит, а затем выписали, не найдя объяснения его таинственным болям.

Хозяйство в «Ардене» оставляло желать много лучшего. Без Вдовы стало холодно и смурно. Винни разжигала камин в гостиной, только если температура падала в арктические глубины. («Берегись! Белый медведь!» — говорил Чарльз, в ужасе расширяя глаза цвета ржави, а Винни визжала и озиралась. Ха-ха-ха.)

В доме они носили перчатки, а Чарльз нацеплял темно-синий шерстяной шлем (очень дурно связанный Винни), в котором походил на гоблина, — для полноты маскировки не хватало только дырок для больших заостренных ушей. Изобел надевала пуловер, связанный миссис Бакстер, со сложным узором из узлов, цепей и тросов, — наверное, таким рукоделием во сне занимаются моряки.

Дом не отапливался из соображений бережливости. Скупая Винни молилась на бережливость (хотя вовсе не умела беречь).

— Я пытаюсь держаться на плаву, — говорила она, щурила глаза (серые, как Северное море) и прибавляла: — Еще чуть-чуть — и мы в богадельне.

Как одновременно работать в лавке и воспитывать детей? Что ей делать? Она нанимала продавщицу за продавщицей, и у всех, похоже, не было в жизни иных целей, кроме как облапошить Винни.

Долгие ночные часы она просиживала за обеденным столом, кося глазами в столбцы доходов и расходов, не в силах постичь двойную бухгалтерию. Невеликая из нее вышла лавочница — с матерью не сравнить.

Винни скардничала, но сэкономить не удавалось. Обильные Вдовы трапезы сменились водянистой болтуней, похожей на лимонную рвоту, тостами с жиром или «фирменным блюдом» Винни — пирогом с почками, клейкой серой субстанцией между картонными корками. Они вечно были голодны, вечно искали, где бы стырить еды и набить пустоту внутри. Иногда Изобел так хотелось есть, что казалось, будто внутри у нее живет кто-то другой, ненасытный жадина, которого постоянно нужно кормить.

Белые льняные скатерти Вдовы и серебряные столовые приборы, сервиз в цветочек и салфеточные кольца слоновой кости были убраны, поскольку у Винни с ними «слишком много хлопот». Теперь они ели приборами из «Вулвортса» на старых плетеных подстилках из рафии, которые Винни привезла из дому.

— Салфетки да сервизы в серванте, — говорила Винни, — для тех, кому слуги стол сервируют, — а Винни, боже упаси, им не служанка. — Бог дал нам язык, чтоб облизывать губы, — заявляла Винни, — Он не создал нас с салфетками в руках.

Тут есть с чем поспорить. А как же сигареты? Чайные чашки? Сладкие

крекеры? И вообще, как насчет «Бога», который нечасто заглядывал в «Арден»?

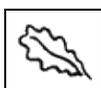
В откровенном ужасе от внезапного вычитания наших близких из жизни — бабушка, отец, мать, практически один за другим, — миссис Бакстер поспешила заполнить материнскую брешь. Как? — частенько спрашивала она мистера Бакстера. Как могла мать оставить своих маленьких деток? Своих малките деца? (Миссис Бакстер была двуязычна.) Тем более таких лапочек? Она, наверное, не в своем уме (или же «умопобъркана»).

Изобел караулила, когда мистер Бакстер спозаранку отправится в школу, и черным ходом бежала в «Холм фей», чтобы миссис Бакстер, а не Винни причесала ее и заплела волосы в аккуратные косички («косата»), потому что девочкам под опекой мистера Бакстера запрещалось распускать девичьи локоны вблизи здания школы. Миссис Бакстер купила новые темно-синие ленты, большими бантами завязывала косы Изобел и говорила:

— Ну вот, ты погляди, какая красавица, — и одобрительно сияла гигантской новолунной улыбкой, не вполне скрывавшей гримасу сомнения.

Чудесные червонно-золотые волосы Одри, волосы, что текли по спине волнистым вулканическим потоком, языком пламени, полагалось упихивать в толстую косу почти до пояса. Неукротенные длинные волосы вызывали у мистера Бакстера разлитие желчи.

— Надо это все состричь, — говорил он, и чудо чудесное, что длинные локоны Одри продержались так долго.



Пришло лето. Сад «Ардена» заволокли сорняки. Мистер Бакстер попрекнул Винни состоянием сада.

— Мне тут ваши клятые одуванчики не нужны! — гневно прокричал он через буковую изгородь.

Чарльз подождал, пока мистер Бакстер не уйдет в дом, и сдул семена с одуванчиков через изгородь, каковую выходку Винни приветствовала скрипом с заднего крыльца. Добрососедства она не постигала.

Впрочем, одуванчики выпальвала миссис Бакстер — в «Холме фей» садоводством занималась она. Выращивала малину и черную смородину, картошку, горох и красную фасоль, окучивала красивые розы-альбертины, что взбирались по шпалере, отделявшей газон от фруктового сада и

огорода. Кусты розмарина, усыпанные голубыми цветочками, темные копы лаванды глядят по ногам, когда идешь по садовой тропинке, а бордюры вокруг большого полукруглого газона мягки и иззубрены — легонько покачиваются колокольчики, шпорник на ветру кивает бледной жимолости, что вплетается в буковую изгородь.

На Ивовом проспекте появились новые люди — Макдейды. Какого мнения мистер Бакстер об имени Кармен Макдейд, становилось ясно по тому, как его усатая губа кривилась ухмылкой всякий раз, когда он вынужден был называть Кармен по имени. Макдейды приехали на север из Лондона, и семейство у них было столь многочисленно, что мистер Макдейд (в некотором роде строитель) и миссис Макдейд (гарпия) временами ненароком теряли одного из младших Макдейдов.

— Недоделки, — таково было профессиональное суждение мистера Бакстера касательно большинства представителей клана Макдейд, хотя «недоделанность» он определял весьма либерально и нередко подразумевал также Чарльза. Или даже миссис Бакстер.

Кармен подтыкала подол в застиранные трусы и ходила колесом по зеленому газону «Холма фей».

— Скороспелка эта девчонка, — с отвращением кривился мистер Бакстер.

Но как она может быть одновременно недоделком и скороспелкой? На мистера Бакстера не угодишь.

— Она же маленькая еще, — возражала миссис Бакстер.

— И что? — сумрачно отвечал мистер Бакстер. — Все они одинаковы.

Винни не справлялась, семейный бизнес ускользал из рук. Во всем виновата Элайза. Миссис Бакстер принесла решение и теперь стояла на заднем крыльце с тарелкой маленьких розовых пирожных. Одно пирожное Винни с подозрением взяла.

— Берите, берите все, — сказала миссис Бакстер.

Пирожные сами по себе не решение, но «опека»?

Винни подозрительно прищурилась:

— опека? — Да быть того не может, кто-то готов избавить ее от «бедных сироточек»? Винни задумалась. И чуть не подавилась пирожным.

— Они не сироты, — сказала она не очень внятно, поскольку давилась. — Они не сироты, их мать жива.

— Ну конечно, — поспешно согласилась миссис Бакстер.

Она уже не помнила Элайзу в лицо. Вспоминая, видела только фигуру вдалеке — в глубине сада, в поле, и фигура эта удалялась. Винни слизала с

пальцев глазурь и сказала:

— Ну а что? Можно.

Но растяпа миссис Бакстер не поговорила заранее с «папочкой», и тот вытаращился на нее в ошеломлении:

— Дьявол тебя дери, Мойра, да ты не в своем уме. — (Еще одна, значит.) — Я этого придурка целыми днями в школе вижу, не хватало еще, чтоб он У меня дома жил. А девчонка их все время дуется. Ты слышишь меня? — («Временами Чарльз ведет себя довольно глупо», — сдержанно начертал мистер Бакстер в рождественском табеле.)

Иногда миссис Бакстер читала вслух. Изобел прислонялась к ее пухлой голубиной груди, по другую руку к матери пристраивалась Одри, и под переливчатый голос, шуршавший торфом и вереском, ненадолго отступали и Элайза, и Гордон, и Вдова. Из миссис Бакстер выходила замечательная сказочница, она умела в мгновение ока превращаться из разгневанного великана в кухонную мышку.

Миссис Бакстер знала те же сказки, что Элайза, но у Элайзы сказки нередко заканчивались плохо, то и дело кого-то калечили и пытали, а у миссис Бакстер всегда был счастливый финал. Например, миссис Бакстер утверждала, что Красную Шапочку спас ее отец-дровосек — он убил волка, разрезал, из волчьего живота выскочила бабушка, совсем как новенькая, и, само собой разумеется, после этого все они жили долго и счастливо. А по версии Элайзы, все обычно умирали, даже Красная Шапочка.

Порой, когда история подходила к концу, все налаживалось и справедливость восстанавливалась, миссис Бакстер вздыхала и говорила:

— Жалко, что в жизни так не бывает.

Мистер Бакстер об этих чтениях не ведал: он всей душой не одобрял сказки («гиль и ересь»), хотя имелась ли у него вся душа — вот в чем вопрос.

Как-то раз он внезапно вернулся из школы рано и застал их троих перед камином. Миссис Бакстер читала, водя пальцем по строчкам — она куда-то задевала очки для чтения, — и, когда Красная Шапочка клала в корзинку пирожок, они вдруг заметили мистера Бакстера в дверях. Миссис Бакстер легонько вздрогнула, как испуганный кролик, и палец для чтения таинственно замер на слове «веревочку».

Мистер Бакстер очень долго пялился на них галечными глазами за очочками-гальками, затем сказал:

— В отличие от ее придурочного братца эта девочка прекрасно умеет читать сама, Мойра, — я точно знаю, поскольку сам ее учил. Что касается

тебя, Одри, отправляйся наверх, я тебе задал дополнительные по математике.

Одри улепетнула из комнаты, а миссис Бакстер сказала:

— Боженьки мои, папочка, мы же просто читали. Что тут такого?

Назавтра у миссис Бакстер глаз так распух, что не открывался.

— В дверь воткнулась, — объяснила она, расчесывая Изобел волосы, — вот растяпа.

Одри сидела за столом над тарелкой хлопьев, то и дело подносила ложку к губам, только это была одна и та же ложка с одними и теми же хлопьями, снова и снова. После этого сказок больше не читали.

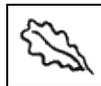
— Вот погоди, вернется мама — ты попляшешь! — крикнул Чарльз после особо яростной атаки Винни, вооруженной щеткой «Мейсон Пирсон», а Винни рявкнула:

— Вот и увидим!

Не жалея сил, она стирала все следы Элайзы. В мире Винни прошлого не бывает. Она не заговаривала о прошлом, она была неисториком, антиархивистом всего, что с ними приключилось, — не хранила ни сувениров, ни артефактов, ни документов, ни фотографий, уничтожала все доказательства их прежнего счастья. Жгла прошлое на костре, сжигала все подчистую, ничто не спаслось от огня.

Каждую неделю Винни отправлялась в сад «Ардена» кормить свой костер, и дым окутывал ее, и пепел кружил в воздухе, и была она будто средневековая ведьма на аутодафе.

Миновал год с хвостом — Элайза не появилась. Когда она вернется? Почему так долго? Порой казалось, что белый туман, объявший их в Боскрамском лесу, просочился в голову. Может, и Гордон так умер — не от тумана в легких, а от тумана, что заволок ему мозг и свел с ума. Может, лесной туман свел с ума и Элайзу — она явно помешалась, раз оставила их в когтях Винни. Она бы ни за что не бросила их по доброй воле, и ее бы не сбили с панталыку никакие красавцы-мужчины. Правда ведь?



Винни окончательно поседела — проходя мимо зеркала в прихожей, оглаживала монашескую прическу и говорила:

— Поглядите, что вы со мной сделали, — будто зеркало во всем и

виновато.

Мэдж в Мирфилде обзавелась интимным смертоносным раком и ничем помочь не могла, три ее взрослые дочери знать ничего не желали. Но у Мэдж была подруга, у которой была знакомая, которая всегда хотела...

— Двух деток? — с надеждой спросила Винни, навещая ее в больнице.

— Нет, — сказала Мэдж, — маленького мальчика.

— Ну, уже кое-что.

— Во всем виновата Элайза, — сказала Мэдж.

Чарльзу очень, очень крупно повезло, сказала Винни. Но везению конец, если Чарльз не перестанет озорничать. У мистера и миссис Кросленд имелись большая машина и дорогие пальто. У мистера Кросленда — длинное верблюжье, у миссис Кросленд — длинная бобровая шуба, хотя на дворе стоял жаркий август, и, когда миссис Кросленд пила чай в гостиной, Изобел хотелось зарыться лицом в мех.

— Бедняжка, — сказала миссис Кросленд Чарльзу.

Не такой уж маленький Чарльз (коренастый восьмилетка) нагло пялился в упор. На Изобел миссис Кросленд даже не взглянула. Винни отмечала положительные черты Чарльза, точно заводчица, а миссис Кросленд одобрительно сюсюкала со своей новой зверушкой.

Чарльз блуждал в облаке неразумения — Винни кое-что утаила, и ему померещилось, что Изобел поедет с ним, что их забирают в комплекте. Они не видели, что Винни упаковала всего один чемодан. Когда гости допили чай и истожили скудный запас тем для светской беседы, миссис Кросленд сказала:

— Ну, большое спасибо, миссис Фицджеральд, всего вам самого доброго, — и забралась на заднее сиденье большой машины. Похлопала по сиденью. — Садись, Чарльз.

И тот неохотно залез в машину и утонул в мехах.

Винни хлопнула дверцей, мистер Кросленд завел мотор, не глядя помахал и отъехал, хрустя гравием. Миссис Кросленд помахала рукой, унизанной кольцами, и крупными малиновыми губами сложила «до свидания». За стеклом всплыло бледное лицо Чарльза, его крик утонул в реве мотора. Машина медленно катила по Каштановой авеню, голова Чарльза опять возникла в заднем окне. Кажется, он драл стекло ногтями.

Голова внезапно исчезла, будто за кадром его дернули за лодыжки, и машина помчалась прочь, свернула на Сикоморную, изобразила тот же фокус с исчезновением, что и Гордон, только поехала в другую сторону. Как и Гордон, водитель не дал задний ход из-за угла, пассажиры не заорали:

«Сюрприз!»

Изобел бежала за машиной, пока не закололо в боку, — дальше она бежать не могла, обескураженно застыла посреди дороги, и разносчик мясника, неосторожно вылетевший из-за угла на велосипеде, резко вывернул руль, чтоб не сбить рыдающую фигурку, перевернулся, по всей дороге разлетелись некрупные свертки мяса по карточкам, и Винни, вздернув Изобел на ноги и потащив домой, успела припрятать в кармане фартука гирлянду худосочных сосисок.

*В глубокой ночи мир темен и пуст, но после того леса ничто не пугало. Не так уж, собственно говоря, и темно, за окном полная луна, комната тускло мерцает оловом. Самое время бежать, спуститься по водосточной трубе, пересечь влажный газон. В доме слышно только «скрип-скрип» — так храпит миссис Кросленд. Чарльз выскользнул из постели — под пятками мягкий ковер. Подкрался к стулу с одеждой. Чарльз как будто уменьшился. Глаза ниже спинки стула, нос едва достает до дверной ручки. Ногти на ногах цок-цокают по линолеуму у стены.*

*Все вокруг обесцвечено, все в серой гамме. Чарльз прислушался — нет, дом вовсе не молчит: слышно, как мыши грызут припасы в кладовой, как грезит старый кот Крослендов (о мышинной охоте). Мозг затопили запахи — пыль, набившаяся в ковры, запах старой подливы из кухни, гвоздичный тальк, который миссис Кросленд рассыпала в ванной. Из гаража доносился запах бензина, от него кружилась голова; Чарльз бродил по комнате, пытаясь сосредоточиться, — в кои-то веки ему было уютно в собственной шкуре.*

*Он подбежал к туалетному столику в углу. Луна покрыла зеркало сталью. Он увидел в зеркале Луну, увидел свое лицо в зеркале — нет. Нет. Невозможно, не бывает такого. Чарльз запрокинул голову и в страхе пронзительно завыл, рванулся прочь от зеркала, прыгнул на постель и с головой спрятался под одеяло. Утром все будет иначе. Правда ведь?*

Через неделю после похищения Чарльз вдруг вернулся, и его появление сопровождалось неожиданным скрипом гравия. Задняя дверца машины распахнулась, и — сюрприз! — Чарльз выпал на землю; еще чуть-чуть — и заподозришь, будто его выпихнули. Дверца снова хлопнула, опустилось стекло.

Возникло лицо миссис Кросленд, напудренное и налакированное, как у японской гейши.

— Он кусается, — объявила она, и голос ее дрожал от омерзения. —

Он зверски кусается.

А мистер Кросленд крикнул через плечо;

— Это не мальчик, а какой-то *недоделок*, миссис Фицджеральд!

И Кросленды укатили, остервенело переключая передачи. Чарльз по-турецки сидел на гравии, раскачиваясь, как Будда, хохотал, точно клоун, — *ха-ха-ха, ха-ха-ха* — и глядел машине вслед.

Самое важное в фокусах с исчезновением — похоже, ни Гордон, ни Элайза так этого и не поняли, — в том, что *подлинное* искусство — в умении снова появиться. В отличие от своих родителей Чарльз освоил фокус целиком и по такому случаю изобразил теперь торжествующую джигу либо польку, а затем споткнулся и окорябался, и Винни сказала:

— Я так и знала, что все закончится слезами.



Винни продолжала развал «Ферфакса и сына»: отпугивала покупателей («Ну так чего вам — чеддер или чешир? Выбирайте уже, не до вечера же мне тут торчать!») и внедряла устрашающе неграмотное управление. В конце концов она продала лавку конкуренту за гроши, домик на Ивовом проспекте тоже продала, некой паре по фамилии Миллер, и всякий раз, проезжая мимо на автобусе, говорила:

— Миллерам все досталось почти задарма. — Винни была мисс Жертва Несправедливости, и ничто, вообще ничто в ее мире больше не наладится. Особенно это касается родни. — Нам светит богадельня, — сообщила она им. Но у нее есть идея — они будут сдавать комнаты, что толку от дома с пятью спальнями, если заняты только три? А? В пустующую спальню они поселят жильца.

Винни смутно сознавала, что ее домоводческие таланты вряд ли поразят воображение платежеспособного клиента, и принялась совершенствоваться. Она изучала Вдовью хозяйственную библиотеку — целую кухонную полку *aide-ménage*:<sup>[55]</sup> «Настольная книга хозяйки», «Поваренная книга тетушки Китти», «Всё в доме», «Книга современной домохозяйки» (ибо в незапамятные времена Вдова была очень современной домохозяйкой). Некоторое время ей хватало энтузиазма даже на раздел «Хобби» из «Всё в доме», и она, помимо прочих полезных начинаний, опробовала «Сургучное ремесло» и «Изящные поделки из целлофана и рафии». Тревожная картина —ходишь в кухню и застаешь Винни по локоть в папье-маше (под цвет лица) или за артистическим порывом к

высотам «Поделок из люфы»: сидит, кромсает ножницами банную губку, дабы комната Неизвестного Жильца была осияна цветочным натюрмортом.

Однако бесконечно хуже оказалась *ancienne cuisine*,<sup>[56]</sup> каковой Винни вдруг стала ярим адептом, — блюда, выуженные из кулинарных разделов Вдовьих книг, от которых несло межвоенной Англией. Опыты она ставила на Чарльзе и Изобел. «Жареные спагетти», «Суп из кролика с карри», «Компот из голубей с мозговым соусом». Не было для Винни большей радости, чем рецепт, открывавшийся словами: «Возьмите большую треску и сварите ее целиком...»

— Какая гадость, — высказался Чарльз, отведав какой-то «Пудинг из вареного коровьего копыта».

— Кто гадко поступает, тот и гадость, — ничего не прояснив, отвечала Винни.

Раньше им и в голову не приходило, что они станут скучать по прежней ее стряпне.

Сочтя, что вполне освоила домовладельческую кухню, Винни перешла к постельному белью, обыскала глубины Вдовьих чуланов и извлекла несколько комплектов ирландских льняных простынь, лишь слегка тронутых плесенью.

— И в гостинице лучше не найти, — заявила она.

Винни понятия не имела, каковы простыни в гостиницах, поскольку ни единожды на них не спала, но это не мешало ей фантазировать о том, как отель «Арден» вот-вот заставит понервничать управляющих «Рица». Зачем здесь селиться, недоумевали Чарльз и Изобел, если матрасы такие тонкие, а в заварном креме комки?

Едва Винни объявила, что готова ко всему, возник их первый жилец. Винни слегка удивилась — она еще не разобралась, как давать объявления, — но мистер Рис уже стоял на пороге, вооруженный рекомендациями и профессией коммивояжера, которая пристала всякому жильцу.

Мистер Рис относился к возрастной категории между тридцатью пятью и шестьюдесятью пятью и подкручивал концы гигантских усов — вероятно, себе в утешение, потому что темные волосы его почти пожрало облысением, и более всего он напоминал вареное яйцо. Чарльз и Изобел в ужасе переглянулись — невозможно сочинить человека скучнее.

— Не переживайте, — сказала Винни, — это только начало.

Мистер Рис носил вульгарные пиджаки в ломаную клетку и горчичные жилеты и уверял, что в войну был летчиком.

— Да кому он лапшу на уши вешает? — фыркнула Винни, однако у него за спиной — не отказываться же от его денег. — Прошу, — молвила она, нацелившись на жильца, — «Сладкое мясо по-королевски». — Хозяйка Винни — унылая экономка в тяжелые времена. — Ну-с, мистер Рис, — сказала она, разрезая на куски неопознанное жареное млекопитающее за воскресным обедом, — и как вам тут нравится? — Мистер Рис был «джентльменом», полагала Винни и некоторое время его робела.

Поначалу она сюсюкала перед ним, кланялась и расшаркивалась, заламывала руки в бесконечном смирении, а он в ответ до небес превозносил ее хозяйские таланты, хотя мог бы и задуматься при виде «Суфле из пикши» или задать ряд вопросов касательно сырости в спальне и пугающих свойств некоторых вечерних трапез («Вареная жаба в норе», — объявила Винни, стесняясь и гордясь своими новооткрытыми способностями).

За завтраком и ужином мистер Рис потчевал их дорожными байками.

— Презабавнейшая штука случилась со мной на этой неделе в Бирмингеме, я говорил? — спрашивал он за некими «Потрохами шотландской овцы», над которыми Винни трудилась полдня.

Чувство юмора у мистера Риса отсутствовало — более того, он, если можно так выразиться, обладал негативным чувством юмора, и они заранее знали, что история, предваряемая вступлением «случилась презабавнейшая штука», обречена оказаться неизбывно тоскливой. А презабавнейшие штуки случались с мистером Рисом *постоянно*, так что редко выдавалась трапеза, за которой они от скуки не впадали в беспамятство.

— Мистер Тапиока! Мистер Саго! — глумился Чарльз, сгибаясь пополам от хохота *sotto voce*<sup>[57]</sup> и колотясь лбом об стол.

Изобел за Чарльза беспокоилась. Девять лет, а ведет себя как трехлетка. Мистер Рис, кажется, не заметил, подложил себе серой вареной картошки и запел хвалы прелестям домашнего уюта.

— Глупый мальчишка! — прошипела Винни Чарльзу.

— Ах, — сказал жилец — Винни протянула ему кусок «Овечьего языка в желе», и мистер Рис принюхался, точно пацан из рекламы соуса «Бисто».

Из кармана колониального халата Винни извлекла сигареты и закурила. Эти узловатые руки, державшие сигарету, больше подошли бы крупной хищной птице. Винни закрыла глаза и глубоко затянулась, скривившись, будто ей не приятно, а больно, и затем, выдувая дым через нос, подала экзотический «Железнодорожный пудинг».

— Объединение, — заявил мистер Рис.

По подбородку у него полз ручеек желтого крема. Винни захлопала чохлыми ресницами — при желании в этом можно было прочесть кокетство.

— Вам что-то в глаз попало, миссис Фицджеральд? — осведомился мистер Рис, набив рот пудингом.

— Параллельные вселенные, — за ужином («Печеночные фрикадельки») сказал мистеру Рису Чарльз — ему не терпелось поделиться свежими теориями с благодарным слушателем. — А что, если существуют другие миры, где живем другие мы, совсем по-другому, и там Винни, например, кинозвезда, — (польщенная Винни благодарно ему улыбнулась — редкий случай), — а вот Иззи — королева неоткрытой страны, а я... — он замолчал, выбирая подходящую параллельную жизнь, — а я олимпийский атлет, или знаменитый шекспировский актер, или астроном...

Мистер Рис глядел так, словно Чарльз свихнулся, а когда фантазии истопились, пригвоздил его весьма прозаичным взором, сказал:

— Очнись, сынок.

И Чарльз побагровел, что плохо сочетается с его волосами. На самом-то деле они оба хотели жить в одной-единственной параллельной вселенной — в той, где у них есть родители, предпочтительно — те же самые.

Прошел еще год. И еще один. Запертая в коридорах времени Элайза тускнела, превращаясь в воспоминание. Изобел говорили, что она похожа на иностранку, испанку или итальянку, — может, у Элайзы была испанская кровь? Сквозь длинный черный туннель Винни уставилась в прошлое, что-то смутно разглядела, вроде бы разобрала слово «кельтский» и сказала:

— Не испанская — ирландская, по-моему.

— И у нее был ирландский акцент? — наострил уши Чарльз.

— Акцент? — растерялась Винни. Из туннеля слабым ветерком донесся «Хамистид». — Акцент у нее был... дурацкий, — наконец сказала она.

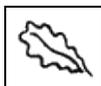
Поблекший и позабытый образ Элайзы их не отпускал. Где она? Почему не вернулась? Почему из ее мира не вернулся никто? Сестра, брат? Тетка или крестная? Если не может вернуться Элайза, почему не явиться подруге детства, отчего никто не постучится в дверь, не скажет: «Я знала вашу мать»? Рассказали бы про всякие мелочи — какие книги она любила, какую еду, какое время года.

— Может, кто-то ее похитил, — разглагольствовал Чарльз, — и держит

в неволе, а она умоляет отпустить ее назад к детям?

— А у нее были мать или отец?

— Вопросы, вопросы, одни вопросы, — вспыхнула Винни, — вам что, больше спрашивать не о чем?



Изобел выяснила происхождение волос Одри (а вот генетические истоки Чарльзовых волос оставались загадкой). Из Южной Африки приехала в гости сестра миссис Бакстер Рона, пощупала гриву Одри, словно драгоценность какую, и сказала:

— У мамы были такие, Мойра, — а миссис Бакстер ответила:

— Знаю, Рона. — И глаза у них налились слезами.

Мистер Бакстер эти сентиментальные волосы не одобрял, как и сестру миссис Бакстер, задорную, непринужденную хохотушку. Смутился, войдя в кухню и обнаружив, что все они сидят вокруг пластмассовой столешницы и грустят, вспоминая материнские волосы, напустился на Одри:

— Лучше бы таблицу умножения поучила — ты еще даже до шести не добралась, — и поспешно ретировался пред лицом столь невоздержной шевелюрной печали.

— Чистый Грэдграйд,<sup>[58]</sup> — засмеялась сестра миссис Бакстер, когда он ушел, а миссис Бакстер нервно улыбнулась и разрежала «Мадейру» с вишней и миндалем, пирог храбро сигнализировал им кружком засахаренных вишен, похожих на большие капли яркой крови.

Явление сестры миссис Бакстер сопровождалось обильными воспоминаниями. Выяснилось, что до смерти матери детство у них было просто идиллическое.

— Мы столько веселились и играли, визжали вечно так, что уши закладывало, да, Мойра?

Невзирая на долгие годы под африканским солнцем, сестра миссис Бакстер сохранила переливчатый акцент, вересковый и холмистый, а «Джон Андерсон, мой старый друг»<sup>[59]</sup> пела так красиво, что миссис Бакстер расплакалась.

— О да, — сказала миссис Бакстер с отсутствующей улыбкой, — чудесные были деньки. — Вспоминая свою жизнь до мистера Бакстера, она всегда очень грустила.

И что же у них было в идиллическом детстве?

— Ну-у, — сказала Рона, — пикники, переодевания, малка пьески

ставили, — тут они хором захохотали, — и еще игры, мама знала замечательные игры...

Тут миссис Бакстер взвизгнула, замахала руками, выбежала из кухни, а вскоре вернулась, соня, и сунула сестре в руки красную книжицу. Тут дар речи потеряла Рона — заплясала на месте, заверещала:

— «Домашние забавы» — они у тебя!

— Да, — просияла миссис Бакстер. — «Отравленное место», — засмеялась она, чуть не плача. — «Лимонный гольф»? «Всех предметов непредсказуемое катается лимон!» — прочла она.

— «Человеческий крокет»! — закричала сестра миссис Бакстер, от восторга совсем обезумев. — Мой любимый. — Играли в него, объяснила она, на газоне у пасторского дома. — Чудесный у нас был газон. Такой зеленый, — вздохнула она с тоской изгнанника. — Но для «Человеческого крокета» нужно много народу, конечно.

— И у всех должен быть верный настрой, — прибавила миссис Бакстер.

— Да уж, — согласилась ее сестра.

В итоге все они устроили налет на вазу с фруктами. Сначала сыграли в «Лимонный гольф» в гостиной на ковре всевозможными предметами — тростями, старой хоккейной клюшкой, ножкой от стула из шкафа под лестницей и (как легко догадаться) лимонами. Затем последовал энергичный раунд «Апельсиновой баталии», в которой оживилась даже Одри, и несвоевременное появление мистера Бакстера — миссис Бакстер как раз отбивала сестрин апельсин чайной ложечкой — не вполне рассеяло праздничную атмосферу.

Назавтра сестра миссис Бакстер отбыла назад в Южную Африку, и миссис Бакстер очень загрустила. И к тому же, видимо, стала очень неуклюжей — ходила вся черно-синяя, как из скверного анекдота.

— С лестницы упала, — сказала она, — вот растяпа.

Лучше бы растяпа миссис Бакстер побереглась.



Пролетело время. Целых семь лет. Элайза не вернется — она мертва, не лучше Гордона.

«Арден» разлагался — мокрая гниль на полу, сухая гниль на лестнице. Окна заклинивает, двери перекашивает. Шелушатся обои. Пыльные

хрустальные капли на Вдовьей люстре увиты тончайшей паутиной, звенят и брякают на яростных сквозняках, что шныряют по всему «Ардену», словно Борей и Эвр устроили состязание где-то вблизи прихожей или великий орел Хрёсвелг нарочно, чтоб всех позлить, носится по дому туда-сюда.

Прочие дома на древесных улицах ремонтировались и обновлялись, только «Арден» пребывал нетронутым с тех пор, как градостроитель лично приладил на крышу последнюю чешуйку уэльского сланца.

В саду расплодились жабы и лягушки, мыши и кроты, миллион садовых птиц. Крапива до пояса, земля исчерчена снытью, ежевичный колтун не спеша продирался по саду к задней двери. Вдову бы кондрашкахватила.

— Там кто-то за дверью, — говорит Винни, престарелой кошачьей сивиллой взирая в огонь.

Винни тоже несколько плесневеет — в морщины набилась пыль, жидкие волосы тончают, как паутина.

— Я никого не слышал, — отвечает Чарльз (ныне до крайности неприглядный тринадцатилетка).

— Это не значит, что там никого нет, — отвечает Винни.

Чарльз идет через кухню к задней двери, и за ним следит остекленевший глаз объедков «Печеной головы трески». Чарльз открывает дверь — Винни не ошиблась. На крыльце стоит человек. Он снимает шляпу, удрученно улыбается, надтреснутым голосом говорит:

— Чарльз? — (Тот пятится.) — Помнишь меня, старина?

Даже если бы в кухне приземлился инопланетный корабль и оттуда выступил отряд марсиан, это бы Чарльза не так потрясло.

— Папа? — шепчет он.

Винни, ворча, пробирается в кухню, но, узрев Гордона, лишается дара речи. И отчетливо зеленеет.

— Вин?

— А, это ты, — наконец произносит она.

Входит Изобел, с любопытством оглядывает незнакомца — какой-то он странный, что-то в нем не так, но неясно что.

— Папа? — снова говорит Чарльз.

Папа? Это как? Гордон умер, его убил желтый туман, семь с лишним лет уже прошло. А это кто — призрак? Глаза призрачные, но бледности нет — худой, загорелый, будто на солнце работал. Они воображали его человеком с фотографии в рамке — летчицкая форма, кудри, веселая

улыбка. А этот Гордон — призрак или самозванец — коротко стрижен, просвечен солнцем, и огрызки его улыбки отнюдь не веселы.

— Пана? — беспомощно повторяет Чарльз.

— Ну ты рад, старина? — шепчет Гордон — сам так огорошен, что еле говорит.

— Но ты же умер, — отмечает Изобел.

— Умер? — Гордон вопросительно смотрит на Винни, а та пожимает плечами: — дескать, я тут ни при чем. — Ты им сказала, что я умер? — не отступает Гордон.

— Мама сочла, что так будет лучше, — напрягается Винни. — Мы думали, ты не вернешься.

История вдруг переменялась. Гордон жив, а не мертв, — возможно, первый земной скиталец, возвратившийся из неизвестного края.<sup>[60]</sup> Мир больше не подчиняется законам логики, которая диктует, что мертвые мертвы, а шустрые шастают по земле. Гордон не входил в ватную стену, не тонул в желтом тумане. Это все была ошибка.

— Кто-то ошибся? — недоумевает Чарльз.

М-да, подтверждает Гордон, мрачно уставившись в стену у них за спиной, — они даже оборачиваются глянуть, нет ли там кого. Никого нету.

Другого человека (мертвеца) по ошибке приняли за Гордона, у Гордона внезапно случилась амнезия, он уехал в Новую Зеландию, не зная, что он настоящий Гордон, не зная, кто он такой. Вообще ничего не зная. Может, слишком часто играл в «Кто я?» и запутался?

«Амнезия», — говорил он потом кому-то, а они подслушали — так же они подслушивали, как Вдова говорила: «Астма», когда Гордон уехал из «Ардена» целую жизнь назад. Слова немножко похожи, — может, Вдова и Гордон их перепутали?

— Я хочу вас кое с кем познакомить, — сказал Гордон, слабо и не без оптимизма улыбаясь. — Она ждет в машине.

Чарльз странно булькнул, точно задыхается.

— Мама? — спросил он, распятый между невозможной надеждой и невыносимым отчаянием.

Гордон скривился, и Винни поспешно объяснила:

— Удрала с красавцем-мужчиной. — Гордон уставился на нее, будто не в силах понять, и Винни нетерпеливо повторила: — *Элайза*, она удрала со своим красавцем-мужчиной.

От имени Элайзы ему явственно поплохело.

— Да? — наступал Чарльз.

— Что — да, старина? — Гордон совсем ошалел.

— Там в машине мама?

Гордон задумался над ответом очень надолго, но в итоге медленно покачал головой и сказал:

— Нет, не мама.

— Приветик, — вдруг произнес жизнерадостный голосок, а все четверо вздрогнули и обернулись к женщине на крыльце. — Я ваша новая мамуля.

Второе пришествие Элайзы, которое восстановит подлинную справедливость и воздаст за страдания (счастливый финал), больше не маячило за каждым поворотом. И если мертвый Гордон стал живым, вероятно, живая Элайза может обернуться мертвой.

— Где она ни есть, — грустно сказал Чарльз, — хватит себе врать, Иззи, — она не вернется.

**НБІНЕ**

## Опыты с инопланетянами

Дебби не дается наречение младенца. Я думаю, это потому, что младенец по праву не ее, личность его, будем честны, под вопросом, имя лишит его истинного наследия. (Впрочем, знает ли младенец, кто он есть?)

— Шерон? — экспериментирует Дебби на Гордоне. — Или Синди? Андреа? Джеки? Линди? Старомодного нам не надо. — Вроде, скажем, Изобел.

Дебби оказалась права: на древесных улицах младенца приняли, даже не пикнув, и, поскольку никто не заявил об утере новорожденного, нам он, видимо, достался на всю жизнь. Может, и впрямь подменьш, всученный нам по ошибке, — эльфы не сообразили, что у нас нет настоящего ребенка на обмен, потому что, разумеется, каждые семь лет им полагается платить преисподней десятину человеческой жизнью.

Одного лишь младенца Дебби считает подлинной личностью (вероятно, потому, что личность его так мала), хотя и с нами, двойниками-роботами, общается прежним манером.

Дебби пьет слоновьи дозы транквилизаторов, которые видимой пользы не приносят — явно не унимают странную одержимость, которая Дебби уже не отпускает, — она вечно моет руки, вытирает дверные ручки и краны, закатывает истерики, если сдвинуть вазу хоть на дюйм. Может, это ритуалы, охраняющие от помешательства, а не симптомы оного.

— Ей, дьявол ее дери, психиатр нужен, — громко и сердито говорит Винни Гордону.

— Мозгоправ? — вопит Дебби. — Вот уж нетушки!

Продолжительно пошарив в дальних закоулках мозга, Юнис (вслась пощелк-щелкав) извлекла собственный диагноз:

— Синдром Капгра.

(Миссис Бакстер поставила другой: «Много странен».)

— Синдром Капгра?

— Когда считаешь, что близкие родственники заменены роботами или двойниками.

Надо же. — (Ну а что тут скажешь?)

— Ученые верят, — (мне кажется, тут противоречие в терминах), — что это состояние связано с известным феноменом дежавю. — (А вот это уже интересно.) — Связано с нашей способностью к узнаванию и запоминанию. — (А что не связано?) — Первый известный случай

зафиксирован в тысяча девятьсот двадцать третьем году — пятидесятитрехлетняя француженка сообщила, что всю ее семью заменили на двойников. Через некоторое время стала жаловаться, что то же самое случилось с ее друзьями, потом с соседями и наконец вообще со всеми. В итоге сочла, что ее везде преследует ее двойник. — (Ага-а!)

Юнис отчасти подрывает научный авторитет этого заявления, глубоко затягиваясь «Сеньор Сервис» — в последнее время она шагает цветущей тропой утех<sup>[61]</sup> (надеюсь, цветут там примулы — было бы уместно), — и куда тропа эта приведет? Надо думать, к сексу и смерти.

Но что, если это правда? Что, если у меня и в самом деле есть двойник? Миссис Бакстер, к примеру, сообщает, что видела, как я вчера покупала шампунь в аптеке «Бутс», хотя мне достоверно известно, что я сидела на паре английского, а точнее («Около половины одиннадцатого, деточка?»), где-то между

Они бегут меня, хотя искали прежде,

и

Их лапки робкие ступали в мой покой.<sup>[62]</sup>

Кого она видела? Меня из параллельного мира, моего доппельгангера из этого? («Двойника?» — удивляется миссис Бакстер.) Порождение моего собственного синдрома Капгра? Мы знаем, кто мы, но не знаем, кем можем быть. Может быть. Может, и нет.

— На Луну улетела, Изобел? — рявкает Дебби.

— Извини, — рассеянно отвечаю я.

Она по-прежнему извергает список имен:

— Мэнди, Кристал, Кёрсти, Патти... ох господи, я не знаю, попробуй ты, — устало говорит она.

Младенец (в кои-то веки заткнувшись) взирает на меня так, будто впервые видит, — может, синдром Капгра заразен. Я заглядываю в глубину мутных глаз, затуманенных сомнением; на макушке у младенца появился червонно-золотой пух.

— Родничок, — произносит Дебби; впервые слышу такое имя. — Это не имя, дурочка, — говорит Дебби, гордясь своим знанием новорожденной анатомии, — это мягкое место на черепе, — (под червонно-золотым

пухом), — где кости еще не сомкнулись.

Мне на ум взбредают яйца со снятой верхушкой.

— Наверное, лучше бы детей этим местом не ронять?

— Лучше бы детей не ронять, точка, — сурово отвечает Дебби.

Я понятия не имею, как назвать младенца, ну честное же слово. Можно Пердитой.



— Тебя подвезти? — спрашивает Малькольм Любет (вернувшийся на каникулы), встретив меня по дороге из школы.

У Юнис шахматный матч, у отсутствующей Одри, видимо, снова грипп. Надо с Одри поговорить.

— Подвезти? — переспрашиваю я, от голода внезапно слабея.

— На машине, — поясняет он, тряся у меня перед носом ключами, словно в доказательство, что залучает меня не в портшез и не в телегу.

— На машине? — Надо перестать за ним повторять.

— Отец только что купил, — говорит он в непонятной печали.

— Купил?

— Я думаю бросить медицину, — он открывает мне дверцу, — а отец меня подкупает, чтоб я остался в Гае.

По-моему, неплохая взятка. Я б осталась на медицинском, если б мне купили машину. Не то чтобы я когда-нибудь *поступила бы* на медицинский. («Там, где ты родилась, — саркастически осведомляется мисс Томпсетт, — знают, что такое наука, разум и логика?» Где бы это? Алогичная Иллирия, планета неразумных.)

— А ты что? Хочешь бросать?

Малькольм вздыхает и заводит мотор.

— Я вот иногда думаю, неплохо бы, знаешь, уехать и исчезнуть. — Почему все, кроме Дебби, хотят исчезнуть? Может, подучить Гордона опять начать фокусничать, поупражняться с исчезновениями на Дебби? А еще лучше — распилить ее напополам. — Мою жизнь уже все спланировали, — говорит Малькольм, а я роюсь в бардачке в поисках съестного. Даже покореженной мятной пастилки нету. — Ты хочешь домой? — спрашивает он, когда мы тормозим на светофоре.

— Да не особо, — неопределенно отвечаю я: вдруг у него есть предложения получше (к востоку от солнца, к западу от луны<sup>[63]</sup>).

— Поехали со мной в больницу? Мне к матери надо.

— Чудесно. — Мне все равно: если я с Малькольмом, можно навестить также морг, склеп и геенну огненную.

— Рак, — говорит Малькольм, въезжая на больничную парковку. — Очень быстро развивается, сжирает ее заживо.

Я как раз грезил о том, как он бросает меня на постель под пологом и говорит, что я гораздо красивее Хилари, — слово «сжирает» кошмарно дерет мне мозг.

— Ужасно. — Интересно, он прихватил шоколад или виноград?

Стульев нет, и мы обступаем подушку миссис Любет с флангов, точно кривые книжные подпорки. Видно только ее голову — прямо Беккет какой-то, — а волосы смахивают на груды весьма пожатых стальных посудных мочалок.

— Привет, — говорит Малькольм, наклоняется и нежно целует ее в щеку.

Она отгоняет его, точно крупную муху. Судя по звуковому сопровождению, пару мочалок она проглотила — скорее хриплый лай, чем мелодичное умирание. Но ведь она людоедка — а ты чего ждала, говорю я себе, и вообще, она же *умирает*.

— Это кто? — каркает она. — Иди сюда, ближе подойди, это Хилари? — И клешней вцепляется мне в локоть, подтаскивает ближе — от человека на пороге смерти не ожидаешь такой силищи.

— Она меня совсем не узнает («Ну само собой! — восклицает миссис Бакстер. — Ты была гадким утенком, а теперь ты...») — и умолкает. «Прекрасный лебедь», — подсказываю я. Но мы обе знаем, во что превращаются гадкие утята. В гадких уток.)

— Ты же говорил, она красивая? — упрекает миссис Любет сына, потом вздыхает. — Ну что делать — наверное, сойдет.

Для чего сойдет? Для жертвоприношения девственницы, дабы миссис Любет вновь обрела здравие? Но нет, она, похоже, на смертном одре препоручает своего отпрыска моим заботам.

— Бери его, — беспечно велит она из груды белых хрустящих простынь. — Позаботься о нем за меня, Хилари. Кто-то же должен.

Я нервно хихикаю и объясняю, что я не та, — очевидно, рак уже пожевал ей мозг, — но потом соображаю, что меня вполне устраивает замещать принцессу Хилари, захопываю рот и молча разглядываю силуэт миссис Любет под бледно-голубым больничным покрывалом. Может, она сейчас из-под одеяла достанет священника, обвенчает нас, а когда Малькольм поймет, что я не Хилари, будет слишком поздно.

Миссис Любет что-то великовата — ее ведь сжирают? Впрочем, если приглядеться, силуэт ног неотчетлив. Вот было бы интересно, если б недуги начинали со ступней и продвигались вверх. Наверное, со временем голова становилась бы все горластее.

Невежливо расстраивать умирающую, но все-таки с ее стороны отчасти беспардонно (хоть и естественно) с такой готовностью вручать сына первой же встречной. Я, конечно, хочу его, но хочу ли я о нем заботиться? Разве полагается не наоборот? (Перед глазами вдруг всплывает голова — «Помоги мне...») В животе громко урчит — как неловко, — но перекусить тут нечем, если не считать, конечно, самой миссис Любет.

В конце концов после бесконечной и крайне бестолковой светской беседы миссис Любет довольно нелюбезно с нами прощается. В дверях больницы мы сталкиваемся с мистером Любетом — весь такой важный, на шее стетоскоп.

— А ты что тут делаешь? — набрасывается он на сына. — Тебе учиться надо, если каникулы, это не значит, что можно лодырничать! — Несколько чрезмерная грубость, — в конце концов, мать умирает только раз в жизни (если, конечно, тебе повезло и ей не взбрело в голову опровергать законы физики).

Бедный Малькольм. Надо думать, все несчастливые семьи похожи друг на друга (но каждая счастливая семья, разумеется, счастлива по-своему).<sup>[64]</sup> Но встречаются ли счастливые семьи — или, если уж на то пошло, счастливые финалы — вне беллетристики? И какой такой финал, если ты еще не умер? (А тогда в чем счастье?) Вот моя неминуемая смерть — от голода — вряд ли будет счастливой, если, конечно, я сначала не поцелую Малькольма Любета.

— У тебя нет чего-нибудь перекусить, Малькольм?

— По-моему, в кармане куртки яблоко.

Как это интимно — сунуть руку в чужой карман и к тому же извлечь пищу, красивое красно-розовое яблоко, в иной сказке оно было бы вымазано ядом. Но в нашей не так.

— Спасибо.

Мы заезжаем за картошкой с рыбой на улицу Тейта — вот это я понимаю — и съедаем свои кульки с картошкой, припарковавшись на холме Прыжок Влюбленных, откуда ни один Влюбленный в жизни не Прыгал, по крайней мере на памяти ныне живущих. Разумеется, в памяти умерших все может оказаться иначе.

С Прыжка Влюбленных открывается панорама Глиблендса и

окрестностей: на запад простираются фабричные долины, на юг — дикие пустоши, на север — пасторальные холмы да леса. Днем небо здесь огромно — виден изгиб гигантского шара Земли. В темноте Глиблендс земным созвездием подмигивает у нас под ногами.

— Как будто... — внезапно говорит Малькольм, хмуря прекрасный лоб, подбирая верные слова, — как будто ты только *притворяешься* собой, а внутри у тебя совсем другой человек и его надо прятать.

— Да? Не совершенно *такой же* человек, который за тобой хвостом ходит?

Он странно на меня косится:

— Нет, кто-то другой внутри, и ты знаешь, что людям он не понравится.

— Как толстый человек в худом? И вообще, ты всем нравишься, — увещаваю я, — даже *мистеру Бакстеру*.

— Это только снаружи, — отвечает он, глядя в лобовое стекло.

Ничего нету (наверное) между нами и Полярной звездой. Малькольму повезло, что он нравится людям снаружи, — вот Чарльза никто не любит, ни снаружи, ни внутри. Малькольм обнимает меня за плечи (о, невыразимое блаженство), говорит:

— Хороший ты друг, Из, — и отдает мне последний ломтик картошки. — Ну, — прибавляет он, — наверное, пора назад.

Не будет, значит, поцелуя, не говоря уж о Прыжках.

— Ну да, — говорю я, давя в себе разочарование.

Я прямо статуя Терпения. Сколько еще молчать моей страсти? Пока мне не отрежут язык, пока сардинный мой серебристый чешуйчатый хвост не раздвоится неуклюжими неподатливыми ногами? Вряд ли стоит тянуть так долго.

Малькольм везет меня домой, и в свете фар на Каштановой авеню я вижу женщину. Элегантное обтягивающее платье из набивного шелка, такое же болеро, шляпка — словно только что с приема в саду, ноябрьским вечером смотрится несообразно. Подол до середины икры, а ноги ниже тоже несообразные, очень мускулистые, как у балеруна.

Что-то в ней не так («Что такое?»), и, когда она сворачивает на дорожку к «Авалону», дому Примулов, я пытливо вглядываюсь в окно. Женщина стоит под фонарем на крыльце, на миг ее черты ясно различимы, и, невзирая на тонны грима, не говоря уж о парике, черты эти, несомненно принадлежат мистеру Примулу. Наверное, репетирует, импровизирует персонажа на выходе. Хотя кто его знает. Как обманчива порою внешность.

В «Ардене» натыкаюсь на Винни — она бродит туда-сюда по коридору, укачивая младенца, и в уголке рта ее, в тщетной попытке избавить дитя от пепельных осадков, болтается сигарета. Почему ребенка доверили Винни?

— Потому что больше некому. — Она опасно косится на младенца. Тот от крика вот-вот лопнет.

— А Дебби где?

Винни ядовито хмыкает:

— Горку небось караулит.

И в самом деле, Дебби ведет наблюдение за содержимым горки в столовой.

— Едва отвернусь, — негодует она, тыча пальцем в пару вустерских тарелок и дрезденскую пастушку, — они давай егозить.

— Правда?

— Но они не дураки — как сюда кто зайдет, ни на дюйм не сдвигаются.

Синдром Капгра тут ни при чем, правда?

— Ты ведь не считаешь, что это твои близкие?

Взор ее полон презрения до краев.

— Я еще не совсем идиотка, Изобел.

Но отличит ли она сокола от сороки?<sup>[65]</sup> Вот в чем вопрос.

Она удаляется, позабыв про ревущего младенца, откуда-то из-под одежды извлекает тряпку для пыли и политуру (а скоро белых кроликов научится доставать) и давай надраивать дверные ручки. Снова и снова. И потом еще немножко.

— Он повез тебя к умирающей матери в больницу, — недоумевает Одри, — а ты считаешь, это было *свидание*?

Я валяюсь у Одри на постели. Она такая одухотворенная, как Лиззи Сиддал с «Блаженной Беатриче» Россетти.<sup>[66]</sup> Блаженная Одри. Честное слово, надо с ней поговорить. Но что тут скажешь — «Кстати, Одри, ты не оставляла у нас на крыльце ребенка?» Ей одной я поведала, что младенец не родился у Дебби как полагается, вообще никак у нее не родился, — надеялась, что Одри прояснит загадку.

— Ты нормально, Одри?

— А что со мной будет?

— Ты ничего не хочешь мне... э-э... рассказать?

— Нет, — отвечает она и отворачивается.

(— А тот красивый платок, что вы вязали, — невзначай говорю я миссис Бакстер, — ну, помните, для племянницы в Южной Африке. Ей... э-э... понравилось?)

— Ой, она еще, наверное, не получила, — отвечает миссис Бакстер. — Я наземной почтой послала, ребеночек-то через месяц только родится. Целая вечность, — прибавляет она, хотя неясно, имеет она в виду доставку почты в Южную Африку или созревание плода.)

Возвращаюсь в «Арден» с новым вязаным чепчиком для младенца и еще теплой кастрюлей лимонного крема, которую оставляю на кухонном столе, ни слова не сказав Дебби, поскольку та увлеченно расставляет по алфавиту содержимое шкафа под раковиной (от «Аякса» до «Уиндолина»).

Винни, очевидно, снова взялась за стряпню и возит ложкой в большом горшке (как-то раз его конфисковали, и он сыграл ведьмовской котел в «Макбете» постановки «Литских актеров»), где булькают телячьи мозги.

— Попробуй, — предлагает она, выудив из котла нечто неопишное.

Я немедленно отказываюсь и поднимаюсь к себе.

Доходит до меня постепенно. Скажем, чудной ковер «Осенние листья» заменили старым и старомодным, красно-сине-зеленым (гораздо симпатичнее), а лестница внезапно прорастила ковровые рейки (вероятно, глагол «прорастила» не вполне описывает внезапное явление реек, но как еще описать? Избежав слова «дождь»?) На площадке я глубоко задумываюсь. Новые обои с флоком тоже исчезли, их сменила плотная анаглипта, кремово-белая поверх деревянных панелей — в эпоху Дебби давно убранных — и темно-зеленая снизу.

Видимо, я в прошлом. Вот так вот. Но это что — мое прошлое? Я озираюсь, ищу подсказки — сейчас я увижу, как младшая я выходит из комнаты? (Может, так и заводятся дубли? Их заносит из прошлого?) Я слышу шаги и оборачиваюсь. В прихожую вошла девушка (не я), теперь она поднимается по лестнице. Платье с низкой талией, подол уголком над худыми лодыжками, — видимо, я прибыла в 1920-е.

Не замечая меня, она проходит мимо (к счастью, не сквозь меня — неприятно бы получилось) и направляется на чердак. В припадке любопытства я иду за ней в собственную спальню — она моя, однако не моя, — где девушка сидит перед громоздким викторианским туалетным столиком и разглядывает себя в зеркале. Судя по платью — вручную тканый бирюзовый шелк с крупными бирюзовыми розетками, наряд поразительного уродства, — и числу отвергнутых облачений, разбросанных по захлавленной комнате, хозяйка собирается на вечеринку.

Она не красавица, но лицо приятно и открыто — в нем читается юный оптимизм, которого, похоже, не досталось нам с Чарльзом, да и Одри тоже. Девушка надолго застывает перед зеркалом, потом распускает узел волос на затылке, берет со столика большие портновские ножницы и одним неловким щелчком избавляется от шевелюры.

В результате на голове катастрофа, но девушка подравнивает прическу — выходит нечто а-ля эмансипе, — нацепляет на голову эдакую индейскую ленту из блесток и созерцает себя не без удовольствия. Снизу приплывает невнятный голос — он сообщает, что мистер Фицджеральд прибыл и уже теряет терпение.

Девушка выходит, я за ней по пятам. На площадке она чуть не спотыкается о мальчика — лет семи-восьми, симпатичного, в матроске, — и при виде обрванных локонов тот ахает. Она не обращает внимания. Мы спускаемся гуськом, она входит в гостиную, и кто-то невидимый вопит:

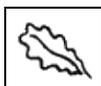
— Твои волосы! Что ты сделала с волосами, Лавиния? — а неуверенный мужской голос (мистер Фицджеральд, я полагаю) произносит:  
— Боже святой, Винни, ты что натворила?

Винни! Я бы ни за что не узнала свою тетку в этой юной девице. Век живи. «Арден» ее юности гораздо уютнее того, который мы населяем теперь, — он пахнет лавандой и ростбифом, он блещет скромным достатком. Я собираюсь проскользнуть за Винни в гостиную, и тут меня осеняет замечательная мысль: мальчик на лестнице, красивый блондинчик в матроске, — это же, наверное, мой отец!

Я разворачиваюсь и бегу наверх, но поздно — лестницу вновь покрывают «Осенние листья», а мальчик в матроске выходит из не ахти какой спальни, и глаза у него усталые, волосы поседели и редеют, а наш нелепый крылечный младенец поливает его шотландский пуловер молочной отрыжкой.

— Привет, Иззи, — говорит Гордон, удрученно улыбаясь, — чем занимаешься?

— Да особо ничем, — отвечаю я, напуская на себя бодрость. Рассказать — не поверит. Скоро всех нас сдадут мозгоправу.



— Глянь, — говорит Чарльз, украдкой сунув руку в карман.

— Чего?

Он протягивает мне локон, черный завиток, обвязанный истрепанной и

поблекшей красной лентой.

— *Ее!* — торжествует он. Псих психом.

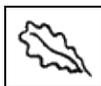
— Да с чего ты взял? Где ты его нашел?

— На нижней площадке, в этой банке на окне. — (Ну да, фарфоровая спондская шкатулка, с крышкой, но я заглядывала в нее не раз, и там даже ресницы не завалялось, не говоря о локоне.) — Может, из воздуха возник, — напирает Чарльз. — Это как улики искать, да?

— И что мы с этими уликами разгадаем?

— *Ее*, — шепчет Чарльз, будто нас подслушивают. — Где она.

Локон, пудреница, дважды потерянная туфля, странный запах — так себе карта местности. В суде из этих улик маму не склеишь. С такими уликами только расклеишься сам. Не желаю даже касаться локона. Не надо мне черных прядей, мне надо Элайзу целиком, чтоб жила и дышала, целого человека, обернутого кожей, и чтоб волосы росли из корней на голове, а вены пульсировали кровью, красной, как зарянка. Почему нельзя вернуться и найти *ее*?



Все холодает и холодает. И опять холодает. Может, наступило начало Чарльзовой вечной зимы, землю сковало ледяное заклятье? Я в «Ардене» привыкла мерзнуть, от меня будет масса пользы в полярных экспериментах — сколько времени девочка ростом пять футов десять дюймов и весом десять с половиной стоунов проживет в Антарктиде без термостюма? Если *ее* воспитывали в «Ардене» — хоть целую вечность.

Пытаюсь согреться, в спальне сижу в перчатках, шарфе и шапке, завернувшись в стеганое покрывало, точно скво у сиу. Масляное центральное отопление, на котором ценой великих трат настояла Дебби, еле-еле работает на первом этаже. Я прямо чувствую, как сворачивается кровь, костный мозг покрывается ледышками, а кости вот-вот зазвенят сосульками и разобьются. Проводятся форсированные испытания моей полярной пригодности, но я пока выживаю, хотя при всяком выдохе почти исчезаю в белом облаке мороженого воздуха. Почему нельзя залечь в спячку, как белки и ежики? Это же разумнее? Я бы свернулась под огромной грудой одеял и покрывал и высунула бы нос, лишь когда воздух снова прогреется по весне.

Пишу сочинение о «Двенадцатой ночи» — «Порою внешность обманчива: обсудите». Я люблю переодетых героинь Шекспира, Виол и

Розалинд; если вдуматься, я бы лучше была ими, чем какой-нибудь Хилари. Будь я Виолой, мы бы слились с Себастьяном — одно лицо, один голос, один наряд, но два человека (две половинки яблока). Может, и инцест не так ужасен, если с близким человеком. С Малькольмом Любетом, скажем.

Я вспоминаю мистера Примула — Розалинда и Ганимед, Виола и Цезарио, тело одно. Видимо, все дело в восприятии — то, что видишь, зависит от того, что видится. И вообще, как понять, реально ли то, что мы видим? Реальность спешно удрала в окно, как только в дверь ступило восприятие. И если уж совсем глубоко вникать, откуда мы знаем, что реальность существует? Батюшки, батюшки мои, скоро я стану солипсисткой, как епископ Клойнский.<sup>[67]</sup> Я *сама-то* хоть знаю, кто я есть? «Но главное: будь верен сам себе»,<sup>[68]</sup> — временами цитирует Гордон (впрочем, теперь перестал). И которому себе?

«Двенадцатая ночь», пишу я со вздохом (и не без труда — в перчатках неудобно), — это пьеса о мраке и смерти, в ней музыка и комизм подчеркивают то, что таится за кругом золотого света, — тьму, неизбежность гибели, свойство времени разрушать абсолютно все. («Но, Изобел, — мягко возражает учительница английского мисс Холлам, — это же *лирическая комедия*».)

Если б я могла вернуться в прошлое (а я могу — я помню, да) и встретиться с Шекспиром, я бы попросила его подтвердить мое прочтение «Двенадцатой ночи». Вот удивится-то мисс Холлам — «Да, мисс Холлам, но Шекспир *сам* говорит, что тема *carpe diem*<sup>[69]</sup> в „Двенадцатой ночи“ морбидна по определению...» Разумеется, мисс Холлам сочтет, что я не в своем уме.

Гляжу в окно на голые черные ветви леди Дуб, процарапанные на слоновой кости предвечернего неба. Стаи ворон наперегонки с сумерками мчатся в укрытие. Грачи поспешно расселись по веткам, и, когда последнее крыло замерло под надлежащим углом, а последнее «кар» растворилось за гранью эха, ни за что не догадаешься, что на дереве полно птиц, если не приглядывалась и не видела, как они прикинулись черными листьями.

Близится полночь года — я уже чувствую, как подкатывает хандра солнцестояния. А ведь дождь, он хлещет каждый день.<sup>[70]</sup> Надо бы пойти погулять под рождественскими гирляндами Глиблендса, посидеть в кофейне «Три Дж» — даже кофе с молоком и шоколадным батончиком в обществе Юнис предпочтительнее этой меланхолии. Я вся из отсутствия, мрака, смерти — из того, чего нет.

Падаю на спину, завернутая в покрывало, одурманенная скукой и

холодом, и утешаюсь, воображая, что сейчас канун святой Агнессы<sup>[71]</sup> и в любую минуту мой возлюбленный из сновидений (Малькольм Любет) пересечет порог, и овладеет мною, и унесет меня прочь от этой тоски смертной. И тут стучат в дверь.

— Войдите, — с надеждой говорю я, но это никакой не возлюбленный из сновидений, это всего лишь Ричард Примул — стоит на пороге и нервно мнетя (странное занятие), будто хочет в туалет. — Ты как сюда попал? — спрашиваю я, напуганная крайним его уродством.

— Твоя мамка впустила, — говорит он, обидевшись, что я обвиняю его во взломе.

— Моя мамка? — опять пугаюсь я, но потом соображаю, что он имеет в виду мамку Дебби.

— Поздравляю, — неловко говорит Ричард.

— С чем?

— С ребенком.

— С ребенком? — (Сильно сомневаюсь, что нас есть с чем поздравлять, — слышно, как вопли внизу омывают лестничные обои с флоком; впечатление такое, будто младенца вот-вот порубят на начинку для пирога.) — Ты за этим пришел?

— Нет, — ворчит он и морщит нос, учуяв запах грусти. — Я думал, может, погуляем?

— Погуляем? — тупо переспрашиваю я. (Льет как из ведра, с какой радости мне гулять?)

— Погуляем, — сварливо повторяет он, громко и ясно, будто я иностранка. Или идиотка.

Он так пристально смотрит мне за левое плечо, что я оборачиваюсь — что это там, кто там? Ничего и никого, разумеется.

— Погуляем, — осторожно повторяю я. — В смысле что, — да быть такого не может, — на свиданку?

— Ну, — дуетя он, — необязательно это так называть, если не хочешь.

Волной подкатывает легкая истерика.

— И как же мы это назовем? Гражданка? Берданка?

Ричард некрасиво краснеет, что подчеркивает несметные прыщи, и вдруг падает на меня и толкает на постель. Он поразительно тяжелый — из какого-то инопланетного металла, наверное, у меня из легких со свистом выжимается воздух. Ричард меня целует — если это можно так назвать, отвратительно, слюняво и склизко, пытаюсь пропихнуть язык сквозь крепостную решетку зубов. Где в минуту трудную все разрывы

пространственно-временного континуума? Или Пес? Или дровосек?

Язык обнаруживает мои десны, что Ричарда ужасно возбуждает, и он вынужден переменить позу и сдвинуть некий орган, который распухает как на дрожжах, — тут мне удастся высвободить колено и заехать ему в опухшую промежность. Он скатывается с постели на пол, хватаясь за свой сдувающийся воздушный шарик, потом вскакивает и с криком:

— Ах ты, сука, я тебя хотел на вечеринку позвать, а теперь ни за какие деньги, — разворачивается и убегает.

— Чтоб ты сдох! — кричу я ему вслед.

Это надо же, какая наглость — я бы скорее вступила в любовную связь с Псом, чем с Ричардом. Собственно говоря, возникает вопрос: отчего скотоложство осуждается обществом и, однако же, половой акт с каким-нибудь Ричардом считается совершенно *нормальным*?

И вообще, не нужен мне Ричард с его вечеринкой, у меня своя будет. И закатывает ее Хилари — не хухры-мухры. Выхожу после английского, и она вручает мне приглашение — рукописное, на белой карточке: «Дороти, Хилари и Грэм имеют честь пригласить вас на рождественскую вечеринку». В сочельник.

— Никаких подарков не надо, — говорит она; ей явно не доставляет радости меня приглашать.

Я в растерянности. *Зачем* она меня пригласила? С кем-то перепутала? С моим допельгангером (может, она-то как раз из тех, кого зовут на вечеринки)?

Или Хилари планирует жестоко отомстить за то, что я ненароком заняла ее место красавицы-подруги в хрустальных туфельках и была представлена только что стертой из жизни матери Малькольма? (Потому что его мать, как выяснилось, умерла. Я заходила выразить соболезнования, но никого не застала.)

— Ой, — говорит миссис Бакстер, радуясь великой моей удаче. — Сшить тебе платье на праздник?

— Вы уверены? До Рождества-то всего ничего осталось.

— Ох-х, не волнуйся [«не се тревожете»]. Выкрою времечко.

Из чего она его выкроит — из ткани самого времени? Распустит и свяжет заново?



Неугомонный Пес протиснулся ко мне в комнату (иногда ему приспичивает за ночь перепробовать все постели в доме) и мертвым грузом возлег в изножье. Во сне он посылает радиосигналы, пронзительно поскуливает, значит, снятся кролики. Пес и я (тут тоже кроется мюзикл) просыпаемся, разом вздрогнув.

Мы оба услышали странный шум, я точно знаю, хотя сейчас опять стоит мертвая тишина. Прокрадываюсь вниз, Пес неслышно ступает следом. Часы в гостиной отбивают два, бой эхом разносится по дому. Пес обгоняет меня и ведет в старую оранжерею. На плиточном полу осколки — однажды в стекло палой звездой врезалась птица. Повсюду земля из разбитых глиняных горшков. Пахнет запустением. Несколько Вдовьих кактусов — те, что повыносливее, — еще живы, щетинят серые пыльные тела.

И вдруг оранжерея полна диковинного света — сверху струится флюоресцентная неоновая зелень. Зеленый свет движется, огибает дом, спускается, висит над садом. Какая-то гигантская зеленая медуза, и она пульсирует энергией. Внутри беспорядочно движутся белые огоньки, точно дуговые лампы, и от этого медуза пульсирует сильнее. Пес прижал уши к голове, точно в полете, приседает на плитках и скулит.

Зеленый свет затопляет меня, наполняет теплой статикой гроз и кварцевых ламп — не ультрафиолетом, но ультразеленью. Мозг вскипает, будто из него никак не выберется неистовый рой крупных недовольных ос. В оранжерее пахнет тухлыми яйцами.

Кружится голова, мне изменяет сила тяготения, я вот-вот оторвусь от земли, улечу неторопливой ракетой через прореху в крыше. Забываю дышать. Зеленая медуза всасывает меня целиком, я в нескольких футах над землей.

А потом бабах — исчезла, испарилась, абсолютно, совершенно, будто и не было никакой медузы. Ночь снова черна, в оранжерее бардак. Смотрю: а один древний кактус позеленел, ожил и алый цветочек ангельской трубой медленно распускается на кончике колючего кактусинового пальца. Протягиваю руку, касаюсь его, и мой собственный палец натывается на иголку.

Ухожу из оранжереи, это не похоже на сон, ступеньки настоящие, воздух холоден, я до смерти устала. Что это было? Прошлое? Будущее? За мной прилетели инопланетные соплеменники? Корабль пришельцев несколько минут провисел над домом — кто-то еще должен ведь был заметить? Миную дверь Чарльза — тот звучно храпит. Бедный Чарльз, он бы за такие события все отдал. Я бы все отдала, чтоб они прекратились.

Наутро от зеленой медузы ни следа, никаких инопланетных сувениров, лишь красный волдырь на уколоте пальце и алый огонек кактусинового цветка.

— Чудо, — говорит Гордон, его увидев.

Бред какой-то. Должны же быть правила касательно разрывов пространственно-временного континуума (скажем, не больше одного на главу), и уж явно полагается хотя бы понимать, в какой точке континуума ты очутился.

Если время не всегда идет только вперед — а в моем случае оно, очевидно, ходит туда не всегда, — нарушаются фундаментальные законы физики. А как же Второй закон термодинамики? И вообще, а как же смерть? Провожу эксперимент: роняю в кухне старую тарелку в цветочек, и она красиво разбивается.

— Ты что делаешь? — спрашивает изнуренная Дебби, забросив на плечо еще более изнуренного младенца.

— Наблюдаю за тарелкой. — (Уж Дебби-то меня поймет.) — Ставлю опыт, хочу выяснить, способно ли время двигаться вспять, — если да, осколки поднимутся и склеятся. — Но Второй закон термодинамики держит оборону, и осколки валяются на полу.

— Да ты совсем помешалась, — говорит Дебби, запихивая младенцу в рот резиновую титьку молочной бутылки.

— Кто бы говорил, — отвечаю я, а затем принуждена спасти захлебывающегося младенца.

Уношу его к себе и кормлю на постели, пытаюсь между тем составить критический разбор шекспировского сонета. М-да, не такими, наверное, виделись ему читатели. Если виделись.



Платье, которое шьет мне миссис Бакстер, будет из какой-то странной синтетики — при ходьбе она искрит. Бледно-розовое, в темных розах, рукава-крылышки, декольте-сердечко и пышная юбка, которую миссис Бакстер сделала еще пышнее, подбив жесткой розовой нижней юбкой-сеточкой, отчего все сооружение напоминает крупный розовый гриб-дождевик.

В альбоме выкроек оно смотрелось мечтой всякой феи, роскошью необычайной — в таком платье любая девица обернется ослепительной

красоткой, глаз не оторвать. (Мы-то знаем, что это вранье, но люди все равно верят.) Лучше бы, наверное, я села под леди Дуб и загадала три платья (потому что одного всегда мало) — первое серебряное, как луна, второе золотое, как солнце, а последнее цвета небес, сбрызнутое серебристыми блестками звезд.

Розовое платье уже пришлось несколько раз подгонять.

— Честное слово, если поглядеть подольше, прямо *видно*, как ты растешь, — добродушно ворчит миссис Бакстер, второй раз отпуская подол.

Платье только что переместилось на меня с портновского манекена, что стоит на часах в углу спальни миссис Бакстер. На манекене смотрелось вполне пристойно, а вот на мне отчего-то ни к черту.

Я похожа на великанскую розовую амебу, в самый раз заполняю наклонное портновское зеркало. Миссис Бакстер стоит передо мной на коленях, что-то бормочет — у нее булавки во рту, — давится и плюется булавками — дождем лилипутских стрел, залпом эльфийских лучников.

Она склоняет голову набок, словно чокнутый спаниель, и говорит:

— Мне показалось, папочкина машина подъехала. — Трясет спаниелью головой. — Ошиблась. У меня совсем ум за разум. Вот совсем. Совершенно вздрюченная, прямо комок нервов.

Комок нервов. Ужасное выражение. Интересно, на что похож этот комок? Скомканный платочек в сумочке у леди Брэкнелл в исполнении мистера Примула? Или большой такой ком (ком истрепанных нервов), как перекаати-поле?

Ядовитые миазмы мистера Бакстера в спальне разбавлены: граненая пепельница и «Ридерз дайджест» на тумбочке, аккуратно сложенная голубая полосатая пижама на левой подушке — вот и все его следы. Вообразить страшно, каково еженощно лежать рядом с «папочкой». Ночное одеяние миссис Бакстер — мягкая розовая нейлоновая ночнушка скромненько уместилась на правой подушке, пара розовых меховых тапочек («чехли») замерла на стоянке у кровати. Вся спальня в женственных цветочках и оборочках, которые мистеру Бакстеру, вероятно, сильно действуют на нервы.

Миссис Бакстер подкалывает мне подол.

— Ну ты подумай, — говорит она, заметив свое отражение в зеркале. — Я прямо огородное платило.

Да уж, выглядит она неважно — волосы хорошо бы помыть и уложить, макияж фрагментарен, будто она накладывала его в темноте. Алые отметины на скулах — как военная раскраска ирокезов, следы побоев

мистера Бакстера, — ее тоже не красят.

— Вот растяпа, на дверь напоролась, — прибавляет она, ощупывая военную раскраску. — Совсем я распустилась, да? — Она печально себя разглядывает. (И что теперь — связать новую?) — Ну вот.

Она закалывает подол последней булавкой, и я кружусь, рассматриваю себя, заполняю зеркало розовым вихрем (и на миг меня посещает тревожное воспоминание о молодой Винни в бирюзовом платье). Хочу к маме — она бы посоветовала, сказала бы, что розовый мне не идет, что розы слишком пышные и что мне нужен тугой пояс, — с ним я не буду казаться дылдой.

— Очень красиво, деточка, — говорит вместо этого миссис Бакстер.

После примерки мы спускаемся в кухню поесть выпечку, будто нарочно придуманную для помешанных. Пирожные-грибочки — печеные корзинки с желе, сверху кофейный крем, расчерченный вилкой и напоминающий жабры, а в середине торчит марципановая ножка. Благодарение небесам, миссис Бакстер не печет сладкое в виде бледных поганок, расплотившихся под леди Дуб.

Я отношу пирожное Одри — та сидит в гостиной, равнодушно смотрит в огонь. На пирожное косится, будто оно ядовитое, и шепчет:

— Нет, спасибо.

Холодный ветер приносит из «Ардена» младенческий вой, и Одри вздрагивает.

— Одри... что такое?

— Ничего, — горестно отвечает она.

(— А... э-э... — в смятении говорю я миссис Бакстер, — сколько стоит отправить шаль наземной почтой в Южную Африку?)

— Батюшки мои, — озадаченно хмурится она. — Я точно не знаю — Одри посылку относил.)

Надо полагать, когда время высидит и выведет наружу будущие события, что таятся в зародышах и семенах,<sup>[72]</sup> все, возможно, сложится благополучно.

У задней двери «Ардена» сталкиваюсь с Гордоном — он возвращается с работы.

— Привет, Иззи, — грустно говорит он. На нем унылое бежевое пальто, в руках потертый кожаный портфель.

Младенец в коляске припаркован в кухне и тихонько всхлипывает, словно все прочие умения его оставили. Дебби теперь покоряет кладовую — подчиняет ее алфавиту. Она уже добралась до джемов — каковых,

спасибо миссис Бакстер, у нас целая прорва — и классифицирует их (абрикосовый, терносливовый, черносмородиновый). После каждой пары банок отходит к раковине и моет руки, точно одомашненная леди Макбет.

Гордон смотрит на меня в тоске. Я вспоминаю мальчика в матроске — как жаль, что дошло до такого.

— Я думал, ребенок все исправит, — бормочет он (по-моему, дети так не действуют), — а стало только хуже. — Гордон нежно подхватывает младенца из коляски и шепчет в червонно-золотой пух: — Бедняжечка.

Уносит младенца наверх, и потом я через полуоткрытую дверь вижу, как тот мирно дрыхнет, а Пес лежит у колыбельки и сторожит. (После путешествия во времени Пес очень подавлен.) Честное слово, надо вернуть младенца туда, откуда он взялся, или хотя бы отнести в детский магазин и объяснить, что кто-то ошибся адресом.



Юнис силком затащила меня на пантомиму «Литских актеров» в зале при церкви на Тополином проспекте. У Юнис сценический дебют — она играет зад коровы и отчего-то желает всем продемонстрировать свое публичное унижение. Я пытаюсь заманить туда Чарльза, хотя вряд ли Юнис в роли коровьего зада его сексуально воспламенит. Чарльз, впрочем, разумно предпочитает тихий вечерок в обществе Пса. Дебби поглощена младенцем и миром движущихся объектов, а Гордон поглощен Дебби.

— Пошли, — подначиваю я Винни, — может, развлечешься. — (Крайне маловероятно.)

Очевидно, я в отчаянии, раз опустила до того, чтоб звать с собой Винни. И тем не менее. Вообще-то, увидев ее молодой, я к ней как-то иначе стала относиться.

— Ох, ну ладно, — говорит она, нахлобучивая шляпу на голову. — Наверняка пожалею, но невозможно же слушать, как этот мелкий вредитель голосит. — (Это она про младенца.)

Мы идем по Каштановой авеню, и тут начинаются чудеса. Едва подходим к фонарю, он давай мигать. Когда проходим, он мигать перестает, а мигает следующий. Вкл-выкл-вкл-выкл.

Мы короткими перебежками движемся по Каштановой, проверяем каждый фонарь, вычисляем принцип. Это они нам сигнализируют? Из-за моего тела в электросети помехи? (Моего тела электрического.<sup>[73]</sup>) Или это из-за Винни? Я объясняю Винни, что двери восприятия нынче совсем

перекосило на петлях.

Я не в ладах с материальным миром, что ни день — новый симптом отчуждения. Может, я и впрямь с другой планеты, угрюмо размышляю я, подходя к церкви, и мои инопланетные соотечественники фонарями шлют мне морзянку.

Пантомима развивается по плану — Джек направо и налево сыплет волшебными бобами, мистер Примул в роли матушки Джека (ну разумеется) облачился в кухонную, похоже, занавеску и сыплет двусмысленностями, а Юнис и ее анонимная другая половина неуклюже топают под мелодию, исполняемую барабанщиком из «Юношеской бригады» и парой уволенных из оркестра трубачей, — те играют бодрую визгливую музыку в таком темпе, что даже деревенские парни с девушками всякий раз прыгают не вовремя, о бедной корове уж не говоря. (Если и рыгнуть во время — окажешься там, где оно хранится? И если можно в него прыгнуть, почему так трудно его найти? Наверное, оно в очень надежном месте. С Гордоном вечно так — ходит озадаченный, ищет что-нибудь, никак найти не может, говорит: «Но я же помню, что положил в надежное место».)

Бобовый стебель Джека на веревочке подтянут к потолку, зеленые бумажные листья чудесным образом растут и множатся, стебель взбирается к небесам, где луна в сопровождении свиты звездных фей<sup>[74]</sup> встретит его и кокетливо подмигнет ему в темноте.



— Глянь, — нерешительно говорит Чарльз Гордону, который готовит бутылочку младенцу; дитя неловко сидит в коляске и числом вариаций на тему плача вполне способно посоперничать с певчим дроздом.

— Что? — Гордон оглядывается через плечо. И роняет бутылочку, увидев черный локон, большую вопросительную запятую у Чарльза на ладони. На несколько секунд Гордон каменеет, потом хватается локон и вылетает из комнаты.

Я устало подбираю бутылочку и затыкаю младенцу рот.

Лежу в постели, гляжу в потолок, спальня заполонена голубым лунным светом, не понимаю, отчего не идет сон (может, весь до доньшка употребили Кошки), и тут слышу тихие шаги по лестнице. Поворачивается

дверная ручка — блестящая в лунном свете, спасибо Дебби и ее верной политуре, — и я замираю в ожидании. Мой личный фантом или Зеленая Леди (может, это одно лицо)? Но нет, тень, замершая на омраченном пороге, — это мой отец.

— Иззи, — шепчет он в темноте, — ты не спишь?

На цыпочках подходит, садится в изножье, что-то держит в руке, разглядывает. Я не без труда сажусь, и он мне это что-то протягивает. Черный локон, при луне чернее черного.

— *Ее*, — упавшим голосом говорит он.

Меня сотрясает волнение — наконец-то он расскажет мне об Элайзе. О том, как красива она была, как он ее любил, как счастливы они были, какую ужасную ошибку она совершила, сбежав, как она всегда хотела вернуться...

Но я чувствую его взгляд во мраке и слышу, как он бесцветно произносит:

— Я убил вашу мать.

— Чего?

**ПРЕЖДЕ**

## Проклятый плод края сего <sup>[75]</sup>

В разреженной небесной синеве Гордон был свободен — невзгоды наваливались, когда он возвращался к земной тверди. Проще Люцифером в железных латах рухнуть в объятия пламени, чем воображать тесноту жизни, которая ему предстояла, если он переживет войну. Сестры Гордону были, в общем-то, до лампочки, но он любил мать и не хотел ее расстраивать.

Ни о чем таком он не думал, когда повстречал свою судьбу. Слегка навеселе возвращался из клуба, название забыл, гулянки там слетали с катушек после полуночи. Пришел с польскими летчиками и отбыл, понимая, что ему их не перепить. И он устал, он так устал, только бы дойти до койки и упасть.

— Малость вздремну, — сказал он полякам, откланиваясь.

Он жил у сестры одного друга и ее мужа — славный дом в Найтсбридже, очень элегантный, Вдова поджимала бы губы. И по поводу сестры с мужем тоже. Слишком современные. Слишком торопливые. Он к ним так и не добрался. Его остановил лязг колоколов и облако кирпичной пыли.

Уже прибыла пожарная бригада, собралась толпа. Кто-то сказал:

— Там, между прочим, люди остались.

Гордон почуял газ из разбитых труб, но все равно пошел в развалины; до бомбежки вестибюль, наверное, был великолепен — вокруг валялись расколотые колонны, под ногами путался замысловатый штукатурный свес. От пыли Гордон задыхался, внезапно совершенно протрезвел. Она стояла в пыльном облаке, будто статуя, выпавшая из ниши, но он понял, что она не статуя, потому что она ему улыбнулась, и Гордон взял ее на руки и вынес наружу.

Снаружи он очень осторожно поставил ее на тротуар — слишком хрупкая, как бы не разбить. Спросил, хорошо ли она себя чувствует, но она не ответила, пощупала лацкан его шинели и снова улыбнулась — странно, очень нутряно, будто знает забавный секрет, а ему не расскажет.

Он снял шинель, закутал ее, а она подняла голову, взглянула ему прямо в глаза, как не смотрят незнакомцы, прошептала: *Мой герой*. И весь мир, можно сказать, исчез, потому что Гордон видел только ее трагические экзотичные глаза, слышал только хриплые модуляции необычного голоса, который произнес: *Моя туфля, я туфлю потеряла*, — и Гордон рассмеялся,

и кинулся в разбомбленный дом, и даже отыскал эту туфлю. Знал, что это нелепица, но ему было плевать. Надевая туфлю, она держалась за его плечо. Грязная голая ступня ее была тонка, изящна, как у балерины, ногти кроваво-красны — эротично, несуразно посреди переломанных рук и ног, посреди сгустившихся вокруг руин. Какого-то беднягу пронесли мимо на носилках, безнадежно мертвого.

— Вы его знали? — сочувственно спросил Гордон, но она грустно покачала головой: *Впервые вижу.*

Гордон боялся, что она уйдет — она ведь получила назад туфлю, — понимал, что дело безотлагательно. Это важная минута, может, самая важная в жизни, полная смысла, хотя постичь его не вполне удавалось. Надо ловить момент, слажаешь — и всему конец. Гордон подставил ей локоть:

— Позвольте напоить вас чаем? Тут кафе за углом.

*Эпоха рыцарей жива и здорова*, засмеялась она и взяла его под руку, и он почувствовал, что она вся дрожит как осиновый лист.

Элайза была загадочна, как луна, у него на глазах прибывала и убывала, у нее были фазы — порой великодушна, порой жестока, — и всегда оставалась темная сторона, недоступная, тайная, сокрытая.

На самом деле он ей не верил. Не верил — она так легко ему себя подарила, он не верил в ее чувства. Ее шелковая кожа, прохладная, гладкая, так прижималась к его горящему телу — он боялся, что вот-вот умрет. Она так подползала к нему от изножья кровати — язык ее был словно кошачий, только не шершавый. Она так пахла — странный аромат, духи и ее кожа, а еще нечто таинственное, он и не чуял такого никогда.

Она так произнесла: *Ну конечно, голубчик*, когда он предложил ей руку и сердце. Вот так запросто, и он испугался, потому что подобные чудеса не бывают надолго. Если б надолго, они свели бы тебя с ума. Он обрел свободу, как в синем небе над крохотной зеленой страной, он обрел власть над матерью, над «Арденном», над всем миром. И это только начало.

Ни на миг не поверил он, что это надолго, и не удивился, когда все закончилось, потому что Элайза не может удовольствоваться тем убогим ошметком жизни, который он ей предложил, и ненавидел он ее за это так, что порой лопалась голова. Его неудача с Элайзой была его жизненной неудачей, и в сердце своем он знал, что заслужил и презрение ее, и насмешки. И когда он обхватил руками ее горло, так легко оказалось ее остановить, заставить ее умолкнуть — так легко обрести над ней власть.

Удивительно, можно выдавить из нее жизнь, как из мелкого зверька — зайца, голубки; хотелось сказать ей: «Ну что, теперь-то ты раскаиваешься?» — но она уже исчезла, он уничтожил то единственное, в чем еще оставался смысл. Вот до чего он неудачник.

Она завораживала, околдовывала.

— Вокруг нее блеск факелов погас,<sup>[76]</sup> — смущенно рассмеялся Гордон, впервые рассказав Вдове о случившемся с ним великом событии (Элайзе), и увидел, как от витиеватых этих речей Вдова слегка скривила губу.

Гордон был бессилён — его словно зачаровали. Ни о чем больше не желал говорить ни за обедом, ни за ужином, ни на прогулках по окрестностям, куда выводила его гордая Вдова. Речи об Элайзе лились изо рта сами.

— Она не такая, как все, — с жаром сказал он матери; та сыпала тмин в сухую смесь для выпечки.

— М-да? — переспросила Вдова, воздев седую бровь-гусеницу. — И это хорошо?

Элайза останавливала время. Уводила в круг света, где все замирало — время, страх, даже война.

— Дешевый шик, — бормотала Винни в кладовке над мешками с мукой.

— О нет, — ядовито отвечала Вдова, — уверяю тебя, это весьма затратно.

Здоровое сердце Вдовы сжималось, когда она видела, как ее Гордон, такой мужественный, одурачен безвкусицей секса. Какая легковёрность! Почему он так глуп? Как больно, что в собственной матери он не способен разглядеть модель хорошей женщины, но соблазнен просвещённым блеском.

Гордон поневоле жалел мать — с ней в жизни явно ничего подобного не случалось; он, конечно, и не задумывался о матери в таком свете, но, даже если б задумался, ему не достало бы воображения. Наверное, мать когда-то была молода (впрочем, и на это воображения не хватало), но уж точно ни капли не походила на Элайзу.

Элайза — чудо, человеческая география ее — совершенство: долгий изгиб тела, холмы и долины, лицо, зарывшееся в подушку, — видны только заросли черных локонов. Черная рожица меж тонких ног, поразительные

купола с темно-коричневыми ореолами — англичанки смущались бы такой груди, Гордон видел подобные груди только у иностранных проституток.

Ее тело — новорожденные жемчужинки пота блестят на бледно-абрикосовой коже, влажные щупальца волос облепили длинную шею, бледный пушок на тонких округлых руках, четкие белые полумесяцы ногтей (мелькающие редко, лишь когда она снимает лак), ленивая улыбка. Ее запах — духи, табак, секс. Ее вкус — духи, табак, секс, соленый пот.

Временами он по полночи лежал рядом и смотрел, как она спит, отбрасывал одеяло, разглядывал ее тело — незамеченная морщинка под коленом, точеная ключица, тонкая, как заячья косточка, ароматный испод запястья с беззащитными темно-синими венами. Однажды маникюрными ножницами отрезал у нее локон — она и не заметила, — а потом несколько дней угрызался.

Не найти ей подобной в Глиблендсе, на всем севере не найти («Если в бордели не заглядывать», — писала Винни сестре).

Даже грубейшие телесные отправления наполнились неким совершенным смыслом. Вдове бы стошнило.

— Я тебя обожаю, — прошептал он Элайзе на ухо, и она подкатилась к нему, эдак странно рассмеялась и ткнулась лицом ему в локоть. Что, он глупость сморозил? Элайза была безупречна, Элайза была превосходна, на земле не бывает таких существ.

— Нельзя возводить жену на пьедестал, Гордон, — предостерегала Вдова, громадным тесаком кроша капусту. — Брак — это не только физическое.

И Гордон краснел: подумать страшно, неужто мать хоть смутно себе представляет, что он творит с Элайзой?

*Мамочки и сыночки, смеялась Элайза (весьма ядовито), и как они их хотят.*

— Я не понимаю.

*Да? Да, наверное.*

А у себя в спальне Вдова снимала многочисленные слои чопорного белья, разглядывала свое дряблое, обвисшее, морщинистое тело с дряхлыми сосками и куриной шеей и кляла Элайзу.

Со временем, с неизбежностью все, что было так ново и драгоценно, обернулось привычной рутинной. «В этом улье меда больше нет, — писала Винни, — только шершни гнездятся». Отчего не могла Элайза согласиться

на обыденное, на знакомое, на ежедневные дозы пищи и работы, на радость материнства? Теперь Гордон жаждал обыкновенности. Хотел, чтоб она стала нормальной, чтоб она стала как все. Не хотел, чтобы мужчины глядели на нее, потому что знал: всякий мужчина, глядя на нее, воображает, какова она в спальне, а Гордон-то знал, какова она, и от этого было только хуже.

Впрочем, она теперь была другой — по крайней мере, с Гордоном.

Кое-что он помнил — помнил, как ладонями сдавил ее тонкую шею, помнил ее несуразный смех, что бурлил и булькал в горле, помнил, каково было грохнуть ее затылком о дерево, вытрясти из нее жизнь — ликуя, торжествуя, одержав победу. Хотелось сказать: «Видишь? Видишь — нельзя всегда выигрывать, нельзя, чтобы всегда было по-твоему, нельзя за здорово живешь сводить меня с ума». Но без толку — она уже не слышала. Ликование его растворилось в пустоте, без нее осталась лишь пустота. И затем — пустота. Он не помнил, где был всю ночь, — бродил, наверное, по лесу, все позабыл, даже собственных детей. В холодном свете дня все ушло за грань вероятия.

— Мне надо в полицию, — сказал он, едва Вдова накормила детей завтраком («первым делом дело») и уложила в постель.

— Гиль и ересь, — отвечала Вдова. — Из-за нее — и в петлю? Ну уж нет.

Гордону было все равно. Пускай соорудят виселицу хоть в кухне «Ардена» — он взойдет на эшафот.

— Нет уж, Гордон, — мрачно сказала Вдова, — абсолютно нет, ни в коем случае. Лучше всего, — сказала Вдова (потому что теперь за все отвечала она одна), — ненадолго уехать. Скажем, за границу.

— За границу? — спросила Винни, которая дальше Брэдфорда, разумеется, не бывала.

— За границу, — твердо повторила Вдова.

— Мой малыш! — вслух думала Вдова.

Она всегда понимала, что Элайза до добра не доведет, утащит его за собой в трясины. Оно и к лучшему, что Элайза умерла. Бедный Гордон, околдован шлюхой. Кто по ней станет скучать? (*Все мертвы, голубчик.*) Да никто, вот кто. Гордон уедет за границу, они скажут, что он умер, — ужасный несчастный случай, что-нибудь такое. Астма. Что-нибудь. И Вдова никогда больше его не увидит, но он хотя бы останется жив и здоров. Все

лучше виселицы.

— Сыночек!

Винни в жизни так не злилась. Почти всю ночь пробродила по лесу, не туда свернула, возвращаясь после этого самого, и, пожалуй, ничего хуже с ней в жизни не случилось, считая даже брачную ночь.

Для Винни лес — не просто лес, но каземат, где пытаются ветками и ежевикой, призраками и блуждающими огнями, и во всем виновата Элайза. Часами Винни бродила, рыдала и, несомненно, помешалась бы, не наткнись она на Гордона. Впрочем, все дальнейшее оказалось немногим лучше.

Винни радовалась, что Элайза умерла. Так она себе говорила, но из головы не шел труп Элайзы, тряпичной куклой обмякший под деревом. Винни пощупала окровавленные Элайзины волосы, заиндедевешую щеку. Винни и не подозревала, что такое возможно, — ей было жаль Элайзу.

Все это Винни позабыла бы с превеликой радостью. И как Гордон цеплялся за ее локоть, словно тонул, как волок ее меж деревьев, весь зареванный, и всхлипывал:

— Что мне делать, Вин? Что мне делать?

«Я вообще не хотела ехать на этот их пикник, дьявол его дери», — раздраженно думала Винни.

Элайза до добра не доведет, это было ясно с самого начала. Не доведут до добра эти большие глаза, и тонкие щиколотки, и дурацкий голос. Ах, *Винни, голубушка, ты не могла, бы...* — и вечно смеялась над бедной Винни, как будто Винни дурочка. Впрочем, теперь не важно, теперь им всем надо спастись как получится.

И Гордон уехал. Ушел из дома, все оставил в прошлом, даже убийство жены. Все запрятал в темный тайник, куда не добирался свет дня, жил дальше, вкалывал как проклятый, загрубел, стал другим человеком, познакомился с Дебби на танцах, поухаживал, быстро женился — а уж ей-то как не терпелось, хоть «мамуля и папуля» и не одобряли, Гордон ведь все-таки разведен. Так он им сказал, так он говорил всем, «разведен», и в глазах его плескалась такая печаль, что никому не хотелось углубляться в расспросы, кроме, разумеется, Дебби, для которой Элайза оставалась неведомой темной соперницей, первой миссис Ферфакс.

А потом ему вдруг понадобилось вернуться. Повидать детей. Мать. Возвратиться в Англию, отыскать прежнего Гордона. Не сообразил, что

теперь все иначе.

Ему было даровано исполнение дурацкого его желания. Получи свою обыкновенную жизнь. И не надо садиться в тюрьму, не надо лезть в петлю за убийство — кара его длится и длится день за днем. Он потерял свое сокровище, что дороже, чем полкоролевства. Он потерял Элайзу.

**НБІНЕ**

## Опыты с инопланетянами (продолжение)

— Ты убил маму? — потрясенно переспрашиваю я. Так совсем не полагается.

Гордон ссутулился на постели, обхватил голову руками.

— Ты убил маму? — подсказываю я.

Он смотрит на меня. В темноте глаза у него как черные дыры. Он открывает рот — еще одна черная дыра. Встряхивается, как Пес, собирается.

— Ну, я хотел сказать... — Он запинается, явственно берет себя в руки. — Я хотел сказать, что убил ее душу. — Он пожимает плечами. — Хотел ее настоящую, а когда получил, захотел, чтоб она изменилась.

Старые сказочки, это мы уже знаем, но сегодня я больше ничего не добьюсь. Гордон похлопывает меня по ноге через покрывало:

— Прости, что разбудил, старушка, — и вновь растворяется в ночи.

Пес провожает его до двери и с бесконечно горестным вздохом хлопается на пороге.

## Искусство плодотворно развлекать

В сочельник медленно пробуждаюсь от абсурдного Овидиева сна, в котором Юнис постепенно превращалась в корову — настоящую, а не пантомимную — и жалобно мычала, умоляя меня о помощи. Нижняя половина (школьный сарафан и белые гольфики) вполне отчетливо принадлежала Юнис, а голова уже совсем коровья. Метаморфозы дошли до рук, ладони превратились в копыта, однако (но счастью) до вымени мы не добрались. Я как раз думала, что Юнис наделила слово «коровница» новыми невиданными смыслами, и тут проснулась.

Холодное солнечное утро. Слышно, как ропщет младенец, где-то в доме радио мурлычет рождественские гимны. Без стука врывается Чарльз, сердито спрашивает, есть ли у меня оберточная бумага:

— Еще один подарок завернуть, а у меня закончилась.

Бормочу нечто, отрицающее наличие оберточной бумаги, и прячу голову под одеяло. Просыпаюсь после обеда, за окном уже темнеет. В это время года только глазом моргни — и пропустишь свет. Поди найди тут время.

С трудом вылезаю из постели, совершенно измученная, будто вообще не спала. Платье висит на дверце гардероба, но еще рано, надевать сейчас — напрашиваться на катастрофу. Хилари сказала, что подарков не надо, но я все равно купила ей набор лимонного мыла «Броннли» — лежит завернутый на тумбочке. По-моему, лучше смазать мое проникновение в элегантную среду обитания семейства Уолш. Впрочем, я и попасть туда хочу, только чтобы выкрасть Малькольма Любета из-под носика Хилари.

Выхожу в халате. Дебби и Гордон в кухне — Гордон у раковины сражается с завтрашней индюшкой, мороженой ожиревшей особью, небольшой, но весьма смертоносной: если запустить из катапульты — уничтожит целый замок со всеми обитателями. Взаимосвязь между мертвой птицей и мужскими гениталиями по-прежнему озадачивает меня, но вряд ли можно обсудить это с Гордоном, героически выколупывающим из индюшачьего нутра окровавленный пакетик потрохов. Лучше бы мы к праздничному столу подали жареного грудничка — хоть белого мяса всем бы хватило.

Гордон видит меня, улыбается. Свою полоумную жену он как будто и не замечает, а ведь она, кажется, превратилась в пирожковую фабрику — на столе грома рождественских пирожков, не меньше сотни. Надеюсь,

вечеринок она не планирует.

— Ты же не планируешь вечеринку?

— Нет. А надо? — спрашивает она, наваливаясь на беззащитный прямоугольник теста с формочкой контуром как маленькая полая корона. Ладно, пускай.

В коридоре Винни возит туда-сюда младенца в коляске. Младенец глядит на Винни угрюмо — наверное, ожидал от жизни лучшего. Его легко понять. Винни как будто исчезает у меня на глазах, такая худая, такая хрупкая — облако густой эктоплазмы, а не человек. Высыхает, мумифицируется, как мертвый жук, и у нее проступает странная аура, паутинная штриховка по контуру, словно Винни истрепана по краям (может, это ее нервы). Не исключено, что младенец высасывает из нее жизнь.

У него наконец завелось имя, — надо думать, потяни мы подольше, Винни, Хранительница Кошачьих Имен, окрестила бы его, скажем, Тибблс. <sup>[77]</sup> Хотя, пожалуй, младенец больше похож на Тибблса, чем на новомодную Джоди.

— Давай я, — нехотя предлагаю я и берусь за ручку коляски, Винни благодарно ковыляет к себе, а за ней несколько Кошек, ревниво ошивавшихся поблизости.

Может, отнести младенца еще кому-нибудь на порог — есть шанс, что его примут за анонимный рождественский подарок. Или за второе пришествие — Иисус вернулся на землю девочкой. (Вот радость-то.) Впрочем, судя по лицу, спасти мир младенцу неохота, ему вполне хватило бы того, чего мы в «Ардене» все жаждем, — нормально выспаться.

Это очень успокаивает — ходить туда-сюда с коляской, иногда покачивать ее за ручку вверх-вниз. Торопиться-то некуда. «Не ходи слишком рано, — посоветовала миссис Бакстер, — нет ничего хуже, чем первой явиться на вечеринку». Разве что вообще на вечеринки не ходить.

— Тебя же в гости звали? — спрашивает Дебби, и мои грезы рассеиваются. Я в изумлении гляжу на часы — надо же, несколько часов куда-то канули. Это как?

Я, видимо, совсем заплутала во времени. Опять.

— Время шутки шутит, а? — (как бы) смеется Гордон, когда я пробегаю мимо по лестнице.

Итак. У меня имеются туфли (белые, на шпильках, в них шагу не ступить) и, разумеется, платье, но в остальном-то? Где мама, где моя мама — она бы превратила меня в настоящую женщину, но приходится

выкручиваться самой, и я смачиваю курчаво змеящиеся волосы «Витапойнтом», отчего пахну густо промасленным рождественским обедом. Ничего-ничего, думаю я и уютно оборачиваю вокруг шеи меховой палантин.

Я приду на праздник, Малькольм Любет увидит меня и зачарованно приблизится, мы растворимся (вот именно, растворимся) в объятиях, он сорвет с меня розовое платье, и, воспламененные таким обилием нагой плоти, мы погрузимся... почему нет у меня мамы, которая отсоветовала бы мне поступать так опрометчиво? (Мне шестнадцать, господи боже, я еще ребенок.) Почему отец, когда я целеустремленно несусь по лестнице, не спрашивает, куда это я собралась?

— Ты куда это собралась? — спрашивает Гордон.

— Погулять, — беспечно отвечаю я, и у него на лбу слегка прорезаются морщины.

— Я бы тебя подвез, — говорит он, — но... — И он показывает пальцем за спину — сладкие пироги до отказа наводнили кухню и уже выкатываются за дверь.

— Ничего, я на автобусе, — поспешно успокаиваю я.

Он поправляет мне лацкан. Но у меня нет времени на такую *tendresse*, [78] я улетаю подарить любимому свою непорочность, и часы корят меня за потерю времени.

— Как ты будешь возвращаться? — кричит мне вслед Гордон. — Сегодня работает только скелет автобусного парка.

— Нормально, меня Малькольм Любет подвезет. — (Оптимизм не порок.)

Впрочем, скелет автобусного парка обладает некой свежей, хоть и потусторонней прелестью.

Уолши, как выясняется, населяют фешенебельный георгианский особняк с колоннами и портиком. От праздничного предвкушения сжимается сердце. Я притормаживаю у ворот, дабы посмаковать это волнение; все окна горят, дерево в саду наряжено — не пошлые разноцветные фонарики, как на приморском променаде, а изящные белые шары, яркие маленькие луны. Кованые ворота в конце подъездной дорожки распахнуты, большой венок остролиста с красным бантом висит на створке, гербом радости и праздника приветствуя гуляк. Иду по дорожке, шурша платьем, глубоко вдыхаю и звоню.

Дверь распахивается, едва мой палец касается звонка, словно кто-то нарочно меня поджидал. Ливрейного лакея играет мальчик с лягушачьим лицом — впервые его вижу, — который оживленно улыбается и говорит:

— Ну привет, неизвестно кто.

Явилась я не слишком рано: дом полон болтовни, веселья и гибких дев, истекающих самоуверенностью и вытекающих из дорогих, явно несамодельных платьев.

— Иди в гостиную, — перекрикивая гам, орет мне лягушачий мальчик и тычет пальцем в дверь слева, откуда оглушительно блямкают «Шедоуз».

[79]  
В гостиной родители Хилари — «Джон и Тесса» — стоят и улыбаются, как на свадебной церемонии, только явно оделись на выход. Дороти, старшая сестра Хилари, витает поблизости видением в лимонном тюле.

— Мы оставляем дом на вас, — весело смеется миссис Уолш, — вы тут молодые, вы вместе, а нам предстоит тащиться на скучные посиделки к старым Тейлор-Уэстам, и я вам, сказать по правде, завидую.

Не вполне понятно, к кому обращено это заявление, но я стою ближе всех и считаю себя обязанной рассмеяться и любезно кивнуть: мол, я *абсолютно ее*, понимаю. Мистер Уолш странно на меня косится, а затем оборачивается к Дороти:

— Ну, Дотти, если мы понадобится, телефон Тейлор-Уэстов у тебя есть. Только, пожалуйста, не включай музыку слишком громко и не забудь поцеловать этих бедняг.

Дотти снисходительно смеется:

— Не волнуйся, пап, поезжайте, хорошо вам повеселиться!

Вот, значит, как ведут себя нормальные семьи — я так и знала! (Ну а что? Может, они даже счастливы.) Ах, как люблю я Джона, и Тессу, и Дотти, и Хилари. А где Хилари? Не то чтобы меня сильно интересует Хилари, но она — моя путеводная ниточка, она приведет меня к объекту моих желаний (принцу Малькольму).

— А где Хилари? — наилюбезнейшим тоном осведомляюсь я у Дотти, и та оборачивается, смотрит на меня и свысока улыбается, будто я симпатичная, но недоразвитая кузина.

— По-моему, в кухне, у нее там возлияния, — отвечает она и оглушительно хохочет над своей шуткой. — Я что-то не то сказала, да?

Мистер и миссис Уолш тоже смеются — бодрый металлический хохоток, от которого меня бы мороз по коже подрал, не будь я так празднично оживлена.

Миссис Уолш плотнее запахивает норковую шубу (лисы у меня на шее содрогаются в расстройстве) и на прощанье целует Дороти в щечку. Я бы не удивилась, если б она так же поступила и со мной, но ее глаза стеклянно по мне скользят, она поворачивается к мистеру Уолшу и говорит:

— Ну пойдем, Джонни, пусть они тут развлекаются.

В кухне у Хилари не возлияния, а розлив — стеклянным черпаком она разливает гостям фруктовый пунш, очень изящно, как аристократка из Женской добровольной службы.

— А, Изобел, — говорит она и улыбается мне покровительственно; у стеклянных чашек крохотные ручки, неудобно держать.

Я протягиваю свои мыльные дары:

— Я тебе подарок принесла.

И она берет их опасливо, словно в коробке что-то ядовитое. Откладывает, не вскрыв, отворачивается и конается в тарелке крекеров «Риц» с замысловатой праздничной поклажей, которой позавидовала бы Дебби, — гауда, маринованный лук, фаршированные оливки и микроскопическая блестящая черная икра, похожая на стайки блох.

Я неловко прихлебываю пунш — руки у меня крупные, как бы чашечку не выронить. На вкус довольно мерзотно — апельсиновая газировка и «Райбина». Входит капитан футбольной команды, неотесанный красавец Пол Джексон, подмигивает мне и выливает в пунш целую бутылку водки. Когда Хилари оборачивается, он сует бутылку в карман куртки и улыбается. Она улыбается в ответ:

— Хочешь канапе?

Хилари и Пол живо интересуются друг другом, а мной не особенно, так что я подливаю себе крепленого пунша (апельсиновая газировка и «Райбина» с привкусом жидкости для снятия лака — какой-никакой прогресс) и линяю оттуда, надеясь отыскать того, кто заинтересуется мной, — скажем, Малькольма Любета.

Все на вечеринке друг с другом знакомы, однако я никого не знаю — в школе я их точно не видела, откуда они все повылазили?

В доме у Уолшей обитателей много,<sup>[80]</sup> и я брожу по комнатам — в каждой щебечут гуляки, в каждой своя пиршественная мизансцена. Внедряться в эти плотные группки все равно что разнимать регбистов. От своей анонимности расхрабрившись, я пробую разные светские тактики.

— Привет, я Изобел, — застенчиво сообщаю я на окраине одной группы, и меня решительно не замечают. Может, я ненароком надела плащ-невидимку? — Привет, меня зовут Изобел, а вас? — говорю я громче на краю другой группы, а все оборачиваются и смотрят на меня как на незваного имбецила.

Малькольма Любета нигде не видать.

Слышу, как кто-то произносит:

— Господи, ты видела это платье — это на кого же она похожа? — и кто-то другой отвечает:

— На клубничную тарталетку, — и ржет.

Это они про меня? Не может такого быть. Ускользаю на кухню. Хилари исчезла (ах, если бы), вместо нее возник братец Грэм, и он чудно мне ухмыляется.

— Привет, И-зо-бел, — нарочито тянет он.

С ним его друзья из колледжа, все в свитерах, вельветовых пиджаках и полосатых шарфах — мало ли, вдруг иначе в них не распознают студентов. К ужасу своему, я вижу, что среди них и Ричард Примул.

— Сюрприз, — говорит он, — *хан-хан*.

— А ты что тут делаешь?

— Меня, естественно, пригласил мой добрый друг Грэм, — отвечает он, пьяно обнимая одного друга длиннющей рукой. — А я попросил его пригласить тебя, — смеется он, тыча в меня пальцем. Он так напился, что еле держится на ногах. — Это, — обращается он к остальным, — подруга моей сестрицы, — тут он переходит на ненатуральный шепот, — о которой я вам рассказывал.

Все смотрят на меня, как на зверя в зоопарке, и я чувствую, что краснею — вероятно, в тон платью.

Они обступают меня, и один говорит:

— Приветик, И-зо-бел, я Клайв, — а другой:

— Здравсте, а я Джефф.

Я в эпицентре мужского внимания — это поразительно, и на один безумный миг я решаю, что платье включило свое волшебство и я чудесным образом стала неотразимо привлекательна. Они стоят так близко, что я чую алкогольные пары, в основном едко пивные, не просто сдобренный водкой пунш. Один обнимает меня за талию, хохочет, ухмыляется, говорит:

— Ну, И-зо-бел, мы все знаем, какая ты давалка. Может, со мной попробуешь?

— Давалка? — оторопело переспрашиваю я, выворачиваясь из его малоприятных объятий. — Давалка? В каком смысле? — В мозгу легкое смятение: может, «давалка» — это какая-то змея? Или остров? — Давалка? — недоуменно спрашиваю я парня, который стоит ближе всех. (Клайв, кажется, но они со своими бородками на одно лицо — ясно только, что все как один слушают джаз.)

— Ага, — отвечает он, щупая мой рукав-крылышко, — мы слышали, ты очень уступчивая, И-зо-бел. Изобел-толстотел, не останусь не у дел.

— Наш корефан Дик, — говорит другой, кивая на Ричарда, а тот ухмыляется, — говорит, ты на все согласная, И-зо-бел. — Он фыркает и хохочет. — На что не согласны *приличные* девочки.

— *Приличные* девочки, — хмыкает третий. — Бэ-э.

— Чего не скажешь о нашей Чок-Чок, — прибавляет четвертый (не исключено, что Джефф; им несть числа, как сладким пирожкам). — Мы, Чок-Чок, все в курсах, что Дик с тобой вытворляет.

— Ага, наша киска в западне, — лыбится пятый.

Лисы на шее рычат — защищают меня.

В ошеломлении и ярости я гляжу на Ричарда:

— Ты что им про меня *сказал*?

Ему хватает совести изобразить легкий стыд, но тут в кухню вступает Дороти с подносом грязных стаканов, и парни всей толпой разворачиваются поглядеть на ее великолепные груди и зад.

— Какая жопа, — тихонько вздыхает один, а Дороти в отвращении кривится:

— Надеюсь, Изобел, ты знаешь, что делаешь! — и опять выметается.

Лишь на миг слегка усмиренная командирским явлением Дороти, твякающая свора обступает меня опять, и это довольно страшно. У всех конституция полузащитников, и, если дойдет до открытого противоборства, вряд ли меня выручит лисий палантин. Ричард держится поодаль и созерцает мое положение с надменной ухмылкой. Я даю себе клятву при первой же возможности его убить.

Один из них запеваает:

— Я с Чок-Чок наедине, наша киска в западне, — и Грэм по-дилетантски лапает мое декольте.

Единственный выход — побег, я разворачиваюсь, изо всех сил пинаю кого-то в голень, отпихиваю плечом и через заднюю дверь отбываю в сад.

Я думала, сад у Уолшей пригородный, ручной, как на древесных улицах, но эти ландшафтные просторы напоминают скорее старинное поместье — я как будто в другое измерение нырнула. (Порою внешность обманчива.)

Мчусь по траве во весь дух, но меня существенно тормозят шпильки и обилие розового, так что убегаю я недалеко — Грэм блокирует меня, как заправский регбист, и я падаю на заиндевевший газон. Рука Грэма пробирается мне в корсаж — очевидно, такова его заветная цель, — но я умудряюсь левым локтем заехать ему под ребра, и он скатывается с меня, хныча от боли. Я уже потеряла одну туфлю и, вскочив, скидываю вторую.

Снова бегу, мчусь в глубину сада, — может, там где-нибудь есть

калитка на улицу. Оглядываюсь через плечо: двое бегут за мной по траве. Почему это со мной происходит? Мне сейчас полагается самозабвенно вальсировать в блаженных объятьях Малькольма Любета, а не свою невинность спасать.

Бегу по ровному плоскому газону и соображаю, что это не простой газон, лишь споткнувшись о крокетные воротца и сильно грохнувшись. (Это что, и есть «Человеческий крокет» из «Домашних забав»?) Один парень накидывается на меня, хватая за талию, я вырываюсь. Выкручиваюсь у него из рук и слышу, как что-то трещит. Надеюсь, это у него оторвалась голова.

Вновь пускаюсь в галоп, два парня улюлюкают и гарцуют позади. У стены растет большая серебристая береза, я сворачиваю туда — может, заберусь на нее, а оттуда на стену, — но подбегаю и вижу, что ветви слишком высоко.

— Попалась, Чок-Чок! — вопит один парень.

Мне конец. Остается только затормозить и отдышаться — от беготни мутит, не могу заорать, как ни стараюсь. Меня словно заперли в кошмаре. Ловя ртом воздух, как издыхающая рыба, я приваливаюсь к березе и безмолвно молю о подмоге. Отчего некому защитить меня в этом мире, отчего никто за мной не приглядывает?

Не пошевеливнуться, ноги как свинцом налились, ступни вросли в землю. Один парень — по-моему, Джефф — подбегает, останавливается, и свет дионисийского безумия в его глазах переключается в режим «растерянность». Он смотрит будто сквозь меня. Другой, Клайв, тоже подбегает и сгибается пополам, пытаюсь отдышаться.

— Куда она делась? — пыхтит он.

— Где-то здесь, — отвечает Джефф, озираясь, но на меня не глядит. — Динама блядская, — прибавляет он и опирается мне на левое плечо, как будто я не я, а ствол древесный.

Тут я гляжу на его руку и вижу, что там, где было мое левое плечо, а также правое плечо, — там, где, вообще-то, было все мое тело, — теперь лишь серебристая береста. Руки мои жесткими сучьями торчат по бокам, когда-то раздвоенные ноги обернулись древесным стволом. Я бы закричала, но рот не открывается. Меня зовут Дафна,<sup>[81]</sup> очень приятно.

Перед глазами мутится, по краям все расплывается, и вдруг раз — я сижу на холодной земле под деревом, нет никаких парней, а ко мне по газону шагает Хилари.

— Ты что тут делаешь, Изобел? Ты не видела Малькольма? Нигде не могу найти.

Следом за ней тащусь в дом. Пожалуй, нет смысла ей рассказывать, как я только что обернулась деревом. Я не то, что я есть. Я дерево, следовательно, помешанная, я помешалась, у меня тяжелый бред и глюки.

— Тебе весело? — для порядка спрашивает Хилари, уже скользя взглядом по кухне — с кем бы другим поговорить.

— Еще как, — отвечаю я, вынимая коктейльную сосиску из капустного кочана, который так утыкан этими сосисками на палочках, что смахивает на гостя из космоса.

Иду в ванную на втором этаже и пытаюсь почиститься. В волосах веточки и сухая листва, чулки исполосованы дорожками до лохмотьев, жесткая сетчатая нижняя юбка вся изодрана. Вот, наверное, что трещало во время моих садовых неприятностей. Розовое платье цвета сахара с перцем стало оттенка розовых свиней, неловкости и консервированного лосося.

Одним окончательным рывком я отдираю от него потрепанную нижнюю юбку. В сетке запуталась пара опавших листьев. Я озираюсь, ищу мусорное ведро, но ведра нет, и я запикиваю юбку в вентиляционный шкаф за бак с горячей водой. Бак нетермоизолированный, немислимо пышет жаром и бурлит, как особо извращенное средневековое орудие пыток. Огромный — Хилари как раз поместится.

Выйдя из ванной, практически втыкаюсь в Хилари, которая самозабвенно обнимается с капитаном футбольной команды Полом Джексонном. Быстро она по дому носится, — может, у нее есть доппельгангер, дублер, который подменяет ее в минуты крайней скуки. Хотя клинч с Полом Джексонном, пожалуй, нескучен — его рука лезет ей под юбку, его колено расталкивает ее ноги. Интересно, что сказали бы на это мистер и миссис Уолш. Сознавали они, что в их владениях будет употребляться алкоголь (и в каких количествах)? И что, едва они отвернутся, здесь зацветет такое распутство? Как-то я сомневаюсь. Однако утешительно наблюдать, что Хилари изменяет Малькольму, — по-моему, она забыла о нем напрочь. Ее, похоже, сейчас вывернет; когда она выныривает глотнуть воздуха, у нее на горле проступает смачный засос. Не удивлюсь, если у Пола Джексона все зубы в крови.

— Изобел... — мямлит она, пытаюсь сфокусировать на мне взгляд и от усилия косея; видел бы нас Малькольм — сразу понял бы, кто ему больше подходит. (Я.) — Изобел, — с трудом повторяет она, — ты не видела Грэма?

— Грэм?

— Грэм, мой брат, — ее голова падает Полу Джексону на плечо, — просил, чтоб тебя пригласили.

— Правда? Зачем? Вместо клоуна? — негодую я, потому что Грэм пригласил меня по одной-единственной причине — из-за того, что наврал Ричард, пожелавший на мне отыграться.

Я разъясняю ей положение дел, но она отрубается и свински храпит, а Пол Джексон уже снова щелкает ее подвязками. Повит мой взгляд и говорит:

— Отвянь.

Так я и поступаю.

Опять спускаюсь в гостиную. Большие напольные часы в коридоре отбивают полчаса — половину двенадцатого, — и куда же это девалось время? (Ну правда, куда оно девается? Утекает в недра мира, в гигантский времясборник?) Мое превращение в серебристую березу, вероятно, убило не один час.

За время моего отсутствия в гостиной многое изменилось. Выключились невинные «Шедоуз», яркие люстры и малолетняя коктейльная болтовня. Больше всего гостиная смахивает на один из внутренних кругов ада — темные извивающиеся тени, мучительные стоны людей на пределе сил, — и отнюдь не сразу силуэты складываются в обжимающиеся парочки — стоящие, сидящие, лежащие, — и все они с оргиастическим энтузиазмом друг друга щупают.

В коридоре кого-то стошнило, и Дороти, уже пострадавшая от выпивки, но бесконечно прагматичная, достает пылесос и пылесосит рвоту. Я размышляю, стоит ли ей сказать, что это не весьма удачная идея, но решаю оставить свои скудные домоводческие рекомендации при себе, когда она наставляет на меня раструб и рявкает:

— А ты, значит, у нас потаскушка, Изобел? И не лапай моего брата, ты не в его вкусе.

На лестнице у нее за спиной Грэм качает, себя не помня, лежа на девице в обширном платье — она, очевидно, в его вкусе, — и я протискиваюсь мимо их переплетенных тел и бегу по лестнице, чтобы в последний раз поискать Малькольма Любета.

За первой дверью, видимо, спальня мистера и миссис Уолш — две громоздкие постели, точно баржи, посреди моря парчи. Следующая комната насквозь пропитана Дороти. Вся в оборочках, такая девичья, порядок как в казарме — полка с книгами по естествознанию, беллетристика по алфавиту, туалетные принадлежности на столике разложены с математической четкостью. Тут ни одной лишней ватной палочке не скрыться.

Поднимаюсь на другой этаж, открываю очередную дверь. Эта спальня

тоже вся в оборочках и девичья, но при этом спортивная — повсюду теннисные ракетки, физкультурные костюмы и шлемы для верховой езды; надо думать, комната Хилари. На тумбочке фотография — портрет лошади анфас, — а на кровати гряда кукол: куклы с младенческими личиками, куклы в костюмах хайлендцев, куклы в платьях фламенко, обворожительные тряпичные куклы и антикварные куклы с пожелтевшими локонами и изумленными гримасами.

И там же, в кукольном окружении, несуразное и чрезмерно крупное, распростерлось тело Малькольма Любета. Меня он приветствует задорно и пьяно, салютуя полупустой бутылкой джина:

— Привет, Иззи.

— Я не знала, что ты здесь. — Я залихватски глотаю неразбавленного джина из зеленой бутылки и весьма довольна собой — мне удалось не подавиться до смерти.

— Ты понюхай, — говорит Малькольм, внезапно перекатившись и нырнув лицом в подушку, — чистая лошадь! — И как же мы хохочем!

Он похлопывает по (я почти уверена) девственному ложу Хилари, и я втискиваюсь рядом.

— Большое какое у тебя платье, — любезно говорит он, обнимает меня за плечи, и мы лежим по-товарищески, пьем джин и сочиняем куклам Хилари воображаемые личности — в основном производные ее самой.

Подбираемся ко дну бутылки. Кажется, кто-то поднес спичку к внутренней подкладке моего тела — бывало и неприятнее, — а одурелый шар мозга расплывается овсянкой. Почти все куклы Хилари уже спихнуты на пол. Или отпрыгнули от греха подальше.

Кажется, несколько раз я втихую отключаюсь. Время движется медленнее, стало вязче, будто молекулы его и впрямь умеют менять агрегатное состояние и невидимый газ превратился в текучую воду (может, это и есть Гераклитов поток<sup>[82]</sup>).

— Поцелуй меня, — вдруг бормочу я, осмелев от джина и удивительной текучести времени.

Малькольм открывает глаза — кажется, он спал, — приподнимается на локтях, замирает в позе кобры и смотрит на меня.

— Пожалуйста, — прибавляю я на случай, если он счел меня невежей.

Он сильно хмурится, глядя на одну из задержавшихся на постели кукол — младенца размером с «нашего» младенца, — и говорит:

— Изобел, — очень серьезно.

Вот оно, значит, — наверное, он осознал, какие космические узы связывают нас, он сейчас поцелует меня и сорвет печати с нашей любви —

нас унесет в небесные пределы, где музыка сфер и свет как у Тёрнера, — надеюсь, до этого я не успею превратиться в дерево и не отбуду в странствие по времен и. Полная надежд, я закрываю глаза. И отрубаясь напроочь.

Когда снова открываю глаза, вокруг темно и кто-то накрыл меня одеялом Хилари. Кроме того, кто-то приклеил мозг к черепу изнутри, и, когда я пытаюсь сесть, мозг совершает рывок наружу крайне, крайне ужасным манером. Для пущего эффекта волокна его крепко спаяны. Дверь открывается, и я жмурюсь от светового удара.

Заставив себя приоткрыть веки, вижу разгневанную Хилари: тушь и помада размазаны, на голове стог сена, кожа мертвенно-бледна (наверное, всю кровь высосал Пол Джексон), взор полон омерзения.

— Ты почему на моей постели, Изобел?

Я пытаюсь сесть и покрываюсь холодным липким потом. Вяло машу рукой, желая предостеречь Хилари, потому что знаю наверняка: дальнейшее она видеть не захочет.

Но поздно — я стискиваю лоб в тщетной попытке унять пульсацию, перегибаюсь через край постели и извергаю содержимое желудка (в основном коктейльные сосиски в джине) на перепуганных кукол.

Хилари визжит, и благопристойные оскорбления изрыгаются у нее изо рта стремительным потоком жаб и пепла.

— Чтоб ты сдохла, — стенаю я.

Вскоре домой прибывают мистер и миссис Уолш («Что такое с пылесосом, Дотти?») и брезгливо разгоняют остатки вечеринки, в том числе меня — особенно меня.

— Убирайся! — злобно шипит мистер Уолш. — Одному Господу известно, чем ты занималась в спальне моей дочери. Знаю я таких, ты просто шлюха. — Как это нелюбезно.

Малькольма Любета не видать, и это даже неплохо, — но крайней мере, он не в объятиях Хилари.

Лисы поджидают меня на столике в прихожей, я хватаю их и ковыляю в ночь — ночь, остекленевшую от мороза и адски холодную. Не удивлюсь, если мистер Уолш прокричит мне вслед в викторианских традициях: «И чтоб ноги вашей не ступало на мой порог, леди!»

— И чтоб я тебя здесь больше не видел, профурсетка! — кричит мистер Уолш, соблюдая канон.

Я добираюсь до ворот, и тут меня одолевает мощнейший припадок

летаргии. Я и впрямь падшая женщина — во всяком случае, падшая девушка, — пала подле огромного лавра у кованых ворот, пала, и заползла под него, и свернулась клубочком, и похрапываю тихонько, точно ежик, намеренный во что бы то ни стало впасть в спячку. На лицо сахарной пудрой сыплется снег.

Меня грубо расталкивает Малькольм Любет — запихивает на пассажирское сиденье своей машины и бубнит (теперь не так любезно), что у меня «ужас какое громоздкое платье».

— Так, знаешь ли, и помереть недолго, — выговаривает он мне, заводя мотор и выезжая задом.

Мой мозг отклеился от черепа и усох твердым грецким орехом, замаринованным в джине, грохочет в голове, скачет по черепной коробке, сорвавшись с поводка мембраны.

— Гипотермия, — говорит Малькольм, будто и его попросили сочинить имя подброшенному младенцу.

Мы с пьяной опаской вихляем по обледеневшей дороге, наглядно иллюстрируя тезис о вреде алкоголя.

— Дьявол тебя дерит! — мрачно рывкает Малькольм, когда мы идем юзом, выписываем пируэты или крутимся вокруг своей оси, точно машина прикидывается налижавшейся Соней Хени.<sup>[83]</sup>

Я несколько раз безуспешно пытаюсь закурить, при четвертой — успешной — попытке роняю горящую спичку на платье, и оно тает, на розовом подоле стремительно расплзается большая дыра, и я едва не вспыхиваю человеческим факелом. От чего я умру? От огня или льда?

Так или иначе мы снова добираемся до Прыжка Влюбленных, но Влюбленность и Прыжки — последнее, что приходит нам в голову, прощепав в крови по колено, и едва выключается мотор, мы засыпаем. Просыпаюсь — холодно. На подбородке, похоже, замерзла слюнная морось, глаза слиплись. Я безнадежно роюсь в бардачке и, к удивлению своему, нахожу полпакета засохших печений с кремом, на которые набрасываюсь, как дикий зверь. Потом расталкиваю Малькольма и даю печенье ему. Какая жалость, я не в том состоянии (у меня сейчас отвалится голова), чтобы любоваться его изысканным профилем, изгибом губ, черными локонами, что обвивают ухо. Я открываю дверцу и блюю на землю.

Мы снова пускаемся в бесконечное, но всей видимости, странствие. Улицы Глиблендса пустынные, все лежит в постелях, ждут солнечного

восхода и оленьего бега по лесу.<sup>[84]</sup> Наша одиссея вновь приводит нас на улицу, где живут Уолши, однако в отличие от прочего городского пейзажа здесь жизнь бурлит. Наверное, не засни мы на Прыжке Влюбленных, увидели бы с нашей обзорной вышки, как в крошечном макете города у нас под ногами по улочкам мчались пожарные машинки и мерцал пожар, сжиравший домик Уолшей, даже, может, услышали бы, как в отчаянии трезвонили «скорые», спасавшие жильцов.

По улице не проехать — всюду пожарные, «скорые» и полиция. Мы выкарабкиваемся из машины и праздными зеваками ошиваемся у кованых ворот. В безветрии вяло обвисли красные ленточки на венке остролиста. В воздухе пепел и сажа, воняет обгорелыми платьями и канапе. Я вдруг вспоминаю сетчатую нижнюю юбку, так неосторожно запихнутую за бак с кипящей водой, воображаю, как она загорается, как огонь перекидывается на аккуратные стопки простынь и полотенец, затем охватывает весь дом. Похоже, из преисподней спаслись все, кроме...

— Ричарда и Хилари, — произносит Малькольм, и от потрясения голос его бесцветен.

На подъезде к древесным улицам снег заряжает по-честному. Сначала к ветровому стеклу трепетно липнут маленькие снежинки — кристаллизуются, тают, их смахивают «дворники», — но вскоре вихрь снежных хлопьев густеет, они цепляются к чему ни попадя — к антеннам, трубам, крышам, деревьям.

Вместо Каштановой авеню Малькольм сворачивает в Остролистный проезд. Мы оба оцепенели, так огорошены внезапной кончиной Хилари и Ричарда, что и сами не понимаем, куда едем. (*Чтоб вы сдохли — я ведь это сказала обоим?*)

Снег угрожающе вихрится во тьме. Едем мимо Боскрамского леса, деревья чернильно сгущаются за обочиной. Малькольм резко сворачивает на грунтовку в лес и паркуется перед шеренгой пожарных метел, уставленных к звездам. Метлам тут не место. В этих лесах нынче не может быть пожара. Земля затвердела, как железо, воды в ручьях окаменели. Когда Малькольм выключает мотор, наступает тишина, какой я в жизни не слышала.

— Пошли, — говорит он и открывает дверцу, хотя снаружи воет пурга.

Я неохотно тащусь за ним в лес. Там не пуржит, там все застыло. Наверное, здесь снег шел часами, дольше, чем за границей леса (это как так?), повсюду сугробы — рождественский снег, снег из зимней сказки, хрустящий и девственный. Окаймленные снегом голые ветви лиственных

пружинят и гнутся над головой, точно свод огромного собора. Здесь и впрямь как в церкви — тишина, благоговение, но гораздо одухотвореннее.

Вечнозеленых в лесу тоже полно — хвойных, что собрались со всего мира: европейские ели (*Picea abies*) и скрученные широкохвойные сосны (*Pinus contorta*), субальпийские пихты (*Abies lasiocarpa*) и европейские (*Abies lasiocarpa*), бальзамическая пихта (*Abies balsamea*) и великолепная благородная (*Abies balsamea*) толпятся, укутавшись в снежные шубы, предвкушением вечного Рождества.

Мы бредем, притихнув в тишине. Будто последние люди на земле. Может, мы и есть последние люди, нырнули в разрыв пространственно-временного континуума, отправились во времена последних холодов. Только в лесу можно взаправду потерять счет времени. Перед нами по снегу скачет заяц.

Малькольм впереди замирает, оборачивается, прижимает палец к губам. Благородный олень — лань стоит на тропинке, принимает к нам, знает, что мы здесь, но толком не видит. А затем одним испуганным прыжком исчезает, ломая замерзшие ветки, и треск сучьев шумно отдается в морозном безмолвии.

— Наверное, к счастью, — шепчет Малькольм и обнимает меня за плечи. Тепло дышит мне в щеку.

Вот оно, значит. Полная надежд, я закрываю глаза...

— Пора домой, — вдруг говорит он и пробирается назад по снегу, таща меня за руку; наверное, если б в нас не плескался антифриз «Бифитер», мы бы уже замерзли до смерти.

Машина покрылась толстым белым покрывалом, и мы смахиваем снег бедными нашими руками без перчаток. Колеса прокручиваются вхолостую, машина задом выезжает на нетронутую дорогу. Снегопад закончился, и мы скользим и юлим по вертлявой дороге.

— По-моему, я только при тебе могу быть самим собой, — говорит Малькольм — он уже много часов не говорил так внятно. Отчего всем так трудно быть собой?

Он смотрит на меня, проверяет, поняла ли я его, и внезапно в снопе света на дороге из ниоткуда возникает олень. Онемев, как в кошмаре, я поднимаю руку и тычу пальцем. Малькольм оживленно болбочет о своем подлинном «я» и мучительных его поисках, но в конце концов смотрит туда, куда указывают мой палец и полный ужаса взгляд и говорит:

— Ох ты ж...

Олень — точная копия того, из леса (они, вообще-то, все одинаковые), но сейчас не время проводить аналогии. Видимо, не особо счастливый

олень. Время начинает замедляться. Малькольм выворачивает руль, пытаясь обогнуть зверя. Вижу очень ясно: оленьи глаза вращаются, от страха бешеные, мускулы напрягаются, волнуются под бархатной шкурой, олень напружинивается для отчаянного прыжка.

И прыгает с дороги. Машина тоже — вылетает за обочину, парит, планирует над крутым склоном, как на крыльях, и все это в абсолютной тишине, будто миру выключили звуковую дорожку, но затем обрушивается на землю, и звук внезапно возвращается — скрежет рвущегося металла, звон битого стекла, музыкальное сопровождение конца света, а мы скачем по заснеженной земле, разносим в щепу молодое деревце, в безумном снежном вихре прорываемся сквозь утесник, машина — разъяренный дикий зверь, она жаждет самоуничтожения, но в итоге укрощена толстым сикомором, который замер в карауле на замерзшей поляне.

Снова тишина. Тут нас никто никогда не найдет. Я до смерти устала, но мне очень спокойно. В голове крутятся слова «Ночь тиха».<sup>[85]</sup> Можно попеть, чтоб взбодриться, но мы оба, кажется, не в состоянии открыть рот; я пытаюсь выдавить хоть слово, но все слова прилипли к языку. Я и головы-то не могу повернуть. Может, время снова поменяло агрегатное состояние, теперь оно твердое, исполинская глыба льда, и мы замерзли внутри, точно мухи в янтаре.

Очень-очень сосредоточившись на мускулах шеи, я умудряюсь повернуть голову на несколько дюймов. И вижу Малькольма. Лицо у него исчерчено кровью, в темноте она блестит. Он тоже пытается заговорить. Далеко не сразу я разбираю, что он пытается сказать. Изуродованные слова медленно выползают у него изо рта, скрежещут в ночи, которая в остальном тиха.

— Помоги мне, — говорит он, — помоги мне.

Но все без толку, я знаю, потому что он уже мертв.

## Время убивать

Просыпаюсь. В своей постели. У себя в спальне. В «Ардене». Никаких (былого талых) снегов,<sup>[86]</sup> деревьев, оленя, машины, мертвого Малькольма Любета. Я в ночной рубашке, и на теле ни следа автокатастрофы, хотя вместо мозга руины.

Розовое вечернее платье висит на гардеробе, замечательно не оскверненное всем, что выпало на его долю. Даже топорщится, будто под ним жесткая нижняя юбка. Из окна я наблюдаю погоду, весьма отличную от вчерашней, — не пронизывающий холод, но моросливый тоскливый небесный кисель. Вчерашний день мне что, приснился? Это был просто ужасный яркий кошмар?

Замечаю краем глаза что-то на тумбочке — мыло «Броннли» в подарочной упаковке. Сажусь и освобождаю мыло из бумажных застенок. Слышно, как радио внизу мурлычет рождественские гимны, ропщет младенец. Я задумчиво взвешиваю на ладони мыльный лимон — похож на маленькую кислую луну. Господни ангелы и слуги, защитите,<sup>[87]</sup> а также помогите мне бобик.

Если вчера был сочельник, сегодня пора быть Рождеству, но я, разумеется, понимаю, что причинно-следственные связи погнуты, как ось времени, и вряд ли с меня стоит спрашивать предсказания событийной последовательности.

Может, нет постоянной реальности, есть только реальность перемен. Это пугает.

Как и полагается, в спальню врывается Чарльз и спрашивает:

— У тебя есть оберточная бумага? Еще один подарок завернуть, а у меня закончилась.

— Какой сейчас, по-твоему, день? — спрашиваю я, а он так смотрит, будто я помешалась (и, в общем, нрав).

— Сочельник, а ты что думала? Какой сейчас день, *по-твоему*?

(Может ли время быть *настолько* относительно?)

Бред какой-то. С головой прячусь под одеяло. Я что, правда вернула вчерашний день?<sup>[88]</sup> Дважды вошла в ту же самую реку? И этот кошмар повторится? Мне что, мало было одного — повторный показ-то зачем? Сколько риторических вопросов я успею себе задать, прежде чем помру со скуки?

Может, я умерла, очутилась в аду и это моя кара — раз за разом целую

вечность проживать худший день моей жизни.

Или, может, жизнь моя приснилась мне. Проснусь, и выяснится, что я бабочка. Или гусеница. Или гриб. Гриб, который грезит о том, что он девушка по имени Изобел Ферфакс.

А свобода воли у меня еще есть? Может, я *останусь в постели*, и все дела — не пойду на вечеринку к Уолшам, уж явно никуда не поеду с Малькольмом Любетом, тогда ни с кем ничего не случится. Я зажмуриваюсь и пытаюсь себя убаюкать (наверное, *вот* чем занимаются кошки — спят, чтобы все исчезло. Собаки, например), однако я зарезала сон начисто — как начисто подорвала законы времени.

Но что, если... — думаю я вдруг, открыв глаза и уставившись на розовое платье, — что, если события подтолкнула (или подталкивает, или подтолкнет — сами выбирайте) не моя пагуба? Что, если они произойдут и без меня? А если они произойдут и без меня, может, удастся как-нибудь их остановить? И тогда, даже если Малькольм, Хилари и Ричард погибнут, я хоть не буду виновата. Уже кое-что.

Но с другой стороны, а если они уже мертвы? Я выволакиваю себя из постели — вы как хотите, а я пошла разбираться, что происходит. Задираю подол розового платья — ну да, вот она, нижняя юбка, цела и невредима. Я устало вздыхаю.

Внизу никого — Винни, Дебби и Гордон оставили прежние позиции, однако сладкие пироги свое место в сюжете знают и горой громоздятся на кухонном столе, обильно заснеженные сахарной пудрой. Я съедаю один, другой, третий — совсем оголодала. Ничего не ела после вчерашних засохших печений с кремом, хотя, разумеется, возможно также, что даже их я еще не съела. Не успеешь задуматься, реальность ускользает.

Звоню Любетам. Отвечает Малькольм.

— Алло? Алло? — твердит он, пока я не кладу трубку, не придумав, что бы ему такого нечокнutoго сообщить.

Потом звоню Уолшам, и барабанную перепонку пронзают флейтовые переливы миссис Уолш. Я бубню про Хилари, и миссис Уолш отвечает, что Хилари с Дороти уехали в центр.

Не буду проверять Примулов — честно говоря, мне плевать, жив ли Ричард, а двое из трех уже неплохой результат. Но как сохранить им жизнь — вот в чем вопрос. Чарльз вцепился бы в этот вопрос зубами, как бульдог, но Чарльза тоже не видать. «Арден» прямо какая-то «Мария Целеста»; неизвестную катастрофу пережил, очевидно, только младенец (он неуничтожим) — лежит в коляске в коридоре и верещит, выворачивая легкие наизнанку.

Вынимаю младенца (я не в силах звать его Джоди) из коляски и пытаюсь утешить, но он ужасно злится, орет так, что голова отваливается (ну, не совсем), иногда тельце выгибается и каменеет, как в припадке. Личико гневно покраснело, кулачки яростно стиснуты, будто младенец рад бы заехать кому-нибудь в морду.

Я кутаю его в платок, но выходит неловко, и в конце концов я пакую его, как капусту, и тащу в «Холм фей». Может, миссис Бакстер на него подействует. И вообще, мне надо с кем-то поговорить о том, что со мной творится, — лучше всего с человеком, которого я вчера не укуошила.

У Бакстеров тоже сиротливая зловещая тишина. «Холм фей» пуст и позаброшен, как и «Арден». «Эй!» — кричу я в этой пустоте, но никто не откликается, только младенец всхлипывает и икает.

В гостиной разведен огонь в камине, мигает рождественская гирлянда на елке, впрочем, не знаю, полагается ей так или это я навожу помехи.

В столовой накрыто к обеду — парадный сервиз, тарелки. В сочельник миссис Бакстер ужасно суетится, почти как в Рождество. Если б миром правила миссис Бакстер, мы бы, наверное, праздновали Рождество каждый день.

Посреди стола красные свечи, возле приборов хлопущки и хитро свернутые рождественские салфетки — красные с зелеными листьями остролиста. На каждой тарелке стоит винный бокал с креветочным коктейлем — садись и ешь.

Сажусь на стул, вытаскиваю из коктейля лист латука и жую, размышляя, куда все подевались. Может, Бакстеры теперь тоже выпадают в разрывы пространственно-временного континуума. Может, празднуют сейчас Рождество в восемнадцатом столетии или в раннем Средневековье. Я размазываю младенцу по губам розовый соус из креветочного коктейля, и младенец в шоке умолкает.

Я, оказывается, доела коктейль, хоть и не собиралась. Пожалуй, если обойти стол и съесть другие два, выйдет поприличнее — сделаю вид, что так и было. Но поздно: хлопает дверь и в прихожую вступает мистер Бакстер, видит меня в столовой, идет, куда шел, потом возвращается и рывкает:

— Ты почему здесь? Ты почему на моем месте? И ешь мой обед?

— Где Одри и миссис Бакстер? — спрашиваю я, виновато выскакивая из-за стола.

— Весьма интересный вопрос, — отвечает он тем тоном, каким обычно разговаривает с учениками, которых полагает совершеннейшими идиотами. В ярости выпучивает глаза. — А именно — где они? —

повторяет он, тщательно проговаривая слова. — Хм-м, ну-ка, ну-ка... — Он изображает удивление и заглядывает в хлопушку. — Нет, — говорит он, — здесь их нет.

Как, наверное, скучно жить с мистером Бакстером. Спектакль длится еще некоторое время, но затем шумы, издаваемые младенцем (и от младенца бывает польза), изгоняют мистера Бакстера наверх, в кабинет.

Несу младенца в гостиную и сажусь на диван. Рождественская гирлянда успешно умиротворяет дитя. Младенец сует кулачок в рот, словно заставляя себя умолкнуть, и я сочувствую ему всем сердцем. У него впереди целая жизнь горестей — жалко, что пришлось начать так рано.

Задняя дверь открывается и захлопывается. Надеюсь, это миссис Бакстер и Одри, а не мистер Бакстер явился второй раз, еще даже не уйдя (когда время разрывается, ну или рвется, или что оно делает, паранойя одолевает очень быстро).

К счастью, это и впрямь миссис Бакстер и Одри. Тепло одеты — пальто, шарфы, шерстяные шапки, будто гулять ходили.

— Малка прогулялись, — говорит миссис Бакстер, — чтобы папочка подуспокоился. Он у нас малка освирепял, — прибавляет она, страдальчески улыбаясь. Лицо у нее ужасно несчастное.

При виде младенца миссис Бакстер растекается лужей материнской любви и посылает Одри под елку искать подарок. Одри находит, разворачивает — это погремушка (можно подумать, младенец недостаточно шумит) — и вручает младенцу, ласково улыбаясь.

— Поставлю-ка я чайник, — говорит миссис Бакстер. — Ты же выпьешь с нами чайку, Изобел?

— Папочка, — говорит Одри, когда миссис Бакстер уходит, и замолкает, очевидно не в силах продолжать.

— Малка освирепял? — услужливо подсказываю я.

Она забирает младенца, обнимает, словно защищая, утыкается подбородком в червонно-золотой пух на макушке. Глаза ее наполняются слезами, и она невероятным усилием предотвращает излитие слезного потока на младенца.

— Мальчики, — с трудом выдавливает она.

— Мальчики? Он думает, ты?..

— Он уверен, что я была с мальчиком, — шепчет она.

— А ты была? — (Ну ведь наверняка, иначе как объяснить феномен младенца Джоди? Впрочем, если и есть на земле кандидтки для непорочного зачатия, Одри первая в списке.)

Она смотрит на меня, глаза огромны и обиженны, будто нелепее

вопроса в мире не звучало, и крепче обнимает младенца. Тот утихомирился, даже уснул, по-прежнему кулачком затыкая себе рот — может, из опасения проговориться во сне. Вместе они — воплощенное Рождество Христово. Одри с этой чудесной улыбкой Мадонны и довольное дитя, почивающее у нее на груди. Одри осторожно одной рукой расстегивает пальто, разматывает шарф, стаскивает с головы вязаную шапку, но чудесными Мадонными волосами не встряхивает — на голове ничего нет. Я в ужасе ахаю — голова острижена, и это не мальчишеская парикмахерская стрижка, но драный постриг фронтового предателя.

— Папочка, — говорит Одри.

Возвращается миссис Бакстер с целым подносом рождественских плюшек, старается не смотреть на цирюльничьи результаты «папочкиной» освиреплости. Открывает было рот, но тут на лестнице топает мистер Бакстер, и мы прислушиваемся к его шагам, как герои фильма ужасов в ожидании неизвестного чудовища, и едва не вздыхаем с облегчением оттого, что мистер Бакстер еще человек, когда он врывается в комнату, хмурится мне и говорит:

— Ты еще здесь? Ты дурно на нее влияешь. Я так понимаю, это ты сбила Одри с пути истинного?

— Папочка, не надо, — умасливает его миссис Бакстер.

— А ты заткнись, — отвечает он ей. Суется носом мне в лицо, как записной школьный громила. — Ну-с, Изобел, с кем Одри спуталась? Какой-то мальчишка ее поимел — кто? Надеюсь, не этот твой уродский братец.

— Папочка, не надо, — умоляет Одри.

— Закрой рот, шалава! — рывкает ей мистер Бакстер. — С парнями гуляет, они с ней вытворяют бог знает что! Кто это был? Говори!

Миссис Бакстер подпрыгивает на месте, всплескивает руками, словно учится летать. Мистер Бакстер что-то вынимает из кармана твидового пиджака и давай размахивать. Что-то темное, металлическое, в форме пистолета. Собственно говоря, пистолет и есть.

— Твой старый военный револьвер? — удивляется миссис Бакстер. — Папочка, я думала, ты его сто лет назад выкинул.

Мистер Бакстер кладет пистолет на каминную полку — нарочитая злодейская пантомима, достойная «Гран-Гиньоля», ровно так же он кладет трость на стол в классе, чтоб ученики глаз от нее не могли оторвать. (Пожалуй, нам еще повезло, что он для устрашения подопечных не носил в класс пистолет.)

Потом он шагает к Одри, хватает ее за остатки волос, подволакивает

ближе и орет:

— Кто это был? — не обращая внимания на младенца, который верещит в ужасе.

Скорее желая уговорить младенца, чем усмирить отца, Одри наконец отвечает, произносит тихо-тихо:

— Но, папочка, это же был *ты*.

Я бросаюсь на мистера Бакстера, чтоб отбить у него Одри, и не сразу соображаю, что это Одри ему такое сказала. А потом ХЛОБЫСТЬ — мистер Бакстер разворачивается и кулаком бьет меня в лицо. Удар приходится в скулу — гордость любого боксера, после таких ударов расщепляются кости и случаются мозговые травмы.

От адской боли я падаю на колени, закрываю голову и никак не могу вдохнуть. Кошмарно тошнит, будто я упала с невероятной высоты.

Постепенно замечаю, какая странная тишина царит в комнате. Всех нас, видимо, парализовало, будто время и впрямь остановилось. Я прихожу к выводу, что мы окаменели навеки, но тут кошка миссис Бакстер, которая до той минуты прикидывалась пятнистой салфеткой на спинке мягкого кресла «Паркер Нолл», внезапно скатывается и тяжело плюхается лапами на ковер, потом громко трещит огонь в камине, кусок угля падает и шипит, и все очухиваются.

Миссис Бакстер шепчет:

— Папочка? — будто ей сообщили невероятный ответ на вопрос, над которым она давно размышляла.

Потом миссис Бакстер негромко ахает, и я оборачиваюсь к ней. Она ошеломленно смотрит на Одри с младенцем. Пожалуй, когда они вместе, это в самом деле очевидно, они даже похожи, и не только волосы, не только мелкие черты — сывороточно-бледные лица у обеих отмечены одной и той же горестной гримасой.

— Одри? — шепчет миссис Бакстер, а по щекам Одри катятся крупные слезы; честное слово, лучше б она надела кошачью шкурку и бежала от мистера Бакстера как можно дальше, пока дела не обернулись столь прискорбно.<sup>[89]</sup>

Мистер Бакстер между тем не моргнув глазом подходит к камину, берет трубку с полки и вытрясает пепел в камин. Я словно в трансе гляжу, как он снова поджигает трубку, глубоко затягивается, вулканический огонек в чашечке разгорается и гаснет, разгорается и гаснет, пока мистера Бакстера не окутывает бледно-голубая дымка. Как ему удастся держать себя в руках пред лицом такого хаоса в доме? Впрочем, Синяя Борода, наверное, тоже запер на ключ свою тайную бойню и заваривал себе чайку.

Я вдруг соображаю, что миссис Бакстер статуей застыла в дверях. Видимо, она выходила и вернулась, потому что теперь у нее в руке мясницкий тесак.

Ну ты подумай, я умудрилась найти сценарий похуже вчерашнего! Рождество в «Холме фей» все равно что на веки вечные застрять в «Улике» из ночного кошмара: миссис Бакстер в коридоре тесаком или мистер Бакстер в гостиной из пистолета? Следующая версия — Одри в кухне подсвечником.

И тут, как в замедленной съемке, миссис Бакстер надвигается на мистера Бакстера — словно атакующий носорог нацелился и решительно пыхтит. Надвигаясь, миссис Бакстер исторгает ужасный стон, будто раненый зверь кричит.

— Ты это что удумала, Мойра? — раздраженно осведомляется мистер Бакстер, но миссис Бакстер наступает, и его гримаса растворяется в чистом неверии.

Он оборачивается — может, за пистолетом, — но поздно: миссис Бакстер настигает свою цель, налетает на мистера Бакстера (из него при этом вырывается какой-то *вумх*), и он оседает на колени перед камином, отчего любой независимый наблюдатель мог бы счесть, что мистер Бакстер внезапно решил поклоняться миссис Бакстер.

Он прижимает руки к животу — они ярко-красные. Не как ягоды остролиста. Не как молочай. Не как грудка зарянки и не как кетчуп. Красные, как кровь. Кровь сочится сквозь пальцы мистера Бакстера, пятно расплывается по разноцветному пуловеру, связанному миссис Бакстер на его последний день рождения. Во всех смыслах последний.

Миссис Бакстер возвышается над ним с окровавленным ножом в руке, словно ужасный персонаж греческой трагедии, и лицо у нее измазано кровью первой жертвы. Мистер Бакстер потрясенно смотрит на нее снизу вверх, затем в равном потрясении переводит взгляд на свой живот. Для пробы убирает руку, и кровь бьет красным фонтанчиком — маленьким гейзером, таким сильным, что забрызгивает стены.

Хватаю подушку с дивана и пихаю туда, откуда кровь, но, едва касаюсь мистера Бакстера, тот падает ничком. Пытаюсь его приподнять, но он слишком тяжелый. Глаза у него почти закрыты, он хрипит и задыхается. А потом вдруг вообще перестает дышать. Миссис Бакстер снова обратилась в статую. Одри сидит на диване и как ни в чем не бывало улыбается младенцу. Кто тут самый безумец? Мистер Бакстер явно самый мертвец.

В дверях кто-то тихонько присвистывает, и я чуть из кожи вон не

выпрыгиваю. На крыльце стоит Кармен. Юнис с грудой подарков в руках протискивается мимо нее, встает на колени возле мистера Бакстера, рассыпая подарки, и со знанием дела щупает пульс у него на шее.

— Умер, — объявляет она, как заправский детектив. Озирается, оценивая обстановку. — Что тут произошло? — спрашивает она (продолжая играть детектива).

Я объясняю как могу (не поминая о времени — мол, это уже второе мое катастрофическое Рождество и все такое, — поскольку так все запутается еще больше).

— Но как это может быть? — удивляется Юнис, разглядывая Одри с ребенком. — Он же ее отец, он не может быть еще и *отцом ее ребенка*.

Похоже, Юнис не обо всем на свете осведомлена. Кармен разъясняет ей понятия инцеста и изнасилования — на редкость здраво, что странно для девицы, у которой в голове сыр.

Вероятно, в какой-то момент нам всем приходит в голову, что можно вызвать полицию, но, если и так, вслух мы об этом не говорим. Даже Юнис.

— Может, нам всем его ножом пырнуть, — горестно предлагаю я. — Тогда мы все будем виновны.

— И всех посадят за убийство, — резонно возражает Юнис.

Довольно долго мы втроем обсуждаем, что делать (от Одри и миссис Бакстер никакого проку). Кармен предлагает отвезти мистера Бакстера в отделение скорой помощи Глиблендской больницы и сказать, что он упал на ножик.

— Разрезая индюшку? — презрительно фыркает Юнис. Будь он помельче, мы бы затащили его в камин и предали огню. — И что сказали бы? — ехидствует Юнис. — Нес подарки, упал в трубу?

Я встаю и выключаю елочную гирлянду — это подмигивание сводит меня с ума. Кармен угощает нас сигаретами, а сама от чрезвычайности положения курит сразу две.

— Я думаю, его надо похоронить, — предлагает она.

— Похоронить? — в ужасе переспрашиваю я.

В душе я еще жду, что мистер Бакстер вот-вот встанет, а похороны — это довольно крайняя мера.

Кармен раздает нам фруктовую жвачку.

— Господи боже, Кармен, — сварливо говорит Юнис. — Ладно, но где мы его похороним?

Кармен уже увлекается:

— Возьмем машину мистера Бакстера, отвезем его куда-нибудь,

свалим в реку или в лесу закопаем.

— Мы же не умеем водить, — замечаю я.

— Можем попробовать, — отвечает Кармен, всегда на все готовая, — или просто похоронить в саду, это проще.

— Проще? — колеблюсь я. — И что мы скажем? Как мы объясним, куда он делся? Люди вот так запросто не исчезают. — (Что я несу?)

Кармен жует сладкий пирожок — ее аппетит, безусловно, делает ей честь.

За занавешенными окнами гостиной (в которой теперь присутствуют и потусторонние гости) вовсю хлещет дождь.

— Так, — вдруг произносит Юнис, переходя в режим гёрлгайда, — нам понадобятся перчатки, фонарик, веревка и... — Она умолкает — окружающая обстановка на миг застопоривает ее щелк-щелкающий мозг.

— Лопата? — рекомендую я.

— Точно, лопата!

В садовом сарае мы находим две лопаты, и Юнис составляет график земляных работ: двое копают / один отдыхает. Наши раскопки поначалу вялы, но в конце концов мы приспособливаемся. Если перестать нервничать из-за обстоятельств (убийство), погоды (гнусная) и грязи (пакость), удивительно, как ритмично продвигается дело. Вскоре мы все в трудовом нуту и при этом трясемся от холода.

— Глубоко надо копать? — хрипит Кармен, глубоко затягиваясь сигаретой.

— Шесть футов, — отвечает Юнис, опираясь на лопату, точно профессиональная могильщица.

— Кончай, — огрызается Кармен, — тут не кладбище, а грядка миссис Бакстер. Нам его только спрятать.

Шесть футов мы бы копали целую вечность. А так мы вполне довольны нашей неглубокой ямкой.

Возвращаемся в дом за мистером Бакстером. В доме все по-прежнему. Одри с младенцем уснули, а миссис Бакстер сидит на диване с ножом на коленях.

— Нора пить чай, — непринужденно сообщает она, увидев нас. — Надо же, как время летит.

Мы не отвечаем и тащим мистера Бакстера наружу через французское окно. Кармен, на том или ином жизненном этапе, очевидно, наблюдавшая гробовщиков в деле, сочувственно улыбается новоиспеченной вдове и говорит:

— Мистеру Бакстеру уже пора, миссис Бакстер.

Мы с Юнис смущенно переглядываемся — боимся, что миссис Бакстер сейчас вскочит с дивана, поймет, что происходит, но она только улыбается:

— Ну что же, тогда идите.

Бодрый ужас и кошмар.

Мы выволакиваем безжизненное тело мистера Бакстера и тащим под дождем по садовой дорожке. Наконец, невоздержно ворча, пинаясь и матерясь, скатываем его в могилу.

Юнис освещает его фонариком. Два часа назад он смотрелся мертвее.

— Надо лицо ему прикрыть, — торопливо говорю я, когда Кармен снова берется за лопату.

Бегу в дом, хватаю в кухне горсть праздничных бумажных салфеток, бегом возвращаюсь по дорожке, встаю на колени возле ямы и салфетками прикрываю ему лицо.

— Осторожно, — говорит Кармен — боится, как бы я не рухнула на мистера Бакстера.

Забросать его землей — дело нехитрое, а вот убрать землю, которая осталась, — тяжкий труд, и мы неуклюже ковыляем с тачками увесистой мокрой грязи в дальний конец сада, где и сваливаем ее темным песчаным замком.

В дом прибредаем в таком виде, будто пробурили шахту к антиподам и обратно, грязные, промокшие до костей и от потрясения онемевшие. Разуваемся на заднем крыльце и стоим под фонарем, в ужасе переглядываясь.

Миссис Бакстер тем временем в кухне заваривает чай и раскладывает рождественский пирог и сладкие пирожки по тарелкам с праздничными ткаными салфеточками и бумажными салфетками, которые подрабатывают теперь могильным саваном.

Она подносом выпихивает нас в гостиную, ставит его на кофейный столик и широко улыбается:

— Ну давайте, давайте берите. — (У меня екает сердце.) — И ты, Изобел, садись поешь! — подгоняет она, вручает мне бумажную салфетку, и от этой красно-зеленой гаммы сама я белею.

С каждой минутой скула, куда заехал мне мистер Бакстер, болит все сильнее.

Вся гостиная в крови — ручейки на стенах, на диване, на ковре макабрическим силуэтом застыла громадная лужа.

— Надо тут прибраться, — говорит мне Кармен.

— Батюшки мои, — говорит миссис Бакстер, тоже услышав, — придется полотеров вызывать. — (Запах крови — соль и ржа — пропитал самый воздух.) — Возьми песочное, — не отстает миссис Бакстер. — Сама пекла.

Одри ворочается, сонно открывает глаза и, узрев младенца, сияет своей чудесной улыбкой. Этих двоих теперь не разлучить и ломом.

Юнис вздыхает, выходит из комнаты, возвращается с ведром горячей воды и бутылкой «Стардропс».

— Пошли, — говорит она мне довольно злобно, но я уже отчалила за крайние пределы усталости.

Все кости болят, и, не будь гостиная так окровавлена, я бы свернулась калачиком и заснула на диване с миссис Бакстер.

— Приятно, когда в доме столько молодежи, — задорно сообщает миссис Бакстер. — Папочка обрадуется, когда вернется, — он так дружен с молодыми людьми.

Это заявление не в кассу по стольким параметрам, что я забываю о грязи, о крови и ужасе и оседаю на диван, обхватив голову руками.

— Да не беспокойся, — говорит миссис Бакстер Юнис — та на коленях отскребает ковер, и лицо у нее не поддается описанию. — Может, сыграем во что-нибудь? — оживленно предлагает миссис Бакстер. — Может, в «Ревеневые шарады» или «Горячую картошку»? «Мамочка, приходи домой» — приятная спокойная игра. «Человеческий крокет» — просто замечательная, но для него, конечно, народу надо побольше, — опечаливается она. (Так сколько же народу для него нужно?)

Я вскакиваю, выбегаю в кухню, и меня тошнит в раковину. Задняя дверь нараспашку, в нее плюется дождь. Облепленные грязью туфли стоят на крыльце аккуратным рядком, сувенирами утраченной нашей невинности. Я не могу вернуться в эту адскую гостиную. Перешагиваю туфли, выхожу в темный беспокойный сад и отправляюсь домой.

На руках кровь — как ни три ногти, она не оттирается. Лежу в ванне, пока вода совсем не остывает, потом заворачиваюсь в полотенце и влажно шлепаю к себе в спальню. Ложусь в постель и сплю как убитая.

Снится мне летний сад миссис Бакстер. Снится огненно-красная фасоль на палочном каркасе, снятся кабачки, укрывшиеся под широкими листьями, и перистые маковки моркови. Аккуратный ряд капустных голов-барабанов, похожих на гигантские горошины, и грядка цветной капусты, чьи крупные творожные головы вылезают из лиственных капюшонов. Одна цветная капуста какая-то не такая. У меня на глазах она постепенно

превращается в голову мистера Бакстера — он выглядывает из бурой земли и злобствует, орет на меня, обзывает дрянью. Затем плечами расталкивает бурую землю, выбирается возле грядки латука и шагает по дорожке. Плоть у мистера Бакстера сгнила, а походка дерганая, как у зомби. Хочу бежать, разворачиваюсь, но бегу на месте, будто застряла в мультике. Кричу, но голос беззвучен, как в глубинах космоса.

В ночнушке спускаюсь в кухню и завариваю себе какао. Гордон сидит в кресле Винни у остывшего камина и укачивает младенца. Как это младенец сам сюда добрался?

— Капризничает она сегодня, — улыбается мне Гордон.

— Как младенец сюда попал? — спрашиваю я.

— Да кто его знает? — неопределенно улыбается он.

Дебби проводит инвентаризацию в кухонном посудном шкафу и надзирает за синим фарфором, как тюремщик. На столе остов недоеденной индюшки. Рождественский обед. Я дергаю Дебби за локоть:

— Какой сегодня день?

— Рождество, а ты что думала?

— Я долго спала?

— Что ты говоришь такое? — Она на четверть дюйма передвигает соусник.

— Я, к примеру, ела рождественский обед?

— К примеру? — хмурится Дебби. — Ну, рождественский обед ты точно ела. Так себе пример.

— Желание? — предлагает Гордон.

Он вошел в кухню, вынул из индейки дужку и протягивает мне. Я отказываюсь.

Надо сходить к Бакстерам, глянуть, жив ли мистер Бакстер, как Хилари и Ричард (предположительно), или превращается себе в овощ. Я выбегаю в заднюю дверь и мчусь по дорожке, ветер треплет волосы, дождь пропитывает ночнушку насквозь.

Я так тороплюсь, что в конце не могу затормозить и выбегаю напрямиком на улицу, которая обычно пустынна. И на меня налетает машина — я не успеваю даже разглядеть ослепительные фары. Пути наши неотвратимо пересекаются ровно посреди улицы, водитель, должно быть, отлично разглядел мою гримасу ужаса, когда я подпрыгнула на капоте, — затем машина яростно вихляет, проламывает боярышниковую изгородь на другой стороне и смачно вписывается в узловатый старый боярышник.

Уж я-то водителя разглядела — прочла ужас на лице Малькольма

Любета, когда он пытался избежать моего неизбежного тела.

Приземляюсь под изгородью, колючки расцарапывают лицо и руки. Подползаю к машине. Дверца распахнута, Малькольм обмяк на сиденье. Встаю рядом на колени, беру его за руку. Знаю, что деваться некуда, — он вот-вот скажет мне ужасные слова. Жду их терпеливо, почти умиротворенно.

Он разлепляет глаза. Волосы его слиплись от крови, лицо почти неузнаваемо.

— Помоги мне, — шепчет он, — помоги мне. — И глаза закрываются. Я уползаю к своей изгороди, это невыносимо, ну честное слово.

Я невидимка. Страшное порождение мифа, что заявляется в чужие жизни, сея смерть и бедствия. Краем глаза вижу, как соседи выбегают посмотреть, из-за чего суматоха. Замечаю, как по дорожке бежит абсолютно живой мистер Бакстер. Одри права — ничегошеньки мы не знаем. Смотрю, как полицейские и спасатели вытаскивают Малькольма из обломков, слышу, как один тихонько спрашивает:

— Кончился? — а второй бормочет:

— Бедолага.

Почему всякий раз финал таков? Почему Малькольм Любет непременно погибает? Опять?

— Это Малькольм, сын старого дока Любета, — говорит кто-то.

— Ужас какой, — говорит кто-то еще, — хороший был парень, блестящее будущее...

Тут один полицейский замечает меня, ко мне мчится спасатель с одеялом, но меня уж нет, меня смыло волной черноты, унесло на дно Северного Ледовитого океана, где всё-всё-всё цвета голубых брильянтов и плавают только тюлени да русалки.

**НБІНЕ**

**НЕ ИСКЛЮЧЕНО**

## Есть мир иной, но это он и есть <sup>[90]</sup>

Просыпаюсь от запаха жареного бекона. В спальне тепло. Обычно здесь не бывает тепло — разве что в разгар лета. Спальня прежняя — но иная. На окне красивые занавески в цветочек, на полу ковер, который я впервые вижу, на стенах бледные полосатые обои, а не обычный бежевый рельеф. Да что такое? Можно ли войти в ту же самую реку *трижды*? Боюсь, время в «Ардене» совсем разладилось.

Ни коробки с мылом, отмечаю я, ни розового платья не видать — вот и славно, без них гораздо лучше.

Мои ноги поджидает у кровати пара модных домашних туфель, розовых и пушистых, лимонное нейлоновое неглиже висит на дверном крючке — ждет моего тела. Поперек кровати лежит чулок, тяжелый, будто внутри нога. К нему приколота поздравительная карточка. Переворачиваю, читаю. А там написано: «Изобел от „Санта-Клауса“!»! Это что значит? Какого еще «Санта-Клауса»?

Я виновато — может, я не та «Изобел» — роюсь в чулке. Подарочки для типичной девочки — кубики солей для ванны, ручные зеркальца, ленты для волос и шоколадные конфетки.

С опаской, но не без любопытства я выбираюсь из постели и надеваю мулов и неглиже. В углу большое портновское зеркало — нетяжелое, как у миссис Бакстер, а красивое, псевдо-Людовик XV, в позолоченной раме светлого дерева. Осторожно ступаю по новому ковру — вдруг я иду по своей мечте <sup>[91]</sup> (мало ли) и заглядываю в зеркало? Я тоже прежняя, но иная. Кое-какие перемены очевидны — скажем, волосы причесаны гораздо лучше, — но есть и другие отличия, тоньше и мудренее. Я совсем помешалась или и впрямь, ну (как бы это сказать-то?), *счастлива*? Да что такое?

На туалетном столике мешанина подростковой косметики — бледно-розовые губные помады и жемчужный лак для ногтей. Я открываю гардероб светлого дерева, а внутри куча красивых тряпок — платья-рубашки и широкие плиссированные юбки, мягкие пастельные акриловые свитеры, костюмчик из джерси. Это Рождество бесконечно удачнее трех предыдущих, но надо ли говорить, что порою внешность обманчива, — кто знает, что таится под красивой оберткой? Какой такой подростковый Фаустов пакт заключила я ради подобной перемены участи? Продала Мефистофелю бессмертную душу за модные шмотки и свидания

субботными вечерами?

Достаю из гардероба зеленое льняное платье-рубашку и белый кардиган из куртеля, вместо пушистых мулов — черные туфли на низком каблуке. Расхаживаю перед зеркалом, страшно довольная этим превращением в совершенно нормальную с виду девицу.

Мир за окном бело сверкает театральным инеем. В поле позади садовой изгороди леди Дуб смахивает на дерево из книжки Артура Рэкэма<sup>[92]</sup> — четко вырезанный черный силуэт на зимнем небе. Четыре Рождества подряд, и всякий раз новая погода. И столь же странный снег,<sup>[93]</sup> если хотите знать.

Я спускаюсь в прежне-иной дом и по запаху бекона и кофе нахожу столовую.

Чарльз за столом наворачивает бекон, болтунью и жареные грибы. Кто-то говорит:

— Чай или кофе? — и Чарльз, набив рот гренками, поднимает голову и улыбается:

— Я, пожалуй, кофе, если можно.

Очень легонько толкаю дверь. Винни наслаивает на тост масло и джем. Она примерно такая же, как всегда, чему не приходится удивляться.

Стол застлан плотной белой скатертью, лежат Вдовьи приборы, расставлен фарфор в цветочек, склеившийся из осколков. Хромовый Вдовый чайник, как обычно, посреди стола, чистый, натертый, под новой желто-коричневой вязаной бабой. Рядом с Винни сидит сама Вдова («Сюрприз!»), почти такая же щеголеватая, как ее чайник, седые волосы аккуратным пучком, на кончике носа очки. Она в прекрасной форме, если учесть, сколько ей лет, — и просто в роскошной, если учесть, что она умерла... все это, как обычно, ужасно сбивает с толку. Смерти, значит, больше не будет?

Рука тянется через стол и берет тост. Еще чуть-чуть приоткрываю дверь — посмотреть чья. Гордона. Не обычного замороженного Гордона, а бодрого, слегка оплывшего в районе подбородка и талии, как и полагается преуспевающему бакалейщику. Он поворачивается к Чарльзу:

— Точно не будешь бекон, старина? — и Чарльз бубнит, набив рот яичницей:

— Не, пасиб.

Честное слово, Чарльз вырос, впрочем он сидит, наверняка не поймешь. Явно не так прыщав, печален и придурочен. Рядом с Гордоном в облаке сигаретного дыма сидит еще кто-то. Гордон туда поворачивается и

подливает кофе, не спросив и не дожидаясь просьбы. Я вижу руку — бледная кожа, тонкие длинные пальцы с алыми ногтями.

Хочу посмотреть, кто это такой, снова толкаю дверь — слишком сильно, Гордон поднимает голову:

— Ну привет, старушка, я уж думал, ты сегодня решила не просыпаться. Заходи позавтракай.

А невидимый человек — теперь видимый — говорит: *Садись, голубушка. Чего тебе положить?*

Я вся из света, от счастья взлетаю и парю, плыву вокруг обеденного стола, мимо брата, теперь почти красавца, мимо Винни и Вдовы, бабочкой легонько опускаюсь на ковер и целую Элайзу в щеку. *С Рождеством, голубушка.* У нее на пальце сверкает кольцо, изумруды и бриллианты ловят свет из камина. Это не прошлое, это не будущее — это же моя параллельная жизнь, та, где все как надо. Та, где торжествует подлинная, правильная справедливость (без боли). Та, что возможна только в сказках.

День продолжается, каждый миг — невоскрытый подарок.

— Ты чего такая довольная? — интересуется Винни, а я смеюсь и целую ее в яблочную сморщенную щеку, восклицаю:

— Ой, Винни, я тебя люблю! — и Чарльз комично кривится, в ужасе скосив глаза к носу.

Рождественский обед достоин праздника, гусь жирен и сочен, как всякий гусь, выращенный настоящей гусятницей,<sup>[94]</sup> печеная картошка хрустящая и жесткая снаружи и облачно мягкая внутри.

— Отличный яблочный соус, — говорит Гордон, а Вдова отвечает:

— Из нашего сада яблоки.

Гордон выносит пудинг, пылающий драконом, а Вдова берет серебряный соусник и спрашивает:

— Ну, кому ромовый соус?

Набив животы и раздувшись, как рождественские гуси, в гостиной мы под Вдовыи пластинки с гимнами мирно играем в рамми. Приступив к перевариванию, шумно играем в «скачущего демона», а затем в истерически смешные шарады — особенно они удаются Элайзе. Надо бы сходить за миссис Бакстер — она любит такое Рождество.

За окном темно, а в доме все светится изнутри — Вдовый молочай, отполированный стол красного дерева, мишура и рождественские открытки, остролист с красными ягодами, ветка омелы на Вдовьей люстре, под которой Гордон в эту минуту целует Элайзу так страстно, что Вдова недовольно кудачет.

Затем снова настает пора пировать, входит Вдова с большим деревянным подносом, а на подносе гора сладких пирожков и большой рождественский пирог, бутерброды с индюшкой и палочки сельдерея в ребристой сельдереиной вазочке. Мы едим у огня, потом Гордон говорит:

— Может, споем, Вин?

Мы вдохновенно исполняем «Раз утром рано», «Полли-Уолли-Дуддл» и «Что нам делать с пьяным матросом?»,<sup>[95]</sup> и я (чудо чудесное), оказывается, знаю все слова.

Гордона уговаривают спеть «Деву из Ричмонд-Хилл», и у него замечательно получается, а затем он исполняет «Алые ленты»,<sup>[96]</sup> от которых у Элайзы на глаза наворачиваются слезы. Мы завершаем концерт «Одним рыбным шариком» и «Кое-кем»,<sup>[97]</sup> и даже Винни готова прославлять веселые сердца, что сменятся день и ночь. Мое желание исполнилось. Мы идеальная семья. Счастливая семья. Я проживаю совершенный сюжет, но что нас ждет в финале?

Это по правде? Или в воображении? И в чем разница? Если я воображаю рождественский стол, груженный жирным гусем и пылающим пудингом, отчего он менее реален, чем то, что случилось в реальности? Чем воображаемое Рождество отличается от запомненного?

Мы как раз беремся за очередную порцию пирогов и новый чайник чая, и тут за окном бибикает клаксон. Элайза отдергивает занавеску и говорит (мне): *Это за тобой, голубушка, твой мальчик приехал.*

Мой мальчик — как чудесно звучит. Но кто же мой мальчик? Винни идет открывать.

— А вот и Малькольм, — говорит Гордон, пожимая ему руку в прихожей. — С Рождеством, Малькольм!

— И вас с Рождеством, сэр, — отвечает Малькольм Любет и обходит стол, поздравляя всех подряд. Краснеет, когда Элайза шепчет: *С Рождеством, голубчик* — и целует его прямо в губы, но Гордон смеется:

— Прощу извинить мою супругу, Малькольм, она у нас, знаешь ли, самолично изобрела кокетство. Уговариваем ее получить патент — кучу денег принесет.

*Будь справедлив, голубчик,* отвечает Элайза, *мы стояли под омелой, все по-честному.*

Надолго ли это? А если навсегда?

Выясняется, что мы едем к родителям Малькольма.

И твоя мать тоже там? — осторожно уточняю я; не хотелось бы

замутить это чудесное настоящее знанием прошлого.

— Ну само собой, — улыбается он, — она же мне все-таки тоже родительница.

— И она здорова?

— Абсолютно.

В этом мире никто не умер, никто не умирает? Все живы-здоровы? И счастливы, раздумываю я, шагая за Малькольмом в прихожую. Может, болезней, голода, войн здесь тоже нет? За спиной раздаётся хоровое «пока!», и я столбом застываю на крыльце — ну конечно! Это рай. Я умерла и попала в рай. Я погибла в автокатастрофе — и Малькольм тоже, мы на небесах, нас тут ждали родные, — но тогда, выходит, и они тоже поумирали? Все, что ли, померли? Все-все на всем белом свете? Может, нынче Судный день и безвестные мертвецы, кто утонул и кто сгорел дотла, [\[98\]](#) восстали и воссоздались из праха?

— Изобел?

— Да-да, иду, — торопливо отвечаю я и закрываю дверь.

Садясь в машину, тревожно поглядываю на эту дверь с великолепным, идеальным венком остролиста — что, если я закрыла себе дорогу в рай? Жутко подумать. Но мотор урчит, мой красивый мальчик ждет меня, и мы катим прочь по дорожке.

— Я подумал, — улыбается Малькольм (в последнее время он не бывал таким жизнерадостным и беззаботным. Честно говоря, он вообще мало на себя похож), — может, сначала прокатимся? Побудем вдвоем.

Это что значит — секс? Уж поцелуй-то наверняка, правда?

— Да, вполне. Отличная мысль. — Это сон, прекрасный сон, и я воспользуюсь им на всю катушку.

В окне «Холма фей» мельком вижу Одри — волосы на месте, голова в облаке пламени. В каждом окне весело мигают елки. Странное дело — все дома древесных улиц населены счастливыми немертвыми людьми. Может, индюшки, гуси, утки и куры тоже восстают с рождественских столов — косточки срastaются, плоть извергнута назад и регенерирует, перья прилетают обратно и стрелами втыкаются в тела и весь этот птичник вот-вот вылетит из пригородных окон и устремится в ночное небо?

— Изобел?

— Мм?

— Я тут подумал, может, обручимся на Новый год? Я понимаю, я еще на медицинском, тебе всего шестнадцать, ты хочешь в художественный колледж, и я не стану тебе мешать, если женщина не хочет быть просто

домохозяйкой, я считаю, она и не должна, я уважаю любое твоё решение... — (Ну точно, без тени сомнения, — это сон.)

Начинается снегопад, крупные хлопья плюхаются на ветровое стекло, будто кто-то из бадьи разбрасывает театральные блески. Погоди-ка, что такое?

— Погоди-ка...

— Что такое? — смеется Малькольм.

— Мы в Боскрамский лес едем?

— Ну да, а что?

— Ты же Малькольм Любет! — укоряю я его.

Он оглушительно хохочет:

— Виноват, — отпускает руль, задирает руки.

— Не надо! — ору я. — Не делай так, мы врежемся во что-нибудь. Мы и так во что-нибудь врежемся. Ты что, не понимаешь? Тормози сейчас же!

— Ладно-ладно, не гоношись. — Он уже не смеется, тихо спрашивает: — Иззи, что случилось?

Но поздно — с холма, из Боскрамского леса, во весь опор несется юзом другая машина. Я слепну, фары вспыхивают в глазах десятком солнц.

— Господи! — кричит Малькольм Любет, толкает меня к дверце, пытается закрыть собой, вытолкнуть наружу, но поздно, машина налетает на нас — взрыв, грохот, inferнальный визг, скрежет металла — и сталкивает с дороги, и мы слетаем с холма.

На машину обрушивается снежная лавина, мы ныряем в белый мир тишины, мир полной глухоты. Я обречена переживать это снова и снова — детали разнятся, но финал всегда один.

Может, пот какая мне назначена пытка: я Дженет, а Малькольм Любет — мой Тамлин. И царица эльфов не превращает его в змея в моих объятиях, во льва или в раскаленную кочергу, а забирает у меня свою человечью десятину, постоянно его убивая. Снова и снова.

По нет никакого заклятия. Эскадроны незримых ангелов слетаются к месту катастрофы, нетерпеливо ждут. Кожа у Малькольма Любета белая, как снег, губы синие, как лед. Они медленно приоткрываются, и из бреши доносятся единственно возможные слова. У меня из глаз текут слезы — замерзают, хрустальными подвесками застывают на щеках.

— Помоги мне. — Он не промолчит. — Помоги мне.

Но я беспомощна и помочь не в силах, у этой истории всегда, всегда несчастливый финал.

На моих ледяных губах — другие губы, теплые. Кто-то целует меня, но затем накатывает волна обжигающего холода, уносит меня под толстый

рифленый лед, в подводный мир. Здесь айсберг огромен, как собор, здесь мертвые остовы древних кораблей раздавлены паковым льдом. Мерцают и мигают косяки серебристых рыб, черные тени китов величавыми барками проплывают над головой.

Меня выкидывает наверх, будто пробку из полыни. И арктическом мире снегопад, серое небо сыплет снегом. Над головой снуют качурки, но льдинам мягко ступают белые медведи, но я не останавливаюсь, я поднимаюсь, я взлетаю над ледяной макушкой мира, все выше и выше, меня отпустила сила тяготения, меня отпустило все, я свободна.

Кружу над планетой, навещаю все углы Земли, хотя она кругла, — обледеневшие северные пустоши, литовские леса, огромное Тибетское нагорье, холодные азиатские и жаркие аравийские пустыни, в восходящих потоках всплываю над душными африканскими джунглями, летучей рыбой глиссирую по Южно-Китайскому морю, скольжу над бескрайней тихоокеанской синевой, затопившей Южное полушарие, наперегонки с закатом мчусь к Бермудам, на юг по хребту Анд, вниз, на другой край света, а там снова лед, чистый и голубой, будто замерз в начале времен, когда все еще было ново.

Но я покидаю Землю, улетаю выше, в чернильную черноту ночи, и сине-зеленый шар вращается под ногами. Я новое созвездие в ночном небе, я раскинулась по Северному полушарию, над левым плечом стоит Стрелец, над правым поднимается Скорпион — очередная малолетняя неудачница превратилась в нечто дивное и странное. Благословенная Изобел полнится светом, сверкает, как миллион брильянтов, я вот-вот стану сверхновой, взорвусь блистающими осколками, разлечусь по всей Вселенной. Меня переполняет архангельский экстаз — я подлинно стала собой. И так долго-долго...

...а потом что-то темное и жгучее тянет меня назад, к Земле. Закрываю глаза.

Открываю — а вокруг страх и ужас, святая святых лесной чащи. В чаще плохо потеряться, в чаще есть чего бояться. Не то слово. Под невидимыми ногами трещат сучки. Листва шелестит, точно крылья хищников. Кто-то незримый выпускает когти в каких-то дюймах от моей кожи. Чую гниль лесной земли, черноту ночи. Знаю, что никогда не выберусь из леса, не отыщу тропу, которая вновь выведет меня к свету деревенских окон; к дружелюбным пересудам на рынке в четверг; к колодцу, где толпятся деревенские девки в клетчатых платьях из скатертей; к деревенским парням, красавцам в кожаных камзолах; к храброму

дровосеку, разодетому в зеленый бархат с серебряными пряжками; к гоготу гусей, которых гусятница гонит вверх по склону.

Мне достанется лишь тропа, что уводит в чащу страха. Ложусь под деревом, закрываю глаза. Палая листва покрывает мое лицо. Копошится мелкое зверье, роет землю, хоронит меня, прячет от лесного ужаса. Глаза не открываются, веки мои — свинцовые крышки гробов, навеки спаяны, я похоронена в недрах холодной земли, почва забивается в ноздри, в уши, рот полон кислой земли.

Что-то поклевывает мне кожу, меня выкапывают из земляной гробницы, тащат к свету. Вокруг маячат люди, то в фокусе, то в расфокусе, инопланетяне какие-то, белые и расплывчатые, — безликие астронавты. Они ставят на мне опыты, тычут иглами, впихивают в меня трубки, потом вынимают, щупают меня, хотят разгадать. Одержимо твердят: «Изобел, Изобел», — зовут по имени тихо и настойчиво, гладят по щеке, щиплют ладонь, — «Изобел, Изобел», — дергают за пальцы на ногах, стучат по запястью, — «Изобел, Изобел». Хотят назвать меня и превратить в меня. Но я тогда исчезну. Я не открываю глаз. И не просите.

В один прекрасный день у одного из них появляется лицо, человеческое лицо. Вскоре лицом обзаводятся все, лишаются инопланетной своей природы, преобразуются в полосатых бело-голубых медсестер в кружевных чепцах, серьезных врачей в халатах и со стетоскопами, и все они то и дело фокусируются и расплываются.

Болит башка. словно ее накачали велосипедным насосом и она лопнула. Башка угрожающе пульсирует, мне отпилили макушку и выскребли мозги, а вместо них запихали ком перепутанных истрепанных нервов, но пожаловаться нельзя, потому что у меня сперли дар речи. Не хочу жить в этом металлическом мире боли, хочу назад, в холодную Антарктиду, поиграть с русалками-тюленями.

А вот и Гордон — наклоняется, берет за руку, шепчет в ухо:

— Изобел, Изобел.

И Винни, прямая как палка, сидит на больничном стуле, говорит:

— Ну что, очухалась? — раздраженно.

— Кокон? — спрашивает Дебби и тревожно щурится — глаза почти исчезли.

Юнис и миссис Примул с виноградом и белыми хризантемами — цветами смерти, и миссис Примул нервно спрашивает:

— Как думаешь, она нас слышит? — а Юнис отвечает:

— Слух отключается последним.

И Кармен — принесла орехи в шоколаде и грызет их один за другим. Миссис Бакстер и Одри, миссис Бакстер вытирает глаза салфеткой из моей тумбочки, а Одри говорит:

— Все в порядке, все будет хорошо, правда, Иззи? — и целует меня в лоб, и ее дыхание пахнет фиалковыми конфетами, а толстенная коса падает на одеяло.

Хочу спросить про мистера Бакстера — он жив или умер? Но во рту ковровый рулон вместо языка, шевелится только веко — трепещет и трясется.

— Иззи? Иззи? — говорит Чарльз, такой серьезный, — мне охота состричь, пусть он клоунскую рожу скорчит.



— Ну вот, — сияет миссис Бакстер, — выглядишь гораздо лучше!

— Где мистер Бакстер?

Лицо у нее затуманивается, но она берет себя в руки:

— Боюсь, он больше не с нами, Изобел.

И где же он?

Очень, очень постепенно все опять складывается — неподвижный калейдоскоп, решенная головоломка. Губы, подарившие мне поцелуй смерти, на самом деле возвращали меня к жизни. Первый мужчина, который меня поцеловал, — спасатель, вернувший меня в мир живых. Мое космическое странствие — коматозные приключения.

В плюшевом маковом мире морфия боль слегка отпускает. Все такое белое — стены, белье, накрахмаленные медсестринские фартуки. В белой комнате стоит еще одна кровать, простыни — заснеженные поля, подушки ледяно потрескивают. Краем глаза вижу, что там кто-то лежит. Снуют медсестры, разговаривают с этой другой пациенткой, голоса накатывают, отступают.

— Малка операция, и все, — улыбается медсестра, будто угощение ей предлагает.

По-моему, я эту женщину знаю. Слышу ее голос, странный, гипнотический, он пропитывает белую вату, в которую закутали мое стеклянное тело. Голос заполняет паузы между приходами медсестер и врачей, посетителей и снов. Минуют дни, возможно, недели, не исключено,

что годы, и я догадываюсь, что женщина рассказывает мне историю. Моя личная Шахерезада, знает все на свете, — должно быть, она сказительница конца времен. Но с чего все начинается? Ну как же, говорит она, начинается все честь по чести, с появления младенца...

**ПРЕЖДЕ**

## Отрадная тропка

Лондонский дом гудел как пчелиный улей — домочадцы готовились к возвращению сэра Эдварда и леди де Бревилль из-за границы. Да не одних, а с новорожденным младенцем. Сэр Эдвард де Бревилль послал в загородную фамильную резиденцию за собственной воспитательницей. Та блаженствовала на пенсии в сердце страны — море сплетен, реки вина из ревеня, — однако послушно откликнулась на зов долга и притащилась в город из Саффолка, соблазнившись железнодорожным билетом второго класса и перспективой взрастить очередное поколение де Бревиллей. Мало того, ей обещали целый штат — девочка на посылках, две няньки и еще одна воспитательница, подчиненная, — и наша воспитательница предвкушала, как на старости лет будет ими помыкать.

— Столько народу на одного младенчика, — прошептала горничная лакею. — Подумать только, а наша матушка вырастила шестерых в одиночку.

— Так ведь богатые — они другие, — отвечал лакей. — За ними сложнее присматривать.

Де Бревилли всегда были богаты — еще с тех пор, как прибыли вместе с норманнами и Ублюдок (Завоеватель и король) задаривал их землями в награду за рьяное подавление упрямых англосаксов. Так они с тех пор и богатели — необъятные земельные угодья в Уилтшире, фруктовые сады в Кенте, ячменные поля в Файфе, угольные шахты в Йоркшире, вереница элегантных зданий в Мэйфере.

Эдвард де Бревилль, последний в роду. Двадцать девять лет, статный красавец, как и все первенцы де Бревиллей. Ответственный человек, не забросил все эти сады с шахтами и приглядывал за управляющими. Богатеи не богатеют, если плюют на свои денежки. Герой войны, капитан, резкий шрам на красивой щеке — след немецкого штыка. Этот человек верил в короля и отечество, невзирая на все, что видел в полях Фландрии. Этот человек верил в крикет на деревенской лужайке и выказывал смирение в присутствии служителей церкви, даже простых викариев.

Не бывало холостяка желаннее — благопристойные девушки грезили о нем, светские девицы напускали на себя невинность, развитые торопыги сбавляли шаг и хвастались домоводческими талантами.

— Какая партия! — неистово шептались светские матроны за заливным омаром и желе «бордо».

В первый сезон после Великой войны за Эдвардом де Бревиллем гонялись все лондонские красотки. Которую обворожительную — а то и не очень обворожительную — благовоспитанную английскую розу он изберет себе в спутницы? Он ведь не прельстится насельницами заатлантических земель, этими выскочками, дочерями газетных магнатов, банкиров и вульгарных судоводов, готовыми душу продать за герцогство?

Нет, не прельстится — взор сэра Эдварда дотянулся чуть южнее Нью-Йорка и Бостона, в края поэкзотичнее и поглуше, и заморожен был прекрасной фигурой Ирен Оталора, наследницы аргентинского скотопромышленника.

— Говядина? — ужаснулись светские матроны.

Свою суженую сэр Эдвард отыскал не в странствиях по аргентинским пампасам — мать ее была французенка, сама она воспитывалась весьма по-европейски и лето проводила в Довиле, где сэр Эдвард и обнаружил ее за элегантным распитием *citron pressé*.<sup>[99]</sup> Поженились они за границей, скромно, дабы избежать ненужных вопросов касательно ее сомнительного католичества.

В первую брачную ночь сэр Эдвард узрел, как жена роняет к ногам шелковые одеянья, словно Боттичеллиева Венера, выходящая из иены морской. Она расплела длинные черные волосы, что кудрями спускались до талии, и выступила из одежды, и подняла руки над головой, предъявляя новоиспеченному мужу свое тело, и сэр Эдвард вспомнил Саломею, и Иезавель, и царицу Савскую, и возблагодарил Господа Бога за французских тещ, которые так замечательно просвещают своих дочерей.

На секунду ему весьма несвоевременно привиделась целая комната хладных английских роз, что чопорно застыли изваяниями меж брачных простынь, но это решительно непрошеное видение без следа рассеялось, едва к нему заскользила новоиспеченная жена. Аристократический наклон головы, кокетливая улыбка, торчащие груди с темно-коричневыми ареолами, смуглые пальцы, крепко обхватившие его мужское достоинство... Сэр Эдвард растворился в своем медовом месяце и своей медовой жене.

А теперь появилась маленькая Эсме.

— Очень красивый ребенок, — вынесла вердикт довольная воспитательница. — Сделаем из нее настоящую де Бревилль.

Леди де Бревилль ежедневно заходила в детскую, мелодично курлыкала над дитятком в кружавчиках и несла высококлассную ахинею по-французски, а воспитательница терпеливо улыбалась и ждала отбытия

леди, чтобы наконец покормить ребенка овсянкой и шотландской похлебкой. Леди де Бревиль проколола девочке уши, когда той было всего несколько недель, и теперь на младенческих смуглых мочках болтались золотые колечки. Как цыганка, считала воспитательница, но негодование свое держала при себе. Она же всего-навсего прислуга.

Каждый вечер — когда, полагала воспитательница, ребенку давно уже пора быть в постели — маленькую Эсме сносили на первый этаж и предьявляли гостям, что трапезничали у сэра Эдварда и леди де Бревиль, искрились, трепетали в своих блестках и перьях и прихлебывали коктейли. Что тут скажешь — иностранка, размышляла воспитательница, откуда ей знать, как разговаривать со слугами. С работниками детской леди Ирен беседовала надменно, и воспитательнице это не нравилось. Воспитательница против такого тона. У нее завелась привычка бормотать себе под нос.

Леди Ирен остригла роскошную шевелюру и теперь носила гладкое андрогинное каре, которое не вполне вязалось с ее роскошными латиноамериканскими формами. Ноги — и весьма красивые ноги притом — она обнажала откровеннее любой лондонской дамы, а чарльстон танцевала не хуже, чем в кордебалете. Сэр Эдвард подмечал властолюбие своей буэнос-айресской браминши, задумывался, правильный ли сделал выбор. Глядел на девушек — на леди Сесили Маркэм, леди Дайану де Вир, бледных и толстокожих, с бедрами записных лошадиц, — и жалел, что столь категорически их отверг. Уж эти-то знают, как обходиться с прислугой.

Ей ужасно жаль, объявила воспитательница, но она, если сэр Эдвард не против, возвращается в Саффолк, она никому дурного не желает, упаси боже, но у нее с леди Ирен разные точки зрения — чужеземные обычаи и все прочее, — она знала сэра Эдварда и взрослым, и малышом, но, если честно...

— Спасибо тебе, — любезно перебил ее сэр Эдвард. — Конечно поезжай.

Что за радость была маленькая Эсме. Сэр Эдвард наведывался в детскую почти каждый день. Командование взяла на себя заместительница Маргарет — справлялась она блестяще. Очень неказистая девица, очень религиозная, с кучей новомодных идей касательно свежего воздуха. Девочка на посылках сломала щиколотку, споткнувшись на слякотной

улице, и поправлялась у сестры. Оставались две няньки, Майна и Агата. Агата была красивая, воплощенная англичанка — светлые кудри, ореховые глаза, вздернутый носик. Мать Эдварда, вдовья леди де Бревилль, блюла строжайшие правила насчет забав со слугами — это просто неприемлемо.

— Это просто неприемлемо, — шептал сэр Эдвард в светлые кудри, поймав Агату на черной лестнице и вцепившись в ее спелую плоть.

Сэр Эдвард не планировал так громко кричать, содрогаясь в оргазме где-то в недрах нянькиных бумазейных юбок, да и Агата не собиралась верещать так пронзительно, когда аристократический член проник в ее плебейское лоно, и оба они, естественно, ни в коем случае не желали привлечь внимание хозяйки дома. Однако в мгновение ока на черной лестнице воцарилась ужасная суматоха, и темный ангел мщения уволок сэра Эдварда наверх, где не увидит прислуга, которая, впрочем, отчетливо расслышала, как ангел на языке полиглотов во всю глотку объявил сэра Эдварда распроклятым *cochon loco*.<sup>[100]</sup>

Городской особняк погрузился в некоторый раздрай. Леди Ирен на несколько недель отбыла в Париж поразмыслить. Она вовсе не собиралась разрывать брачные узы, но сэру Эдварду полагалось немножко помучиться, явить некое раскаяние — изумрудное, к примеру, ожерелье или скаковую лошадь. Агату уволили без рекомендаций. Воспитательница Маргарет слегла с ужасным гриппом. На Майну свалилось столько работы, что она совсем пала духом.

— Когда же это у меня был выходной? — спрашивала она Эсме, а та агукала и размахивала кулачками.

Майна была влюблена в одного лакея, безусого и бессердечного юнца по имени Брэдли. Недавно Брэдли отверг Майну. Сердце у Майны было разбито.

— Ну что, пошли погуляем, — вздохнула Майна и понесла Эсме в заднюю прихожую, где стояла громоздкая детская коляска.

Майна в унылом наряде няньки провезла коляску по зеленым лондонским улицам, через кованые ворота свернула в парк, вынула горбушку из кармана, кинула уткам, села на скамью, пропела детскую песенку, поглядела, как сонная Эсме беспомощно убаюкивается, достала из кармана и съела крекер, заметила Брэдли на том берегу пруда — да быть того не может. Правда, у него сегодня выходной — Майна знала весь распорядок Брэдли. Он ее растоптал, использовал и растоптал, лишил невинности и выбросил, как старую тряпку (Майна запоем читала дешевые романы), однако Майна по-прежнему любит его, и сердце ее принадлежит

ему навеки.

«Кря-кря-кря-кря-а!» — сказали утки, когда Майна вскочила, роняя крошки и слезы, — с Брэдли была другая. И не просто другая, но Агата, опозоренная нянька, — великая блудница. Падшая женщина. И с Брэдли она вела себя крайне фамильярно. И давно она так близко знакома с Брэдли? Майна зашагала к ним — допросить, выбрать, в слезах повиснуть на шее Брэдли и вымолить взаимность, а если не взаимность, тогда хоть чуть-чуть денег на воспитание того позора, который Брэдли поселил в ее аккуратном округлом няньском животике. Ибо Майна тоже нашла. Ни Майна, ни Брэдли не подозревали, что и Агата во чреве своем носила семя сэра Эдварда. Будущие безотцовщины кишмя кишели в лондонском парке. Младенец Эсме мирно почивала.

А теперь кто идет по дорожке? Убогая замухрышка, что расплылась и прежде времени состарилась. Замурзанное бурое пальто, никогда не бывавшее в моде, большой мужской зонтик, объемистый «гладстон». Пред нами Мод Поттер, жена Герберта Поттера, конторщика из судоходной компании. Родных у Поттеров не было — никого, только они двое. Миссис Поттер потеряла четырех младенцев — умерли во чреве, — а сейчас возвращалась из благотворительной больницы, где родила пятого, мертвую девочку. Начальство даже не отпустило мистера Поттера с утра встретить жену и проводить домой. В сумке у нее лежала больничная ночная рубашка и детские одежки, захваченные в припадке оптимизма. Грудь подтекают, толстый пустой живот болтается, Мод Поттер совершенно не в себе и подумывает кинуться в пруд.

«Кря-кря-кря», — сказали утки. Вот тебе и сказка из книжки, подумала Мод Поттер, — превосходная большая коляска, для малолетнего королевского отпрыска сгодится. Мод Поттер заглянула. Ты смотри-ка — младенец! Бедняжечка, он ведь наверняка чей-нибудь? Она заозиралась: на том берегу пруда мужчина и две женщины, одна, в платье няньки, визжит и орет, да такими словами, каких ни один приличный человек слыхом не слыживал.

— Шлюха! — орала Майна Агате. — Лахудра!

Агата тоже вопила, а лакей тцился превратиться в невидимку. Таким людям нельзя доверять младенцев. Бедный Младенец.

Дитя во сне тихонько захныкало. Мод Поттер решила, что возьмет его на руки и слегка потискает. Младенец открыл глаза и ей улыбнулся.

— Ой, — сказала Мод Поттер. Грудь ныли, матка сокращалась.

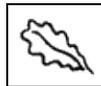
Младенец, по сути дела, ничей, подумала она, осторожно вынимая его из одеяла, — может, его бросили? Может, сам Господь Бог поместил его

здесь, потому что Мод с Гербертом заслужили ребеночка (Мод была очень религиозная)? Да, вот именно, младенец пришел с небес, как падший ангелочек. А может быть — Мод уже увлеклась, — это подарочное дитя, как Дюймовочка, дар эльфов... ночная рубашка выпала из «гладстона», вот и гнездышко младенцу, ореховая скорлупка...

Слезы застили Майне глаза. Чуть в пруд не упала, шагая прочь от Агаты и лакея, задрав подбородок, стараясь вновь обрести достоинство. Она не оглянется, не посмотрит, как они уходят рука в руке — искуситель и его падшая женщина. Майна доковыляла до детской коляски, сняла ее с тормоза, взялась за ручку, почувствовала, как мягко ходят пружины, толкнула по дорожке... остановилась. В изумлении смахнула слезы...

### **НЕТ МЛАДЕНЦА!**

Майна ахнула, выдернула из коляски одеяльца и покрывальца, — наверное, младенец прячется где-то в глубине. Вытряхнула подушки, перевернула бы коляску и потрясла, не будь вся конструкция такой тяжелой. Майна закричала — страшно, замогильно, даже Агата с Брэдли сообразили, что не бывает таких криков лишь от разбитого сердца, и бегом помчались к ней через парк.



Назавтра после появления младенца Герберт увидел газетные заголовки: «Похищена малолетняя наследница знатного рода». Мод сказала, что нашла брошенного ребенка в парке, и Герберт готов был поверить, он же не видел кружевных распашонок и шикарной коляски, а также серег (Мод их тотчас сняла, к немалому расстройству младенца), Герберт хотел поверить, что бедняжка Мод сделала доброе дело — спасла бедную деточку, но увидел заголовок, и внутри у него что-то оборвалось.

Он купил газету и прочел особые приметы.

— Четыре месяца, темные волосы, темные глаза? — спросил он, размахивая газетой у Мод перед носом. — Это тот ребенок? — (Она не отвечала — качала младенца на колене, пела песенку.) — Тот? — заорал Герберт, и младенец разрыдался.

— Пап, — мягко упрекнула его Мод, — не огорчай Младенца.

Мод полулежала в постели, опираясь на подушки, и кормила младенца грудью. Герберт отвел глаза.

— Господь к нам милостив, — вздохнула довольная Мод. — А теперь имя, пап, — как мы ее назовем? Я считаю, Флора Анджела, — сказала она, не дожидаясь ответа. — Чудесное красивое имя для чудесной красивой девочки.

Герберт сидел за столом, обхватив голову руками. Мод агукала младенцу в колыбельке — вовсе не в ореховой скорлупке, а в нижнем ящичке комода. Может, думал Герберт, захлопнуть ящик и забыть об этом ребенке, к чертовой матери? История сама по себе не рассосется — день за днем газеты вопили о «младенце Бревиллей». В каждом номере одна и та же зернистая фотография ребенка на крестинах — крестной матерью не крупная представительница королевского рода, родители девочки такие богатые, такие красивые.

Слишком поздно сознаваться, они увязли по уши, всю жизнь проведут в тюрьме. Мод тогда конец. Поздно возвращать младенца — Мод свихнется, если отнять у нее малышку. Герберт старался не привязываться к ребенку, твердил себе, что ребенок не его, но девчонка уже держала его сердце в пухлом кулачке.

— Эти Бревилли себе еще толпу нарожают, — отмахивалась Мод.

— Соседи заметят, — вздыхал Герберт. — Ты уходишь в больницу — только срок подошел, через две недели возвращаешься — ребенку четыре месяца... — Эта арифметика сводила его с ума.

— Значит, переедем, — отрубил Мод.

Она обрела могущество — Герберт никогда ее такой не видел. Мод вручила ему дорогие младенческие тряпки, и Герберт сжег их на заднем дворе.



— Красотка у вас девчоночка, ну? — промолвила миссис Рейган, глядя, как Флора Анджела в углу играет в домик с малолетней Берил Рейган; миссис Рейган только что въехала на первый этаж большого уродливого дома, где поселились и Поттеры. — Сколько ей, вы сказали? — спросила она.

Мод протянула ей чашку чая.

— Три, почти четыре, — с гордостью ответила она.

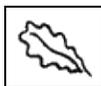
— Командирша она у вас, ну? — сказала миссис Рейган, подозрительно наблюдая, как Флора Анджела сидит на табуретке, а Берил трудится в их понарошечном доме.

— Да уж, малышка Фло такая — знает, чего хочет, — сказала миссис Поттер. — Хорошо, что у нее будет подружка.

Флора Анджела вызвалась спеть и очень красиво, признала гостья, прошепелявила песенку.

— Актрисочка она у вас, ну? — чопорно отметила миссис Рейган; лично ей не нравилось, когда детям разрешают бахвалиться, но что уж тут поделать — каждому свое.

Про себя она недоумевала, как это унылая и потасканная чета Поттер умудрилась произвести на свет такого симпатичного ребенка. Флора Анджела походила на эльфа — подвижная, как ртуть, карие глазищи, кудри черны как вороново крыло (миссис Рейган ужасно завидовала, тускло-бурая стрижка Берил с этими локонами не сравнится). Флора Анджела обречена кончить плохо, но, пожалуй, выкрутится.



— Красотка у них девчоночка, ну? — сказал мистер Рейган, снимая подтяжки после тяжелого трудового дня; миссис Рейган вместе с ним выглянула из верхнего окна в чахлый садик, где Берил, Флора Анджела и какие-то соседские мальчишки играли, бешено вопя. — Сколько ей? — спросил мистер Рейган, а его жена поджала губы и ответила:

— Слишком взрослая, скороспелка, восемь лет, как Берил, если тебе так интересно.

— Во что они играют? Ну то есть конкретно? — озадаченно нахмурился мистер Рейган.

— Да бог его знает, — отвечала его супруга.

Флора Анджела привязала Берил к дереву — замотала ей руки куском старой веревки из сарая.

— Будешь человеческой жертвой, — сказала она Берил.

— Не-ет! — взвыла та.

Флора Анджела презирала забитую Берил — такая слабенькая, такая глупенькая, Флора Анджела хотела ей *показать*, до чего она глупа, хотела, чтоб Берил раскаялась. Она сунулась носом Берил в лицо:

— Да-да-да, — и голос у нее был странный, хриплый,

пронзительный, — потому что я злой разбойник, я вырву у тебя сердце и сожру.

— Полегче, Фло, — сказал один мальчик, от задышливых воплей Берил несколько забеспокоившись.

Флора Анджела топнула ногой и погрозила ему кулаком:

— Да ты просто *трус*, Гилберт Бойд!

Гилберт собрался с духом и сказал:

— Лады, тогда так — мы ее сожжем, как ведьму.

Все мальчишки хотели нравиться Флоре Анджеле, ни один не хотел выставить себя трусом.

— Кончай дурака валять, Берил! — рявкнула Флора Анджела.

— Ага! — хором поддержали мальчишки, уже увлекаясь.

— У кого спички? — спросил один.

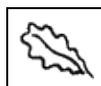
— На, — сказал другой.

Они в волнении суетились под деревом, таскали хворост и деревянные ящики для костра. Флора Анджела подняла спички повыше, показала Берил.

— Вот что бывает с глупыми, — прошипела она.

Мальчишки завyli и запели, как дикари, угрожающе заплясали вокруг дерева, а Берил заорала.

— Освальд! — крикнула мужу миссис Рейган. — Сходил бы ты к ним, — по-моему, нашу Берил убивают.



— Подменьш, — вслух сказала себе Мод Поттер, прокручивая недельную стирку через выжималку в прачечной на задах.

Вот что бывает, если подобрать ребенка, ничегошеньки о нем не зная. Кто его разберет, — может, младенца в кружавчиках нарочно подложили в ту коляску, чтоб одурачить Мод и Герберта. Чтобы в ловушку их заманить.

Флоре Анджеле было двенадцать, и была она хулиганка, почище злого эльфа.

— Она у нас совсем неуправляемая, мам, — печально тряс головой Герберт. — Вот что бывает, когда не знаешь, откуда ребенок, кто родители, — пускай голубая кровь, но что они за люди? Может, лгуны, убийцы, воры — ты глянь на нее, ее уже раз полиция домой приводила за воровство, и эта история с Берил Рейган... смертоубийством же могло кончиться, и эти ее закидоны... грех в ней живет, мам.

Мод выколачивала грех из Флоры Анджелы.

— Это ради твоего же блага, — пыхтела и сопела она, взбираясь по лестнице с папиным кожаным ремнем.

— Как это так? — недоумевала Флора Анджела. Собственные родители избивают тебя до полусмерти? Им же полагается любить тебя и защищать?

Во мраке ночи моржовое тело Герберта втискивалось между штопанными простынями на ее узкой койке.

— Так, Флора Анджела, — хрипло шептал он, а его пальцы в чернильных кляксах пихали и тянули, — это для твоего же блага, а если кому расскажешь, клянусь Богом, который нас сейчас видит, я тебя убью.

И для пущей убедительности его лапищи смыкались на ее тонкой шейке, и он чувствовал, какая она худенькая, какая юная, представлял, как хрустят ее птичьи косточки, и тогда его затоплял стыд за то, что он с ней творит. Но теперь-то уже поздно, уговаривал себя Герберт, он себе уже купил билет до преисподней в один конец, да и ей заодно. И вообще, она же ему не настоящая дочь. Чтоб она утешилась, он купил ей пакет леденцов на палочке.

Ну честное слово, рассуждала Флора Анджела, меня, наверное, украли у настоящих родителей, а эти занудные невежды мне никто, мне полагалось стать принцессой, роскошные украшения, красивые платья, жила бы я в замке на вершине горы, и были бы у меня *сотни* слуг. Нет в жизни справедливости.



Миссис Рейган застала четырнадцатилетнюю Флору Анджелу с мистером Рейганом. В прачечной. Мистер Рейган пускай ревет и орет сколько влезет — миссис Рейган не дура и все видела.

— За что, Фло? За что? — с претензией на поэтичность проныла миссис Поттер. — За что нам дано чудовище вместо ребенка? — Она как-то упустила тот факт, что Флора Анджела была не дана, но взята.

— Я не чудовище, — фыркнула Флора Анджела. — Мистер Рейган мне всякое обещал.

— Какое всякое?

— Красивые вещи, — храбро сказала Флора Анджела. — Сказал, что купит мне красивых вещей, если я ему разрешу. — Миссис Поттер закатила

ей пощечину, и Флора Анджела заорала: — И он делал, что вот он делает уже который год! — И она театрально указала на мистера Поттера.

Мистер Поттер ударил ее по другой щеке:

— Ты что брешь-то, а?

— Ах ты, шлюха! — завопила миссис Поттер, и Флора Анджела бежала к себе в комнату, пока ее не зашлепали по щекам до смерти.

Флора Анджела сидела под замком наверху.

— Что делать будем? — спросил мистер Поттер. Он сидел за столиком в гостиной, обхватив голову руками.

— Может, отдать ее обратно? — предложила Мод.

— Обратно? — почесал в затылке Герберт.

— Откуда взялась, — пояснила Мод, — Бревиллям этим. Вот пускай они с ней справляются.

— Мы не докажем, кто она была, — угрюмо сказал Герберт.

— Я только-то и хотела что маленькую девчущечку, наряжать ее и всем хвастаться, — грустно сказала Мод. — Вот как она отблагодарила нас за то, что ее вырастили.

— Плохо она кончит, — покачал головой Герберт.

Они все как с цепи сорвались — отец, мистер Рейган, даже Гилберт Бойд, который спер у матери заколку со стразами, чтобы тоже потыкаться как-то раз дождливым субботним вечером. Луну с неба достанут, только бы ты им разрешила, а если разрешишь, всякими словами потом обзываются.

Который день под замком, только еду регулярно суют, будто она тут в камере для приговоренных. Будь их воля, они бы ее в рабство продали, а не в услужение. Бред какой-то. Твердят, какая она плохая дочь, но сами-то *хоть чуть-чуть* понимают, до чего плохие из них родители? Она их не простит. Флора Анджела пощупала рубцы от ремня. Пора это прекращать. Сию минуту.

— Я о собеседовании для нее договорился, мам, — весело сказал Герберт за чаем с хлебом, маслом и конченной селедкой. — Судомойка, большой дом в Норфолке, что скажешь?

— Скажу, что ты умница, Герберт.

— Где она?

— У себя сидит, — похвасталась Мод. — Пойду чая ей отнесу.

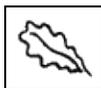
Флора Анджела схватила тарелку с селедкой, этой селедкой ударила

мать по лицу, ринулась по лестнице и на полном ходу врезалась в Герберта, преградившего ей дорогу вниз.

— Не спеши, миледи! — проворчал он, пытаясь ее сцапать, но она вывернулась, ускользнула, прошмыгнула мимо него и помчалась к двери.

Впрочем, это еще не все. Позже, гораздо позже, когда весь мир уснул, Флора Анджела прокралась в заднюю калитку, открыла сарай и отыскала тяжеленный топор. На цыпочках поднялась по лестнице в спальню Мод и Герберта. Они дрыхли, уставив нос в потолок. Уродливые. Раннимые. Мод храпит, как боцман. На голове сеточка, будто чепчик, зубы на тумбочке. У Герберта ручеек слюны в серебристой щетине на подбородке. Флора Анджела представила, как поднимает топор, а потом он тяжело падает, напополам разрубает Герберту голову на подушке — тот и не проснется. Мозги брызнут на стену, на лицо Мод. Мод одурело очнется, увидит разбрызганные мозги мужа, распахнет рот, но закричать не успеет — Флора Анджела оборвет крик ударом топора.

Я могу, подумала Флора Анджела, взвешивая топор в худых руках. Но не хватало только из-за этих двоих отправиться на виселицу. Она поступила иначе: забрала квартплату из тайника в чайнице, а топор оставила в ногах их кровати, чтоб хорошенько перепугались, когда проснутся.



Каждый пятничный вечер — один и тот же мужчина. Всегда один за столом, столом номер два, у окна, даже если очень людно.

— Как это он ухитряется? — спросила Мейвис и взвизгнула, ошпарившись водой из кувшина.

— Три чая, три кекса, одна булочка с изюмом, стол шестнадцать, — на бегу пробурчала себе под нос Дидра. — Какой-то сивуч откормленный.

— Негодяй последний, — сказала Мейвис, — точно вам говорю.

Дождь лил как из ведра — «как из шланга пожарного», сказала Дидра. Снаружи серо и уныло, внутри ярко и душно, но дождь, куда бы ни шел, носил с собой меланхолию.

— На чай ничего сегодня не дали, — сказала Флора.

— Три чая, один кофе, две экклские слойки, один имбирный кекс, один кофейный торт, стол восемь, — сказала Дидра. — Пошли сегодня в киношку, Фло?

Человек за столом номер два махнул Флоре легонько, почти незаметно.

— Не, что-то неохота, давай я его возьму.

— Кого?

— Сивуча.

Флора подбежала — вся черно-белая, белый расшитый чепец надвинут на лоб, плотные черные чулки. Что-то она разглядела в сивучевых глазах, — может, ей кое-что и перепадет. Он и впрямь походил на сивуча, распухший, в пальто, весьма, честно говоря, старомодном.

— Добрый день, сэр, что вам принести?

— Как зовут?

— Флора.

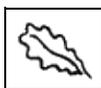
— Красиво. Сколько лет?

— Восемнадцать, сэр, — мило соврала Флора. Ей было шестнадцать.

— Ну ты подумай, — улыбнулся он и пухлой ладошкой коснулся ее локтя. — А я Дикки Лэндерс, голуба, — слыхала? — и Флора ответила:

— Ну разумеется, — хотя слышала впервые.

— Если очень постараться, голуба, — сказал он, прикрыв ленивые глаза, больше смахивая на саламандру, чем на тюленя, — на чай дам очень щедро, — и украдкой, чтоб никто не заметил, огладил ей бедро на случай, если у нее есть вопросы по сути дела. Вопросов у нее не было.



Дикки поселил Флору в Бейсуотере, скромная квартирка — гостиная, спальня, буфетная и отдельный туалет, газовый огонь в старомодных каминах и газовая колонка над раковиной. Называл себя «предпринимателем», а это означало насколько Флора поняла, что он разом лакомился кучей пирогов, по большей части сомнительных, если бывают на свете сомнительные пироги. В основном жил в бейсуотерской квартирке, покупал Флоре красивые вещи. Да какая разница? — рассуждала она. За леденцы на палочке, за новое платье, за крышу над головой. А Дикки Лэндерс был могуществен — даже раздобыл ей новые документы, когда у нее случились нелады с законом.

— Да легко, — сказал он, вручая ей свидетельство о рождении.

— И кто я теперь? — спросила Флора. Элайза Джейн Деннис.

— Она правда была, — ухмыльнулся Дикки Лэндерс. — Умерла малюткой, еще и двух не исполнилось.

Она лажанулась, забеременела и сама не справилась — только джин, горячие ванны да прыжки со стола. Дикки разъярился, отправил ее к «знакомому», лишившемуся практики хирургу, но тот оказался поразительно нечистоплотен, инструменты у него были устрашающие, Элайза струсилась (что для нее нетипично) и спустя четыре месяца воспоследовал результат — мальчик. Дикки забрал его из больницы, а когда она спросила, куда он дел ребенка, запалил сигару и рассмеялся:

— Сдал обратно в детский магазин, голуба, — а потом увидел ее гримасу, погладил по руке — неловко, с чувствами у него всегда выходило неважно, — и утешил: — Очень респектабельная пара, врач и его жена, доктор Любет.

Он вывозил ее в свет — в театр («Это про тебя», — смеялся он, когда они посмотрели «Пигмалиона»), в ночные клубы, рестораны, даже в онеру. Дикки Лэндерс водил знакомство со всем подлунным миром, от высоких судей до мелких жуликов. Среди преступников слыл аристократом. Держал клуб в Вест-Энде под названием *Hirondelle*.<sup>[101]</sup> Там он вел «дела», нашептывал через стол в распахнутые уши, потирал жирными пальцами, поясняя свою мысль, снова откидывался на спинку дивана и неудержимо хохотал, отчего едва не лопалась накрахмаленная рубашка вечернего костюма. Элайза, примостившись на табурете у стойки, пила джин, запоминала, кто есть кто. И что есть что. Научилась многому — приличные девочки о таком и не ведают, а если им рассказать, не поверят.

— Но кто сказал, что я приличная? — говорила она зеркалу.

Элайза теперь была не просто одной из девчонок Дикки — она была особенная.

— Ты у меня особенная, голуба, — смеялся он и сдавал ее только лучшим своим клиентам («высший сорт»).

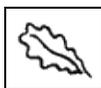
Элайза училась вести беседу как полагается — училась по фильмам и у аристократии, что забредала в *Hirondelle*, ища грязи и экзотики, в объятиях полупреступных элементов мечтая, чтоб папаши увидали, как нехорошо себя ведут их отпрыски.

— Я из тебя сделал леди, — сказал ей Дикки Лэндерс, а Элайза рассмеялась:

— Голубчик, ты сделал из меня первоклассную проститутку, не более того.

— Как скажешь, — сказал Дикки, глядя ее по спине.

— Я как эта война, дьявол ее дерит, — вздохнула Элайза. — Полнейшая липа.



Славный особнячок в Найтсбридже («высший сорт»), владелец до конца боевых действий в Америке.

— Арендовал, все по закону, — сказал Дикки. — Господи, обожаю эту войну.

Денег у него было как грязи. Элайза приходила в особнячок раза два-три в неделю. Всегда важные птицы — английский генерал, американский гость инкогнито, офицер «Сражающейся Франции», польский полковник. Дикки работал на правительство — полагал, что это анекдот десятилетия.

— Я считаю, ты тоже работаешь на победу, — говорил он ей.

Элайзе эта жизнь уже опостылела — отказываться от денег неохота, но не станет же она до конца дней своих ради денег ноги раздвигать. Правда ведь?

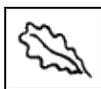
Временами — изредка — лица возвращались. Малорослый политик, у которого не получалось, жирный бельгиец, адмирал, которого хлебом не корми — дай нарядиться в ее тряпки. Был один английский полковник сэра Эдвард де Бревилль, сливки сливок общества, большая шишка в кабинете военного времени («Высший сорт, — сказал Дикки, — чего ни захочет, все предоставь»), вечно таскал ей чулки и виски, называл своей великолепной курвой. Говорил, что она кого-то ему напоминает.

— Все так говорят, голубчик, — смеялась Элайза.

Он целовал ее в ухо и отвечал:

— Если б моя жена умерла, чего она, увы, не сделала, я бы на тебе женился. — Детей у сэра Эдварда не было, только «мелкий выблядок от няньки», которого он содержал. — Вот ты бы мне подарила сына и наследника, — говорил он.

Порой Элайза грезила о том, как крадет у Дикки пистолет, едет к де Бревиллям в Саффолк и стреляет леди Сесили в голову. А потом сэра Эдвард — такой красивый и такой невероятно богатый — на ней женится. Впрочем, джентльмены редко женятся на своих шлюхах, а Дикки ни за какие блага не отпустит курицу, что несет ему золотые яйца, он скорее ее убьет. Нет в жизни справедливости, ну честное же слово.



В убежище было холодно, промозгло и пахло сырой землей. Темно хоть глаз выколи. Поначалу Элайза решила, что она тут одна, потом что-то зашуршало — то ли крыса, то ли человек. Элайза щелчком раскрыла зажигалку, золотую, с монограммой, Дикки подарил, и желтый огонек осветил человека в гимнастерке — тот съежился в углу, натянув фуражку на лоб.

— Добрый вечер, — сказала Элайза, и он что-то в ответ бормотнул; вдалеке грохнула бомба. — Я, голубчик, не кусаюсь, — сказала она и закурила. — Будешь?

— Спасибо, — хрипло ответил он.

— Чего застенчивый такой? — спросила она, когда он бочком подошел за сигаретой.

Наверняка правительство выпускало указы насчет флирта в бомбоубежищах, но Элайзе нравилось.

— О чудовище Франкенштейна слыхала? — спросил он, забирая сигарету.

— Слыхала, а что, оно тоже тут? — рассмеялась она.

— Да, — сказал человек и сдвинул фуражку на макушку.

Шарахнулся, когда Элайза поднесла зажигалку ближе. Половина лица воспалена и распухла, кожа тугая, лоснится. Скукоженный глаз оттянут вниз шрамом.

— Сбили, горел, — сказал он, будто извинялся.

В неверном свете она разглядела рыжие волосы, бледно-золотистые ресницы и красноватые веснушки, разметившие здоровую кожу. Мальчишка мальчишкой. Бомбы загрохотали ближе, и ей показалось, что он вот-вот расплчется. Очень мягко, словно дикого зверя успокаивая, Элайза погладила его рубцы. Затушила огонек и сказала:

— Ну, голубчик, ночью все кошки серы.

Потом, когда он притиснул ее к кирпичной стене бомбоубежища и уже простонал свое «спасибо, спасибо», которого не слышно было за грохотом доков под Блицем, он все время извинялся, потому что она плакала, он «чувствовал себя подонком» и просил прощения, он ведь «никогда такого ни с кем не делал». Элайза проглотила слезы и ответила:

— Ничего страшного, я тоже.

Потому что и в самом деле это было как в первый раз — нежность, и ласка, и, ну... удовольствие, о котором ей прежде и в голову не приходило задумываться.

— Высший сорт, голубчик, — ласково прошептала она ему в волосы, когда он кончил.

— Ты где была? — спросил Дикки, едва она вошла. — Я думал, ты под бомбежку угодила.

— Не говори глупостей, голубчик, я работала на победу.

Мертвецки спящая рука Дикки прижимала Элайзу к постели. Элайза ее передвинула, наклонившись за сигаретами. Устроилась повыше, оперлась на подушки. Комнату заливал лунный свет, вздувался тюль, по стенам ползали тускло-серебристые узоры. Элайза искала спички. Зажигалку она потеряла в бомбоубежище. Пора сваливать из этого бардака, стать нормальным человеком. Она хотела мужчину, который полюбит ее и будет защищать, хотела детей, которых она станет лелеять. Обыкновенная жизнь. Она глубоко затянулась и вспомнила уродливого мальчика со шрамами. По-прежнему чувствовала его прохладные руки, чужая отсыревшие кирпичи, согревалась текучим теплом, что излилось в нее.

Когда завывала сирена, Элайза не спала. Она уже оделась. Костюм, пальто, шляпка, лучшая пара туфель. Больше она ничего с собой не возьмет. Тут требуется широкий жест — все бросить и уйти. Лучше уйти в дорогих шмотках.

Она подскочила от воя, потом решила — пускай, упадет бомба — и ладно. Дикки заворочался, сказал:

— Дьявол тебя дерит, — но было поздно.

Особняк встряхнуло раз, потом опять, сильнее. Гром такой, что ушам не верится, прямо слышно, как распадается дом, нечем дышать, как ни пытаешься вобрать воздух в легкие, вдыхаешь одну пыль. Ударная волна вибрировала в груди, Элайза понимала, что сейчас умрет...

...не умерла. Фасад исчез, она стоит на первом этаже, а только что была на третьем. Далеко-далеко, в глубинах сознания, трезвонили колокола и кричали люди. Воняло горелым. Кто-то шел к ней в пыли. Ей почудилось, что к ней на помощь спешит уродливый рыжий мальчик, и она улыбнулась. Но нет — другой кто-то. Подхватил ее на руки, вынес из дома прямо сквозь бывший фасад, поставил на тротуар.

— Вы как себя чувствуете? — с тревогой спросил он.

Элайза пощупала его летчицкую шинель. Он эту шинель скинул, очень нежно закутал Элайзу.

— Мой герой, — сказала она. Опустила взгляд — она потеряла туфлю. — Моя туфля, — растерялась она. — Я туфлю потеряла.

Она слыхала о таком — люди еле-еле спасались от смерти и зацикливались на бессмысленных мелочах. Шок — она в шоке.

— Я принесу, — сказал он и зашагал прочь, как во сне.

— Да? — улыбнулась она. — Они такие дорогие, голубчик.

Ее спаситель исчез в доме, вернулся с туфлей. Двое пожарных вытащили Дикки Лэндерса, но никто не возрадовался. Дикки Лэндерс был до крайности мертв.

— Вы его знали? — спросил ее спаситель, сняв фуражку и вытирая лоб.

— Впервые вижу, — ответила она.

Он подставил локоть:

— Позвольте напоить вас чаем? Тут кафе за углом.

Скоро рассветет.

— Эпоха рыцарей жива и здорова, — засмеялась она, и в глазах у нее стояли слезы. — И зовут ее?

— Гордон. Гордон Ферфакс.

— Чудесно, — прошептала Элайза.



А теперь у нас затык. И затык в *нем*. Она и не собиралась с ним спать, не собиралась изменять Гордону. Разумеется, Вдова и Винни считали, что она беспутствует каждую ночь, но нет, это впервые. Честно. Большая ошибка, надо прекратить. Он ей даже не нравился. Он неприятный, он не... добр.

Да просто игра — ей было скучно, он под рукой, так близко, такой пылкий. И секс так... мрачен, в этом есть своя прелесть. Гордон, он такой... цельный. Поначалу это было чудесно, она взаправду его любила. Он герой. Но он не мог остаться героем навечно — вот ведь жалость. Она была вся как на иголках. Потому и завела любовника — слегка позабавиться, чуть-чуть покомандовать. А теперь эту игру никак не прекратить. Она и не догадывалась, как он распален, как одержим. И безумен.

Он ее не отпускал. И не расскажешь Гордону, никому не расскажешь. Она хотела рассказать Гордону, хотела, чтоб он ее защитил, он всегда ее защищал. Она задыхалась, ей нужен был глоток воздуха. Может, просто взять и исчезнуть, сбежать, бросить всю эту унылую дребедень?

Она любила Гордона — правда, честно любила, но он ее бесил. Он такой, дьявол его дерит, хороший. И выходило, что она, дьявол ее дерит, такая плохая. Он ходил за ней хвостом. Ну в самом деле, в душе она подозревала, что взаправду любила — если не считать Чарльза и Изобел, их-то само собой, — лишь того исшрамленного рыжего мальчика в бомбоубежище. Даже имени его не знала, пробыла с ним каких-то полчаса. Меньше. Не удивилась бы, родись Чарльз с рубцами на лице, — к счастью, обошлось без рубцов. При мысли о детях невидимая рука стискивала ей сердце.

Старая ведьма сводила ее с ума — говоря точнее, две ведьмы. Гордон то, Гордон сё — им надо сматываться из этого дома, жить собственной жизнью. Может, убить старую ведьму, да и Винни заодно? Бред какой-то. Она и впрямь свихивается.



Пикник, каникулы все-таки, и мы, дьявол его дерит, всю неделю баклуши бьем. На автобусе в город, встретим папу в обед, устроим ему сюрприз.

Скандал у Гордона с Элайзой вышел грандиозный. Он никак не желал оставить ее в покое, бежал за ней по лесу, а ей хотелось побыть одной.

— У тебя любовник, да? — заорал он, и слова отдались эхом в безмолвном осеннем воздухе.

— Тише, — огрызнулась она, — дети услышат. Оставь меня.

— Я тебя не понимаю, я, дьявол тебя дерит, не понимаю.

Гордон плакал. Элайза ненавидела, когда он слабый. Он притиснул ее к дереву.

— Перестань! — прошипела она.

— Это с какой такой радости? Признавайся. У тебя любовник?

— Мне больно, Гордон!

Ей было по правде больно, его ладони стиснули ей горло, сдавили трахею, она стала отбиваться, он ее пугал.

— Говори! — прорычал он голосом совершенно потусторонним. Убрал руки. — Признавайся, ты же мне изменяла? И до меня, — вдруг прибавил он, — у тебя было много мужчин? Наверняка толпа?

— Да, — рывкнула она, — сотни, ну еще бы! Не знаю сколько. Не считала.

Он закатил ей пощечину:

— Врешь! — а она изо всех сил ударила его коленом между ног, и он, ахнув, скрючился.

Элайза тотчас его пожалела, протянула ему руку, помогла подняться, сказала:

— Ох, Гордон, — грустно, — ну что за глупости.

Хотелось все ему рассказать, припасть к груди, схорониться в объятиях, найти искупление в этом безобразном мире. Она прислонилась к дереву и сказала сухо, ровно:

— Я была проституткой, обыкновенной, она же типичная, мне за это платили, голубчик. Кто платил, с тем и еблась. — Слышала свой голос, понимала, что нельзя таким тоном, ничего не могла поделать, устала до смерти.

Гордон обеими руками вцепился ей в волосы и затылком саданул ее об дерево. Она рухнула на колени, на золотистый лиственный ковер, а Гордон в исступлении умчался в лес, как полоумный адепт великого бога Пана.

Элайза с трудом села. Голова болела кошмарно. Затылок разбит и ноет. Часов нет, сколько времени — не поймешь. Холодно. Скоро стемнеет. Зря они так поругались. Гордон вот-вот вернется, отыщет ее, позаботится о ней, как заботился всегда, соберет свое семейство и отвезет домой. Она все объяснит ему как полагается, он ее простит. Она расскажет о Герберте Поттере, и о мистере Рейгане, и о Дикки Лэндерсе, и какой жуткий у нее любовник, и как он ее не отпускает.

Элайза заплакала. Ей было ужасно жалко себя. Сгущалась темнота, накатил страх. Она позвала Гордона. Кто-то шел к ней меж деревьев.

— Гордон, слава тебе господи. — И она с трудом поднялась; но пришел не Гордон. — А, это ты, — холодно сказала она, как будто вовсе не боялась. Она боялась. — А ты что тут делаешь? Пошел за мной? Это пора прекращать... — Голос срывался на визг, подступал ужас, она вся в холодном поту, он помешался, у него в голове разладилось.

Надо взять себя в руки, надо его успокоить.

— Ладно, пошли назад, найдем тропинку, мы же разумные люди, Питер, голубчик, прошу тебя... — Элайза неважно умела просить, понимала, что толку не будет.

В руке он держал ее туфлю. Она удивленно глянула на свои ноги — одна туфля упала, другую не сняла. Он поднял туфлю повыше — очень тонкая шпилька, сердце колотится, рвется на волю из клетки ребер, холодный липкий пот, от страха тело как будто вот-вот отключится.

Ноги не двигаются, надо шевелиться, она развернулась, побежала, он тотчас ее настиг, ударил туфлей по затылку.

— Если не мне, — задыхаясь, прохрипел он, — значит, дьявол тебя дерит, не достанешься никому, блядина.

Она закричала, упала на колени, поползла. Оглянулась. Он раскуривал трубку невозмутимо, будто у себя в гостиной. Может, на этом все, подумала Элайза, может, он выплеснул гнев и теперь ее не тронет? Она проползла еще немножко, поглубже в лес.

На коленях замерла под деревом, на ковре из листьев и желудей. Золотой листик слетел, погладил по щеке. Элайза с трудом села, привалилась к крепкому стволу. На миг потеряла его из виду, подумала было, что ушел, и тут он выступил из-за дерева. Аура безумия серно-желтая, а улыбался он, как скелет.

— Я, между прочим, старше, — засмеялся он, — умнее и лучше знаю жизнь.

— Умоляю тебя, — прошептала Элайза. Ее трясла дрожь, не унять. Она ужасно замерзла. — Пожалуйста, не надо.

Но он схватил ее за волосы, пригнул ей голову и принялся молотить по черепу каблуком коричневой туфли, от напряжения рыча. Он бил ее, бил и бил, хотя деревья вокруг давно затянуло мглой и Элайзу объяла чернота. Затем ушел, но пути уронив туфлю, будто ненужную бумажку.

И вот так пришел конец Элайзе. Или Флоре, Флоре Анджелие, маленькой леди Эсме. Или кто она там.

Разумеется, на самом деле она не была дочерью де Бревиллей. После свадьбы парижский врач сообщил леди Ирен, что у нее никогда не будет детей. Она еще не знала, но в ней уже гнездилась болезнь, которая в конце концов ее и убила. Сэр Эдвард был так одурманен новоиспеченной женой, а новоиспеченная жена от своей бездетности так огорчилась, что он пошел и раздобыл ей ребенка. Он бы, вероятно, пожалел, что замутил чистую кровь де Бревиллей, но и жалеть оказалось не о чем, он избавлен от этой истории, избавлен от Эсме.

Купил ее в Париже. Купить ребенка — легче легкого. Допустим, у цыган...

**НБІНЕ**

## Смешливый зелени предел

Ко лбу прикасаются чьи-то губы, кто-то очень тихо, еле слышно шепчет в ухо: *А теперь засыпай, голубушка.*

Очередной глюк.

Выплываю из тяжкого наркотического сна.

— А куда делась женщина с той постели?

— Кто? — рассеянно переспрашивает темноволосая медсестра; ее больше занимает шприц, который она сейчас в меня вонзит.

— Женщина с той постели.

Постель аккуратно застлана и пуста. Медсестра морщит лоб:

— В той постели никого не было.

— Я видела, вы мерили ей температуру, разговаривали с ней.

— Я? — смеется медсестра.

Из постели видна верхушка дерева — оно раскачивается на ветру. И на нем свежие листики. Как так? Уже весна? Сколько времени я провела в мире ином?

— Какое число? — спрашиваю я рыжую медсестру.

Она хмурится:

— По-моему, двадцать третье апреля.

— Двадцать третье апреля? — Это я столько времени тут убила? — Правда?

— Я понимаю, — улыбается она, — мы тебя потеряли на пару недель, а? — Она наливает воду в кувшин на тумбочке, разглаживает простыни, глядит в мою карту. — Ну да — тебя привезли первого апреля, ты здесь три с лишним недели.

— Первого апреля? — совсем теряюсь я, но она уже ушла, а я вскоре снова засыпаю. По-моему, я наверстываю сон за все эти годы. Или превращаюсь в кошку.

Когда просыпаюсь, в палате ординатор — читает мою карту и прикидывается, будто что-то смыслит. Видит, что я не сплю, и ободряюще улыбается.

— Какой сейчас год? — бормочу я (где-то я уже слышала этот вопрос).

Он в замешательстве.

— Шестидесятый.

— Двадцать третье апреля шестидесятого года?

— Ну да.

Значит, ничего не закончилось. Или как? Засыпаю, глаза сами закрываются.

— Как я сюда попала? — спрашиваю я младшую медсестру, когда она приносит обед.

— На «скорой».

Приходят Юнис и Кармен.

— Гораздо лучше выглядишь, — отмечает Юнис и утыкается в мою карту, будто понимает, что там написано.

— Как я сюда попала, Юнис? Что со мной случилось?

— На тебя упало дерево.

— На меня упало дерево?!

Эта старая бузина у вас за домом. Она сгнила, твой папа ее рубил. Упала не туда. Очень ветрено было.

— И к тому же в твой день рождения, — соболезнует Кармен, пытаюсь затянуться сахарной псевдосигаретой.

— Думали, ты умрешь, — продолжает Юнис, — подарили тебе поцелуй жизни.

— Хорошо, что не смерти, — мудро кивает Кармен.

— Спасатель?

— Нет, Дебби.

— Дебби?

— Дебби.

У постели сидит Одри, мне приветственно сияет чудесная улыбка-полумесяц.

— Мистер Бакстер? — спрашиваю я, и улыбка прячется за тучкой.

Миссис Бакстер не убивала мистера Бакстера, он самоубился, старым армейским револьвером отстрелил себе макушку. Депрессия, постановило следствие, из-за грядущего выхода на пенсию. Одри и миссис Бакстер обнаружили тело в кабинете и, понятно, впечатлениями делятся весьма подавленно.

Мистер Рис в этой альтернативной версии событий остался с нами, и Пес тоже («Однажды возник на пороге», — говорит Чарльз, так что здесь все по-прежнему). А вот младенца не существует. Куда он делся? (Откуда взялся?)

Хилари и Ричард, хвала небесам, живехоньки, как и Малькольм Любет.

Увы, в городе его нет — сел в машину и отчалил в будущее. Бросил университет, бросил все и уехал.

— Куда?

— Да кто его знает? — пожимает плечами Юнис. — В полиции говорят, бывает сплошь и рядом. Люди берут и уходят от своей жизни. — Да уж, бывает.

Реальность вроде та же, и однако... не та. Это мой коматозный мозг, значит, шутки со мной шутил, а никакое не время? Да, подтверждает невролог. Хотя, вообще-то, любезно сообщает мне Винни, у меня немало симптомов мухоморного отравления, особенно глюки и мертвецкий сон. «Много странен», как сказала бы миссис Бакстер.

Видимо, реальность, как и время, — штука относительная. Не исключено, что реальностей много — то, что видишь, зависит от того, на чем стоишь. Скажем, смерть мистера Бакстера, — может, есть и другие версии. Вообразите...

Для месячных еще не время. У Одри их не было — дай-ка вспомню, сообщает миссис Бакстер, — да уж месяца три. Миссис Бакстер думала, это потому, что Одри такая худенькая и слабая, еще ведь девочка совсем. Так врачи говорили. Позднее взросление. Отсюда нерегулярность.

А потом видишь, как она съезжилась в углу спальни, точно бедное малко животное, только бы сбежать от боли побыстрее. И не разберешь, что это ребенок, кровавое месиво трехмесячного выкидыша. Миссис Бакстер их навиделась. Сама не одно дитяtko потеряла на таком сроке. Только Одри сохранила, а теперь папочка вон чего с ней учинил.

Поначалу миссис Бакстер не верилось — как он мог так поступить? Но в глубине ее души тихонький голосок почти неслышно прошептал: да, это похоже на папочку.

Миссис Бакстер готова была глотку себе перерезать посреди Глиблендского рынка — пускай все поймут, что она не защитила бедную малка Одри, пускай все увидят, какая она плохая мать. Но если она и плохая мать, из него отец гораздо хуже.

Одри уложили в постельку, как маленькую, с одеялами, грелкой и аспирином, а миссис Бакстер в кухне готовит папочке чай. Грибной суп, его любимый. Очень старательно варит папочке суп, режет лук на маленькие луны, переворачивает его в кипящем желтом масле. Аромат масляного лука наполняет кухню, через открытую дверь выплывает в апрельский сад. Миссис Бакстер стоит у плиты, смотрит на сирень за окном — после утреннего ливня лиловые цветы еще влажны и тяжелы.

Когда новорожденные луковые луны желтеют и размягчаются, миссис Бакстер добавляет грибы, молодые нераскрывшиеся культивированные грибочки, вымытые и порезанные на четвертинки. Когда они пропитываются маслом, она кладет крупные плоские грибы, что растут на краю поля, где лошади и леди Дуб, громадные шляпки с жабрами, бурые, землистые. Переворачивает сочные куски, пока не размягчатся, а потом сыплет оливковые грибки — они тоже растут в поле, но встречаются гораздо реже, это папочке от миссис Бакстер угощение, грибной суп по ее особому рецепту.

Она помешивает и думает об Одри в детской постельке, о том, как в эту постельку забирается папочка. Добавляет в кастрюлю воды, много не надо, солит слезами и посыпает перцем. Накрывает крышкой и оставляет томиться.

Когда суп готов, миссис Бакстер прокручивает его в блендере кухонного комбайна «Кенвуд», получается суп-пюре, и она его по частям выливает в красивую чистую кастрюльку. А когда весь суп стал пюре, добавляет хереса («само малко»), полпинты сливок и оставляет на плите, чтоб не остыл. Это до того особый суп, что миссис Бакстер делает к нему хрустящие золотистые кубики крутонов, кидает их в тарелку, посыпает горстью петрушки.

— Мм, — говорит мистер Бакстер, входя в кухню и снимая велосипедные зацепы со штанов, — вкусно пахнет.

Миссис Бакстер не привычна к его комплиментам и вспыхивает как маков цвет.

Мистер Бакстер с наслаждением поглощает суп. Ест он один, в столовой, под шестичасовые новости по радио. После супа миссис Бакстер подает ему бараньи отбивные с пюре и мятным горошком, а на десерт золотистый горячий бисквит с сиропом, в озерце желтого заварного крема «Бёрдз».

— А ты почему не ешь? — спрашивает он, и она отвечает, что перекусит попозже, у нее весь день голова раскалывается и вообще она «раздражительна»; папочка не сочувствует, ему даже неинтересно.

Миссис Бакстер несет бисквит Одри и кормит с ложечки, точно Одри снова малышка. Дает ей чашку горячего молока и две таблетки своего снотворного.

Уже темнеет, и мистер Бакстер уходит наверх в кабинет ставить оценки.

Миссис Бакстер моет все кастрюли и сковородки, чистит их отбеливателем и металлической мочалкой, моет кухню, все протирает

горячей водой с «Флэшем». Дает кошке молока в блюдечке, садится за стол и выпивает чайку.

Она уже слышит, как мистер Бакстер стонет и блюет («изригвам») в туалете наверху. Пожалуй, она выпьет еще чайку, а потом сходит глянуть, как у него дела. Дела у него не ахти — он в агонии извивается на полу, лицо страшного цвета, мышцы свело. Он выплевывает неразборчивые слова, и миссис Бакстер встает на колени, чтобы расслышать.

— Что такое, папочка?

Он, видимо, интересуется, что с ним творится, и миссис Бакстер очень мягко объясняет, что это, наверное, подействовали бледные поганки.

Мистеру Бакстеру не полегчает, от особого супа миссис Бакстер не бывает противоядия, поэтому она достает тщательно смазанный армейский револьвер из секретного ящика стола и прекращает папочкины страдания. То же самое приключилось с их старым котом — нажрался крысиной отравы, ветеринару пришлось его усыпить. Миссис Бакстер всегда подозревала, что отраву подложил папочка.

Пистолет грохочет оглушительно, на древесных улицах отдается эхо. Миссис Бакстер протирает пистолет, вкладывает папочке в руку, роняет на пол. Выстрел пробуждает бедную Одри от снотворных грез, она входит, видит папочку в луже крови. И бровью не ведет.

Тревор Рэнделл, молодой полицейский, первым прибывший на место, в детстве ходил в школу к мистеру Бакстеру. Мистер Бакстер не раз порол Тревора ремнем, и теплых чувств Тревор к мистеру Бакстеру не питает.

— Самоубийство, значит, — говорит он.

— Самоубийство, — говорит судмедэксперт.

До того очевидно, что мистер Бакстер умер от потери головы, что в желудок никто не заглядывает. Подлинная, правильная справедливость. Готово дело.



— Туфля? — спрашиваю я Чарльза. А локон? А платок?

Он грустно трясет головой:

— Размечталась, Из.

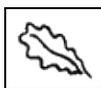
Мечты, мечты. Меня надуло мое воображение. Воображение без предела, без границ, проложенных причиной и следствием. Но как еще нам все исправить? Обрести искупление? Или подлинную, правильную справедливость? Чарльз лезет в нагрудный карман, улыбается и

протягивает мне...

— Пудреница?

Я благоговейно ее ощупываю, нажимаю, раскрывается сине-золотая устричная раковина памяти, а в ней жемчужно-розовая пудра. Когда она намокает от моих слез, Чарльз пудреницу отнимает. Пожалуй, из столь скудных осколков нам маму не собрать.

Я как Алиса — она тоже проснулась и поняла, что Зазеркалье ей приснилось. Не верится, что все это, такое настоящее, вовсе не случилось. Тогда казалось реальным, кажется реальным сейчас. Порою внешность очень обманчива.



В начале мая меня выписывают. К июню я почти нормальна. Не в курсе, что это значит. Впрочем, разные версии реальности по-прежнему сбивают с толку. Скажем, Пес при виде меня ликует, и он, в общем, тот же Пес, но не совсем (может, он пеС). Карие глаза теперь голубые, хвост укоротился. «Литские актеры» по-прежнему ставят «Сон в летнюю ночь», но Дебби отчего-то играет не Елену, а Гермюю — слово немногим длиннее, в сюжете почти та же функция, но все равно непонятно. Эти мелкие отклонения озадачивают больше всего — у меня какое-то круглосуточное дежавю.



Дебби стоит у плиты, кипятит молоко для вечернего какао. Недавно вернулась с репетиции. (Интересно, предстоит ли ей снова кошмарная экскурсия в Арденский лес?) В текущей версии истории Дебби не выказывает особых признаков помешательства, а ее скепсис касательно близкой родни ограничивается гримасами в спину Винни и бубнежом: «Кем она себя возомнила?»

Дебби чуточку хмурится. Она меня спасла, и теперь я отношусь к ней как-то иначе, будто, подарив мне вторую жизнь, она добилась права играть материнскую роль. Она уже серьезно супится.

— Что такое, Дебби?

Она оборачивается ко мне, и молоко выкипает. Снимаю кастрюльку с плиты, выключаю газ. Дебби хватается за живот и ахает.

— Что такое? — не отстаю я. — Больно?

Она кивает и кривится. Заманиваю ее в гостиную, где она тяжело плюхается на диван.

— Господи, какой ужас! — говорит она.

— Сейчас все хорошо? Позвать Гордона?

— Ой, нет, не дури. Все нормально, я просто... — Она взвизгивает и опять хватается за живот.

— Я вызову врача, — торопливо говорю я.

Глаза у нее распахиваются, становятся почти большими, она глубоко вдыхает и давится одним словом:

— Нет!

— Нет?

— Нет, — ворчит она, — поздно.

— Что поздно?

Но она уже на коленях на ковре, непонятно машет мне руками, и я во всю глотку призываю Винни.

— С Дебби что-то не так, — сообщаю я. — Вызови врача!

Дебби снова кричит — не пронзительный визг, но жалоба из глубин примитивного нутра, о котором она и сама до сей минуты не подозревала.

И она права, поздно — уже появилась головка.

— Дьявол тебя дерит, — лаконично выражается Винни. — А это еще откуда?

Винни — скорее повитуха из преисподней, чем колдунья Мэб,<sup>[102]</sup> — садится на пол, а я бегу ставить чайник, ибо все мы знаем, что чайник ставить полагается.

Дебби урчит, пыхтит, сопит и, пытаясь разродиться этим внезапным младенцем, чуть не роняет Винни. Рядом стоит Пес — склонил голову набок, выражая интерес, и наострил уши, давая понять, что готов помочь, если надо.

Винни вступает в бой, пытается уложить Дебби на спину, та вопит:

— Еще не хватало! — между двумя особо сильными схватками, а потом ребенок вдруг выстреливает наружу и пойман, к бесконечному ее изумлению, Винни.

Винни орет первая, прежде ребенка, а Дебби невозмутимо просит портновские ножницы и одним уверенным щщщщелч-ком лезвий освобождает от себя дитя.

— А чайник вскипел? — нетерпеливо спрашивает она. — Чая хочу, умираю.

— Твоя сестра, — констатирует Винни, весьма помятая после такой

эмоциональной травмы, и вручает мне человеческий осколочек, завернутый в полотенце.

— Твоя сестра, — сообщаю я Чарльзу, который как раз вернулся с работы; он машинально берет у меня ребенка, а потом чуть не роняет.

— Сестра? — совершенно теряется он.

Дебби хихикает, Винни закуривает, просвещать Чарльза вынуждена я. Возвращается с работы Гордон, и Чарльз передает ему сверток со словами: — Твоя дочь.

У Гордона отпадает челюсть.

— Мое чего?

И я вскакиваю и разъясняю, что это не я усохла и вернулась назад во времени, а совершенно новый Ферфакс-сюрприз.

— Вот так вот запросто? — в изумлении шепчет он.

Ребенок уже прорастил себе хохолок мягких червонно-золотых волос — на «родничке», поясняю я Чарльзу со знанием дела.

— Ты подумай, — говорит Дебби, — волосы как у Чарльза. Кто-то у вас в семействе был рыжий. Интересно, кто?

— Это, наверное, рецессивный ген, — тихо произносит Гордон, от этой мысли как будто погрузнев.

Не считая рыжих волос, между новым младенцем и его крылечным прототипом сходства мало. Мы нарекаем младенца Рене.



Приближается канун Иванова дня — у меня в этом году уже второй. Чудесный жаркий день, беру книжку и ухожу в поле к леди Дуб, сижу в пятнистой зеленой тени, а Пес гоняет марафоны, иногда тормозя, чтобы исследовать дымящие кучи свежего навоза, оставленные Хилари. (Ну ладно, ее лошадью.)

В зеленой тени меня вскоре одолевает приятная летняя дрема. Просыпаюсь неспешно, разглядываю узоры зеленой листвы над головой, редкие вспышки солнца, слушаю гудение пчел и комаров. Это миг вне времени, любой миг последних пяти столетий — мне никак не узнать, где я, пока не сяду и не увижу антенны, трубы, крыши, деревья, не услышу жужжания газонокосилок и рева моторов, не замечу простынь, хлопающих на бельевых веревках. Хорошо снова стать собой, избавиться от помешательства воображения.

Встаю. Если пристально вглядываться, на стволе различимы

знаменитые инициалы «УШ». Я обнимаю леди Дуб, как возлюбленного, ощущаю ее кору, ее старость, ее электричество. Закрываю глаза, целую поблекшие инициалы. Может, и вправду сам Шекспир оставил тут автограф? И мы оба трогали, обнимали, почитали одно и то же дерево?

Зову Пса, надо уходить, пока не явились царь и царица эльфов.

— А, Изобел... — говорит мистер Примул. Он идет ко мне, под мышкой у него ослиная голова. — Придешь на спектакль?

Слабый разум смертным дан. [\[103\]](#)

«Сон в летнюю ночь» я смотрю из открытого окна спальни — так спокойнее. Издали, в тихо гаснущем летнем свете, почти удастся вообразить, что это другая постановка. Возвращенную к жизни Одри уговорили сыграть Титаник), и она, чьи прекрасные волосы ныне свободны от резинок и мистера Бакстера, — вылитая царица эльфов. Почти удастся вообразить, что я вернулась в прошлое. Костюмы вроде аутентичны, реплики — шепот на ветру.

В поле толпа зрителей — как раз хватит, чтоб сыграть в «Человеческий крокет», и, пожалуй, у всех верный настрой. Наконец-то.

Солнце садится за леди Дуб и окатывает зелень золотом. Это идеально. Нереально. Я вздыхаю и отворачиваюсь.

Он здесь. Лежит у меня на постели, вопросительно задирает циничную бровь, улыбается криво, разглядывает меня. Я его знаю. Всегда знала. Эти глаза спаниеля, эта каштановая шевелюра. Еще не лысеет, слегка засален. Кожаные сапоги. Дублет, чулки, довольно замызганная сорочка. Я подхожу, сажусь на краешек постели. Очень жарко в комнате под крышей. Станный воздух какой-то... будто волшебство, но не так подлинно.

У меня к нему всего один вопрос.

— Ведь правда, это всё о смерти? — говорю я.

Он жует травинку. На драконьей чешуе крыши тихонько воркует вяхирь. А он закидывает голову и хохочет. Его дыхание пахнет лакрицей, и он не отвечает, лишь протягивает мне руку.

— И о конце света, и о времени, бегущем в безвременье неслышно, словно вор? [\[104\]](#) — упорствую я, но он только пожимает плечами.

Если коснусь его руки, отправлюсь ли навеки за пределы времени? Рука его рельефна и мускулиста, присыпана рыжеватыми волосками. Под ногтями грязь.

Слышно только, как в потемневшем воздухе бьются опаловые крылышки эльфов, как метут у нас в доме крошечные эльфийские метелки. Я беру его за руку. Пускай притянет меня ближе. Пускай поцелует. На вкус

он как гвоздика. Мы растворяемся друг в друге, и время распадается.

Одно лишь воображение умеет объять невозможное — золотую гору, огнедышащего дракона, счастливый финал.

**ПРЕЖДЕ**

## Первородный грех

Впервые узрела я Роберта Кавано, когда он плясал у меня на свадьбе. В зеленом бархатном дублете, серебряная пряжка на ремне. Плясал неплохо для ирландца, и контур его икр радовал глаз.

— Мой лесник полагает себя джентльменом, — сказал мой новоиспеченный муж.

Ярко пылали факелы в парадном зале нового мужниного дома, и среди миазмов жира и жареной говядины еще витал аромат свежесрубленной сосны. Сэр Фрэнсис щедро раскошелится на свою свадьбу — запеченный лебедь и грудки чибисов, студни, как стужа стылая, и кремы, гладкие и бледные, как щека леди Маргарет. Муж мой в одиночку поглотил целого молочного поросенка и заявил, что на вкус тот был как свежесваренный младенец. Такой вот человек мой супруг.

Всеобщему восхищению явлено было его сокровище, кое он преподнес мне на свадьбу, но, сколь ни богаты золото и изумруды, сие тем не менее всего лишь картина пляски смерти, и, если желаете знать мое мнение, не так уж пристойно дарить подобные предметы невесте. Мною, разумеется, раболепной свите надлежало восторгаться не менее, нежели побрякушками и безделушками. Муж мой вывел меня к собранию, пощупал прядь моих волос, показал им, созерцая меня с тонкогубой ухмылкой.

— Скотты, — молвил он, словно я, дикое создание, досталась ему трофеем, и я возразила, ибо слово сие означает домашнее зверье.

В первую брачную ночь предо мною забрезжило, что он за человек, этот мужчина, за которого я вышла. Но о том я не пророню ни слова, скажу лишь, что обучен он был разным ухищрениям, какие неведомы и самому диаволу. И кое-каким иным. И забрезжило предо мною, какого сорта людей призывал он к королевскому своему дворику, — чем более развращены и испорчены были они, тем благосклоннее был к ним мой господин. Они потворствовали всякому его капризу и восхваляли его особу, отчего пухла она, как надутая жаба.

Что же до леди Маргарет... Сэр Фрэнсис уверял, будто он ее опекает, и однако ни одна бумага о том не свидетельствовала, ни единое записанное слово и ни единая буква не удостоверяли ее родословия. Говорил он, что леди Маргарет — внебрачное дитя его покойного брата Томаса, но ходили слухи, что он сам зачал ее во грехе. Ходили также слухи (сия Богом забытая

земля наполнилась слухами), что отношения его с леди Маргарет от опекунских были далеки.

Что ни возьми, я ожидала совсем иного.

Я застала господина моего и его так называемую подопечную в позах, не выдающих кровного родства, если, разумеется, в сем краю не в обычае подобная близость «дядьев» и «племянниц». Леди Маргарет я полагала лукавой особой, никогда не глядела она мне в глаза, лишь скромненько отвешивала книксены, «да, миледи», «нет, миледи». Но я была чересчур к ней строга, ибо ей едва минуло шестнадцать, почти ребенок и такая же пленница.

У нее, как у отпрысков королевского рода, имелся наставник, и говорила она на трех языках, и пела весьма красиво. Наставник моей леди Маргарет, господин Шекспир, составил для сэра Фрэнсиса свадебную песнь, в коей, по обыкновению своему, превозносил моего господина без меры. Для любой женщины губительно общество господ подобного сорта.

Мы впервые встретились однажды весенним утром, когда я гуляла по лесу. Он ехал верхом на черном пони, и сошел с тропинки, и спешился, дабы дать мне дорогу, и поклонился едва ли не в пояс, и я припомнила, что он полагает себя джентльменом. Ни единого слова он не произнес, но, уже удалившись, я заметила, что добрый пес мой, борзая Финн, создание весьма пронизательное, все виляет и виляет хвостом господину Кавано в знак высшей своей похвалы.

Без предуведомленья явилась я в опочивальню леди Маргарет — меня одолевали подозрения, я ожидала узреть мужа своего в ее объятиях, но увидела иное — обнаженную спину леди Маргарет, худую и гибкую, точно у лани, спину юной девы, с острыми лопатками и узловатым хребтом, сплошь, точно карта мира, покрытую обширным черным континентом, тут и там окрашенным желтизной и фиолетом. Я в испуге ахнула, и она поспешно прикрылась.

Кто оставил на ней жестокие следы? Впрочем, не требовалось вопрошать, в сердце своем я уже знала ответ.

— Господин мой обладает злым нравом и весьма бессердечен, — прошептала она.

Я сказала супругу, но обыкновению предававшемуся возлияниям, что леди Маргарет ему не собачонка для битья. В ответ он одним ударом отбросил меня к стене.

Впервые заговорили мы в лесу. Я уже знала его, в великой чаще пути наши пересекались не однажды, и всякий раз он низко кланялся, ни слова не молвив, и я уже заподозрила, что он нем. Однако был он лишь немногословен в отличие от наставника нашего господина Шекспира, кой болтливостью своей мог потягаться с сорокой. Господин Кавано держался так, будто никому на свете не служит. Я сразу почувствовала.

Я нередко приходила в лес, во владениях моего господина только в лесу и царил покой, ибо в хлеву, где господин мой обитал, покоя вовек не бывало. Я не была там хозяйкой, там правил бал властелин буянов. Но в лесу я воображала себя повелительницей деревьев, и они послушно склоняли предо мною ветви, и листва их шепотом приносила мне клятву верности.

— Миледи может простудиться, — молвил он, перепугав меня до полусмерти, ибо я не заметила неслышного его приближения, а пес мой Финн задремал в карауле.

Однако господин Кавано не угрожал мне. Он недоуменно хмурился, будто не постигал, отчего владелица столь многого довольствуется столь малым, и поистине я, сидя на земле в холоде и мороси под защитой большого дуба, являла собой безрадостное зрелище. Закутанная в толстую шерстяную накидку, в обществе одной лишь промокшей собаки, ничем не лучше служанки. И впервые я коснулась его, когда он протянул мне смуглую руку, всю в застарелых мозолях и свежих волдырях, и произнес:

— Миледи, прошу вас, не сидите на холодной земле.

Ах, если бы господин мой смотрел на меня такими глазами.

Леди Маргарет ожидала ребенка. Ясно было с первого взгляда. Об отце можно было и не спрашивать. Как очутилась леди Маргарет в сем гнезде порока? Она не помнит, говорила она, она была совсем крошка. Ни матери, ни сестры, все эти годы не было друга и утешителя. Детство у нее украдено.

— С ранних лет я принадлежу моему господину, — говорила она. Во всех смыслах.

Щеки ее были бледны. Ее наставник, любимчик моего мужа, разыгрывал равнодушие, однако не был вовсе лишен христианского милосердия.

— Миледи ужасно бледна, — сказал он, остановив меня в темном коридоре, и я отвечала:

— О да, бледна, как простыня.

Я знала, что он и сам питает к ней нежность, я видела, как ласково

взирал он на нее, когда думал, будто никто не видит.

В коридоре не пылали факелы, стояла кромешная тьма, лишь одинокая сальная свеча бешено колыхалась на сквозняке. В этом страшном доме хозяйничал ветер. В слабом свете лицо бедного Шекспира шло кратерами и долинами, подобно луне. Под кожей проступал череп. Я разглядела мерцанье слез в его глазах и напомнила ему, что поступал он ничем не лучше любого приспешника моего супруга. Однако он схватил меня за рукав и не отпускал, пока я не утешила его и не пообещала, что за ней пригляжу.

Впервые я узрела его наготу в жару, когда леди Маргарет совсем раздалась, господин мой совершенно почернел, а дом, такой стылый зимою, затопило знойное варево лета.

Я сидела под огромным деревом, в душной дреме рукою отгоняла лесную мошкору, но стук топора пробудил меня от грез, и я, на цыпочках пройдя по мшистой тропинке, увидела господина Кавано за работой — он рубил дерево, сильно накренившееся в жестокий зимний буран. Он снял кожаный камзол и рубаху, и я с наслаждением созерцала его прекрасную смуглую спину, покрытую росой пота, черные кудри его, влажно облепившие шею. И более того. Краткий миг думала я лишь о том, какова будет его кожа на ощупь, если я протяну руку и поглажу его по спине.

Вез стыда я шла за господином Кавано в лесную чащу, и, когда он свернул с тропинки, я тоже свернула, и, когда он вовсе избавился от одежды, никакая сила не принудила бы меня отвести взгляд и не смотреть, как ныряет он в прохладный черный пруд, где раскачиваются болотные ирисы и прыскают испуганные лягушки.

Он знал, что я смотрю, он умел улавливать поступь оленя и кролика, слышал, как распускаются листья и спит кукушка, и, однако же, не обернулся — ибо он был джентльменом, помните об этом, — но лишь являл себя моему взору. И то, что видела я, доставляло мне радость. Сэр Фрэнсис был отнюдь не красавец, ни мускулов на костях, ни волос на голове, он оскорблял обоняние, когда дышал, а когда выпускал ветры — и того более. Говорят, в наготе своей мы равны пред Богом, но, по-моему, господин Кавано оказался бы благороднее моего супруга.

Я смотрела, как сын мой, болезненное создание, отравленное жидкой дурной кровью моего господина Фрэнсиса, играет в городки на лужайке. Быть может, с леди Маргарет супруг мой зачал существо поздоровее. Леди Маргарет рыдала подле рыбного пруда, и огромный ее живот горестно

сотрясался. Мой господин отправлял ее в монастырь.

Я увидела его в кухне, сойдя поговорить с кухаркой, ибо по меньшей мере в кухне я еще обладала некой властью. Он сидел за широким чистым столом и ел хлеб с сыром. В большом доме он появлялся редко, жил в грубо сколоченной хижине в лесу, куда, поговаривали, к дверям приходили олени, и он кормил их с руки. Впрочем, сие, вероятно, тоже одни только слухи.

Я вспыхнула. Он вспыхнул. Мы вспыхнули. Нам попеняла кухарка.

— Веди себя прилично, — сказала она и отвесила ему затрещину, он встал и расхохотался, а затем поклонился и промолвил:

— Леди?

Никогда не заходила я так далеко в чащу, никогда не ступала на сию тропу. Однако я знала, куда она ведет. Ведет она к великой опасности. Ведет она к хижине в чаще леса. Тропинки засыпало листвою, точно золотом.

Огонь не горел, а угли остыли. На столе полбуханки зачерствелого хлеба, сгнившее яблоко, сгоревшая свеча. Сей натюрморт изображал то, чем закончатся наши дни, когда мы спляшем со смертью и ноги наши замрут. От холода я дрожала.

Но затем его собачонка скакнула через порог, и сам он возник в дверях силуэтом на голубом октябрьском небе.

Он не поклонился. Я полагала, он скажет, что мне не следует здесь быть, но он не произнес ни слова, только шагнул в собственный дом, будто странник, осторожно, трепеща, как диковатый олень. И мне пришлось ободрить его, и я протянула ему руку. Он шагнул ближе и остановился предо мною, мы никогда не бывали так близко, так близко, что я различала недавнюю щетину у него на подбородке, и зелень его глаз, и ореховые проблески, в которых мерцало золото.

— Ну, господин Кавано, — сказала я весьма сурово, ибо нервы мои были отчасти истрепаны, — вот оно как.

— И в самом деле, миледи, вот оно как, — отвечал он, что для него равносильно пространной тираде.

И шагнул еще ближе, и теперь стоял совсем близко, и я отпрянула, и так мы изящно потанцевали некоторое время, а потом мне некуда стало отступать, потому что сзади был стол. Я видела острый клык и изящную линию верхней губы, я чувствовала жар его тела.

Сначала с ужасным грохотом отлетела сгоревшая свеча, затем в дальний угол покатилося сгнившее яблоко. Одному Господу известно, что

случилось с буханкой хлеба. А потом не было больше слов, только пронзительные стоны и из глубины души исторгнутые вздохи, что неизбежно сопровождают яростный восторг подобного рода.

Леди Маргарет больше не было с нами, она отыскала в конюшне веревку, соорудила петлю и повесилась на дереве в яблоневом саду моего господина. В раннем свете зари ее нашел садовник — она раскачивалась, точно простая окаянница, и ребенок уже умер у нее во чреве. Я заперлась у себя, и отчаянно рыдала все утро, и не откликалась на призывы, пока волю мою не сломил господин Шекспир — постучался ко мне и сообщил, что уезжает, а я отвечала, что скатертью дорога, пусть катится в преисподнюю, но в конце концов открыла ему дверь. Он поцеловал мне руку; более ничто не удерживает его в поместье Ферфакс, сказал он, а я отвечала, что он прав, ибо никому из нас нет будущего в проклятом этом доме.

Он уезжал с актерами, которые у нас гостили; над монологами их наша бедная леди Маргарет совсем недавно смеялась и плакала. Актеры те водили знакомство с нашим господином Шекспиром еще в прошлой его жизни, только и слышалось — «наш Уилл то» да «наш Уилл сё», и он счастлив был укатить с ними на телеге. Я пожелала ему счастья, хотя он, разумеется, пройдоха. Сначала бросил жену и детей, а ныне бросает нас.

— Вам следует поступить так же, миледи, — прошептал он, губами коснувшись моей руки, а я кивнула и улыбнулась, ибо в комнату как раз вступил мой супруг.

К его маленькой хижине мне пришлось идти по лесу ночью — той ночью, когда мы уехали, — и не раз утрашалась я смертельно, не пред тем, что видела, но пред тем, что пребывало незримо.

Мы уехали на его черном пони, ибо конюхи взволновались бы, оседлай я свою прекрасную пеструю кобылу. Я острее страдала, покидая серую кобылу в яблоках, нежели оставляя сына своего, ибо тот был вылитый отец, разве что слабее. Я уже носила под сердцем дитя Роберта Кавано и не желала брать с собой никакого мужниного имущества. Впрочем, я возьму собаку. Это прекрасная собака.

Мы отбыли под покровом темноты, но супруг мой был хитроумен, он пустился за нами в погоню, и мы погибли бы от его стрел, однако лучник из него был неважный, хотя он всегда полагал иначе. Пришлось ему довольствоваться великолепной упитанной ланью.

Я сорвала с шеи его отнюдь не прекрасное сокровище, и забросила подальше в лес, и почувствовала, как слегка поморщился господин Кавано,

ибо сокровище купило бы нам дорогу в незнаемое, впрочем, не имеет значения. И в последний раз я видела господина моего Фрэнсиса, когда он шарил в листве, ища драгоценную свою побрякушку. Я бы сорвала с себя дорогие шелка и ушла бы от него нагой, точно Ева, но деревья уже роняли листву, а я не желала замерзнуть до смерти.

Роберт Кавано обнял меня, и мы пустились рысью, и собаки наши бежали впереди. Он был убежище мое и укрытие, он был силен, как древний дуб, и нежен, как моя борзая. Зная историю смятенной моей жизни, вы обильно благословили бы нас в этом странствии. Великое счастье охватило меня, будто мне явилось видение рая.

— И куда же мы направимся, господин Кавано? — спросила я, когда мы добрались до северной границы леса.

А он повернулся в седле, и улыбнулся мне, обнажив крепкие зубы, и отвечал:

— В будущее, миледи. Наш путь лежит в будущее.

**ДАЛЬШЕ**

## Древесные улицы

Вихрится водоворотница времени. Мир стареет. Текут людские жизни, и каждая заполняет ей отведенные годы, и все же — но большому космическому счету — длится не дольше содроганья секундной стрелки.

Одри стала одной из первых женщин, рукоположенных в Англиканской церкви. Вышла за бородатого учителя, родила троих детей. Приход у нее был в трущобах Ливерпуля, где она порой творила чуточку добра (на большее нам, пожалуй, нечего и надеяться). Все ее чада в раннем детстве смахивали на воображаемого младенца с крыльца «Ардена». Вероятно, тот был неким идеальным младенцем.

С возрастом Одри пристрастилась к мистике и универсализму и пришла к выводу, что любой мужчина, женщина и ребенок, любой зверь, любое растение — воплощение единства мироздания и предмет благоговения. Надо полагать, не ошибалась.

В 1962 году Кармен на седьмом месяце беременности, а с нею и Хук погибли в автокатастрофе.

Юнис вышла за инженера, но запланированных двоих детей так и не родила. Работала геологом в нефтяной компании, зарывалась в недра истории земли, но затем жизнь ее приняла решительно иной оборот, и она стала членом парламента от либеральных демократов. Умерла в пятьдесят два года от рака легких, и на похоронах ее царили редкая теплота и сердечность. Я по ней скучаю.

Хилари стала юрисконсультom, вышла за врача, родила двоих детей, развелась с врачом, вышла за журналиста, родила еще одного (слегка умственно отсталого), стала адвокатом, развелась с журналистом, стала человеком. И моей подругой.

До чего простыми, вероятно, мнятся наши жизни богам, сверху вниз взирающим на землю.

Чарльз уехал в Америку и поселился на Западном побережье, где ставил дешевое фантастическое кино, бранимое критиками и в целом безнадежно провальное, однако со временем ставшее культовым, и на седьмом десятке его постоянно звали на ретроспективы, ток-шоу и в лекционные туры, даже сняли о нем многосерийный телефильм. Чарльз прошел сквозь строй красивых светловолосых жен и красивых светловолосых детей и наслаждался жизнью безмерно.

Дебби и Гордон прожили в сносном счастье до конца своих дней. Их ребенок, моя сестра Рене, выросла совершенно нормальной жизнерадостной особой и работает старшим секретарем в конторе Хилари.

О Малькольме Любете я тоже могу порассказать. Отчалив в будущее, он исколесил всю Европу. Был разнорабочим в парижской больнице, задержался в Гамбурге, жил с какой-то женщиной в Западном Берлине, затем год провел в коммуне художников на Корфу.

В конце концов он вернулся в Лондон, занялся музыкальным бизнесом, стал менеджером группы подростков из Гулля, зубастых и волосатых, но практически лишенных музыкальных талантов; подростки эти в итоге оказались королями горы. Малькольм тогда уже обильно злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

В последний раз я видела его в фулэмском пабе в 1967-м — он был очень пьян и угрюм, но, когда он предложил мне остаться на ночь, я согласилась, поскольку на дворе был 1967-й, а я тогда спала со всеми подряд.

Он, конечно, очень изменился — наверное, стал тем человеком, которого раньше прятал в себе.

В постели, в умопомрачительно захламленной челсийской квартирке с садом, руки его были как мрамор, плоть как лед. Секс с Малькольмом Любетом походил на пляску смерти.

— Я всегда тебя хотел, — прошептал он, — просто не знал, как тебе сказать. — (Разумеется, тогда уже было поздно.) — Мы так похожи, — вздыхал он; а по-моему, не очень.

Он умер полгода спустя при обстоятельствах до того грязных, что расследование превратилось в *cause célèbre*.<sup>[105]</sup> С тех пор я ношу его внутри, в глубоком тайнике (в сердце, где живет и моя мать). Человек незрим, но это не значит, что его нет.

Винни протянула целый век, пережила и Гордона, и Дебби, обитала в «Ардене» в обществе той или иной помощницы. Наступление нового тысячелетия и сотенный юбилей Винниделия отпраздновала превращением в кошку — маленькую, черепаховую, растворившуюся в ночи. Вероятно. Под конец я приехала за ней ухаживать и как-то так вышло, что осталась. Это все-таки мой дом.

Я тогда уже добилась успеха — писала исторические любовные романы (псевдонимов не сочиняла, у меня и так подходящее имечко), а работать в «Ардене» — самое оно. Устроила себе кабинет в столовой и

наняла человека, который привел в порядок сад и подстриг изгородь, чтоб мне видна была леди Дуб. Двадцать первого столетия ей почти не досталось — она погибла от какой-то смертоносной гнили. Я смотрела, как ее рубили, впрочем и не рубили даже, отрезали ветки и громадными визгливыми бензопилами распилили ствол. Я смотрела, как она умирает, и плакала.

Моя дочь Имоджен переехала ко мне и влилась в ряды так называемого древесного племени, которое обосновалось в Боскрамском лесу и готовилось сражаться с дорожными строителями, замыслившими Глиблендскую кольцевую дорогу. Я туда иногда заезжала, привозила им пакеты с едой, видеокамеры, электронную почту, что угодно. С приближением финальной битвы я ночами лежала в постели, психуя за воздушное свое дитя, что шныряет в кронах, лазит по паутинам и болтается на ветвях в какой-то сбруе, точно неопрятный Питер Пэн. Ее несколько раз арестовывали, в конце концов велели не нарушать общественный порядок, а когда она встала на дыбы, ее ненадолго отправили в тюрьму.

К тому времени прибыли застройщики, и под вечер деревья, простоявшие сотни лет, уже падали как подкошенные. Вскоре в ковше экскаватора кто-то заметил длинную кость в груди земли. Судмедэксперты откопали почти целый скелет — а ведь раньше здесь была святая святых лесной чащи. Женщина, скончалась много лет назад, слишком давно, уже не поймешь, от чего умерла, одни кости и остались, и к тому же тело погрызли лисы. Вообразите только — мелкое зверье грызет плоть, растаскивает косточки, палая листва закрывает веки.

Хилари, крутившая любовь с судмедэкспертом, рассказала, что на пальце у скелета нашли золотое кольцо. С брильянтами и изумрудами, с гравировкой «ЭФ с любовью, Г», сказала она и отчего-то очень погрузстнела.

По-моему, у мамы было такое кольцо, но я же знаю, что позабытый труп в лесу никак не мама, мне и в голову не приходило, что она умерла, и вообще незадолго до того она мне являлась. В очереди в «Теско» впереди стояла женщина — под тридцать, одета безупречно, твидовый костюм, узкий ремень, высокие каблуки и чулки со швом, черная французская коса, макияж как у актрисы. Она расплачивалась, я водрузила полиэтиленовый пакет на конвейер, тут пакет лопнул, и фрукты рассыпались. Мы обе принялись ловить яблоки — «ред делишес», воценные и гладкие, на вид совсем ненастоящие. Я была так близко, что чуяла ее взрослый запах — *Arpège* и табак. Я теперь и сама так пахну. Она встала, слегка покачнулась на каблуках, протянула мне последнее яблоко и сказала: *Держи, голубушка.*

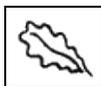
А потом исчезла, и без толку было спрашивать кассиршу, ибо есть вещи, которые знаем только мы.

Нашлись и другие пропажи — возле тела неизвестной женщины обнаружилось вождеденное сокровище Ферфаксов, и теперь оно стоит на почетном месте в Глиблендском музее.

После ухода Винни я разбирала вещи и нашла коробку фотографий — не только Вдовы, ее родни и предков, но и Чарльза, и Гордона, и моих — и Элайзы, целый сундук с Элайзой, драгоценным сокровищем. Навеки молодая Элайза, навеки блистательная, щурится на солнце, смеется в саду. Я рыдала над новообретенной матерью много дней. На фотографиях она, конечно, еще недоступнее, еще загадочнее, но какое облегчение — найти осязаемое доказательство того, что она в этом мире жила.

Время бежало в безвременье неслышно, словно вор. Имоджен стала матерью, а я, значит, бабушкой. Миссис Бакстер закончила свои дни таинственно, она одна поистине исчезла — говорят, в один прекрасный день вошла в недра зеленого холма. Есть мнение, что она обернулась царицей эльфов в роскошном зеленом платье и сверкающей золотой короне. Впрочем, это лишь слухи.

Земля продолжала вертеться. Так много историй, а времени так мало.



Чем кончается мир? Огнем? Великой звездой, павшей с небес? Вообразите — звезда Полярная <sup>[106]</sup> отправляется в апокалиптический поход к Земле, вспахивает ночное небо со скоростью 40 тысяч миль в час, мчится, сияя миллиардом солнц. Все ближе и ближе. Какой наступит бедлам — град и огонь пополам с кровью, мощнейшие подземные толчки в районе коллизии, кратер в сотню миль шириной, распыленные скалы, громы и молнии, раскаленные камни взмывают в атмосферу и обрушиваются ливнем, сгорает треть лесного покрова и вся зеленая трава, исполинская гора, пылая, падает в море, море вскипает кровью, обломки павшей звезды разлетаются по небесам, и солнце темнеет, и густеет воздух, и гаснет луна, и выключаются звезды. Вообразите.

Или льдом? Без катаклизмов, хватит и постепенного распада, звезды выгорают, черные дыры всасывают все, до чего доберутся, медленная пляска смертоносного тяготения все сильнее растягивает эластичную

Вселенную. Слякоть субатомных частиц. Желтый туман.

Или зеленью? Вообразите лес конца времен. Бескрайний зеленый океан покоя. Древесное изобилие — береза, сосна и осина, карагач и шершавый вяз, лещина, дуб и падуб, черемуха, дикая яблоня и граб, ясень, бук, полевой клен. И терновник, и калина, и все увито плющом, омелой и бледной жимолостью, где гнездятся сони.

Лес полон цветов — подснежников, колокольчиков, примул с жемчужинками в ушах. Там растут ясменник и герань Роберта, аквилегия, аронник, купена и валериана с листьями-сердечками, колдунова трава и высокий первоцвет, анютины глазки и обыкновенные собачьи фиалки.

На земле старательно трудятся насекомые — жуки-щелкуны и ктыри, долгоносики и шершни, слизни и улитки, пауки и терпеливые дождевые черви. А еще незримая жизнь — амёбы и бактерии заняты уборкой и переработкой.

В мире звучит только птичья песнь — деряба веселым дискантом возвещает весну, радостно заливается зяблик, выводят трели пеночки-трещотки. Черные дрозды и зарянки, нежные вяхири и мухоловки-пеструшки, ушастая сова и большой пестрый дятел — ныне весь мир принадлежит им.

А также полевкам и барсукам, белкам и летучим мышам, ежам, оленям и маленьким лисам, которых больше не потревожат ни борзые, ни человек.

И наконец, возвращаются волки.

Тут и там в зелени и золоте солнечного леса мелькают хрупкая ивовая переливница, ленточник камилла и лесная пеструшка. Мягкий мох, заросли папоротника, в темных прудах на тенистых полянах плещутся жабы и лягушки. Певчий дрозд где-то в кронах трижды выпекает свою музыкальную тему. В тени толпятся ландыши и листовики. По веткам скачут крохотные крапивники, перламутровки эфросины легонько целуют землянику и дикий тимьян. Сладко пахнет мускусными розами и эглантиериями.

Осень неотвратима. *Et in Arcadia ego.*<sup>[107]</sup> Разрастается сюрреалистический, многослойный грибной пейзаж — белые грибы, концентрическая дальдиния, иудино ухо, веселка и оранжевая дрожалка. Повсюду плесень. Из гнилых хвойных прорастает плевроцибелла, щитовидная скутеллиния закатывает гулянку на дубовых пнях. Ночь навещают припозднившиеся ранние темно-серые совки и березовые шелкопряды. Глохнет тихое совиное хухууу. Листья падают, слетают

перышками. Сгущается ночь.

Холод, все ближе холод. Настает день, когда последняя птица немощно исполняет прощальную песнь и падает камнем. Настает другой день, когда последний лист ныряет с ветки и больше не набухают почки. В начале было слово, в финале — безмолвие.

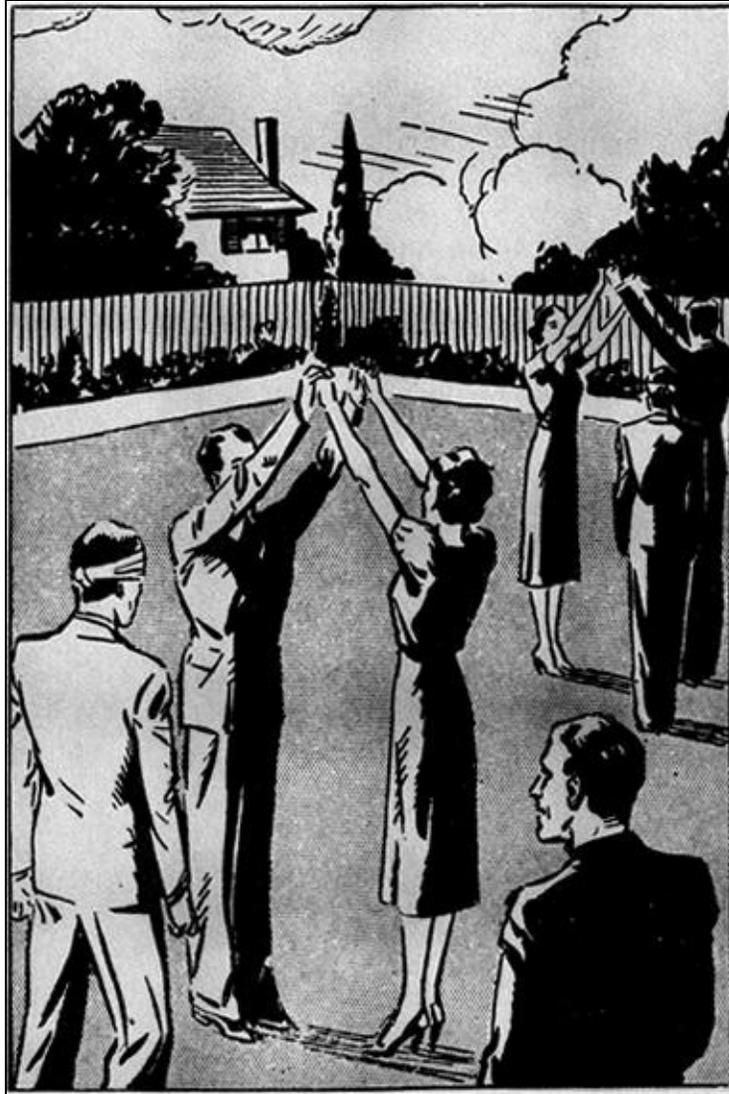
Я сказительница конца времен. Мне известен финал. Вот такой.

Видишь — тропа, широка и пряма,  
Ведет неспешно сквозь дивный сад?  
Здесь ходят те, кто выбрал грех,  
Но хочет добраться до райских врат.

И видишь тропу, что узка и трудна,  
Каменистый путь, где колючий терн?  
Здесь ходят те, кто выбрал добро,  
Но слишком многих пугает он.

А видишь отрадную тропку — она  
Смеется и дразнит, мелькнув под горой?  
В чудесный край эльфов она ведет,  
Где к ночи окажемся мы с тобой.

*Из народной баллады «Томас Рифмоплет»*



**«Человеческий крокет»**

На иллюстрации показано, как следует изображать воротца. Игроки с завязанными глазами — шары.

## Замечательная праздничная игра

«Человеческий крокет» не требует особой подвижности, однако дарит немало веселья. Участников может быть сколько угодно, опыт необязателен.

Расставьте «воротца» по всему полю, примерно так, как для настоящего крокета. Воротца — два человека, которые стоят лицом друг к другу, сцепив и подняв руки так, чтобы под ними мог пройти человек. Разрешается не сохранять эту позу на протяжении всей игры — вполне достаточно, если воротца стоят, когда хочет пройти игрок.

«Шар» — человек с завязанными глазами, который движется только по команде.

Каждый игрок командует своим шаром.

Игра по возможности уподобляется обычному крокету. Игроки «бьют» по очереди; игрок получает право бить повторно, если его шар прошел в воротца или «крокировал» другой шар.

Первый игрок отводит свой шар на стартовую линию, встает у него за спиной, держа за локти, и разворачивает к первым воротцам — которых шар, разумеется, не видит. Затем игрок говорит: «Лети», и шар бежит вперед, пока игрок не скамандует: «Стой». Если шар прошел через воротца, игрок может бить повторно; если нет, его место занимает второй игрок.

Шар должен бежать по прямой и останавливаться по команде. Когда два шара сталкиваются, крокированный шар остается на месте, а крокировавший его игрок получает право бить еще раз. Пока шар бежит, игроку запрещено с ним разговаривать (кроме команды «стой»), касаться его или каким-либо образом менять направление его движения.

Побеждает игрок, который первым проведет свой шар через все воротца, а затем назад к стартовой линии или к кольшку в центре поля.

Игра веселее и увлекательнее, если игроки и их шары обозначены яркими цветами — лентой, шляпой или розеткой, чтобы было ясно, кто с кем в паре играет.

Воротцам запрещено уходить со своих позиций и подсказывать шару свое местоположение. После прохождения игроками маршрута игроки и шары меняются ролями.

## **Примечания**

Джеймс Ашшер (1581–1656) — ирландский англиканский архиепископ и богослов, историк, один из основоположников библейской хронологии; «Мировые анналы» (тж. «Анналы Ветхого Завета, расчисленные от Сотворения мира, хроники азиатские и египетские от начала истории до времен Маккавеев», *Annales Veteris Testamenti, a prima mundi origine deducti, ana cum rerum Asiaticarum et Aegyptiacarum chronico, a temporis historici principio usque ad Maccabaicorum initia product*, англ. *The Annals of the World* или *Annals of the Old Testament*, 1650) — его центральный труд, история мира от Сотворения до 70 г. н. э. — *Здесь и далее прим. перев.*

Аллюзия на «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира, акт II, сц. 1.  
Пер. М. Лозинского.

Николас Хиллиард (ок. 1547–1619) — английский художник, иллюстратор и ювелир, известный своими миниатюрами — портретами придворных Елизаветы I и Якова I. Ганс Гольбейн-младший (ок. 1497–1543) — немецкий художник и рисовальщик, портретист, придворный живописец короля Генриха VIII; «Пляска смерти» — его серия из 58 гравюр. В своем трактате «Искусство миниатюры» (1600) Хиллиард писал, что всегда считал Гольбейна-младшего образцом для подражания.

Компания Южных морей (*The South Sea Company*, 1711–1850) — английская торговая компания, чьим акционерам предоставлялось исключительное право на торговлю с испанской частью Южной Америки. В начале 1720 г. случился резкий взлет популярности компании и цен на ее акции, однако к сентябрю компания объявила себя банкротом, в результате чего пострадали многочисленные акционеры, в том числе Джонатан Свифт и Исаак Ньютон.

Имеются в виду английские и уэльские протестанты, не признающие Англиканской церкви.

**6**

Красивая (фр., ит.).

Аллюзия на новеллу Ф. Кафки «Превращение» (*Die Verwandlung*, 1912), также использованная Аткинсон в недавнем романе «Чуть свет, с собакою вдвоем».

«Мандерлей» в романе английской писательницы Дафны дю Морье (1907–1989) «Ребекка» (*Rebecca*, 1938) — поместье Максимилиана де Винтера, куда он привозит свою вторую жену после смерти первой.

Бенджамин Бэтхёрст (1784–1809?) — английский дипломат, исчезнувший 25 ноября 1809 г. в Германии; по данным новейших исследований, почти наверняка был убит. Орион Уильямсон — фермер из Селмы, штат Алабама, в июле 1854 г. (якобы) исчез на глазах родных посреди собственного поля. Дороти Хэрриэт Кэмилл Арнольд (ок. 1884–1910?) — американская светская львица, исчезнувшая в Нью-Йорке — по всей вероятности, в Центральном парке. Джеймс Уорсон — герой рассказа американского журналиста и писателя Амброза Бирса «Неоконченная гонка» (*An Unfinished Race*); в рассказе говорится, что в 1873 г. Уорсон, будучи навеселе, на спор побежал с курорта Лемингтон в Кавентри, по дороге споткнулся, громко закричал, падая, и исчез на глазах у своего спутника, не успев коснуться земли.

Имеются в виду Эми Джонсон (1903–1941) и Амелия Мири Эрхарт (1897–1937). Эми Джонсон — британский авиатор, совершила несколько уникальных одиночных перелетов (в том числе из Великобритании в Австралию в 1930 г.), во время Второй мировой войны служила в авиации и погибла на задании; самолет упал в устье Темзы, тела летчицы так и не нашли. Амелия Мэри Эрхарт — пионер американской авиации, первая женщина, перелетевшая Атлантический океан; пропала во время кругосветного перелета 2 июля 1937 г. на подлете к тихоокеанскому острову Хоулэнд.

Томас Чаттертон (1752–1770) — английский поэт, автор псевдосредневековых стихотворений. Умер от мышьякового отравления (вероятнее всего, покончил с собой). Самое известное его изображение — картина английского художника-прерафаэлиты Генри Уоллиса (1830–1916) «Смерть Чаттертона» (*The Death of Chatterton*, 1856).

«Захватчики с Марса» (*Invaders from Mars*, 1953) — фантастический фильм американского кинорежиссера Уильяма Камерона Мензиса, в котором зеленые марсианские гуманоиды помещают людям в основание черепа устройства телепатического контроля и вынуждают устроить саботаж на ближайшем военном заводе.

Цитата из сонета XVI «О своей слепоте» (*On His Blindness*, ок. 1652–1655) английского поэта Джона Мильтона (1608–1674). Пер. К. Корнеева.

Аллюзия на «Гамлет» Уильяма Шекспира, акт II, сц. 2. Пер. М. Лозинского.

«Королевские идиллии» (*Idylls of the King*, 1856–1885) — цикл поэм английского поэта Альфреда, лорда Теннисона (1809–1892), посвященный королю Артуру и рыцарям Круглого стола.

Старый Крикун (*Old Yeller*) — дворняга, центральный персонаж одноименного детского романа (1956) американского писателя Фреда Гипсона (1908–1973); Старый Крикун заражается бешенством, защищая хозяев от волка, и те вынуждены его пристрелить.

Курильщица (фр.).

Некоторые кошки Винни названы в честь якобы духов ведьмы, разоблаченной английским охотником на ведьм Мэттью Хопкинсом (1620–1647) в марте 1644 г. в городе Мэннингтри, Эссекс: Элеманзер, Пайуэкет (появлявшиеся, по словам ведьмы, в обличье бесенят) и Уксусный Том (борзая с бычьей головой).

Чудесный год (*лат.*).

*Уильям Шекспир. Двенадцатая ночь, или Что угодно. Акт V, сц. I. Пер. Э. Липецкой.*

«Изабелла, или Горшок с базиликом» (*Isabella, or the Pot of Basil*, 1818) — поэма английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821) по мотивам одной из новелл «Декамерона» (1350 — ок. 1353) Джованни Боккаччо; в поэме, как и в новелле, героиня в горшке с базиликом прячет голову убитого возлюбленного.

*Уильям Шекспир. Гамлет. Акт II, сц. 2. Пер. М. Лозинского.*

Эльза Скиапарелли (1890–1973) — итальянский модельер и дизайнер, родоначальница прет-а-порте; известна, помимо прочих смелых экспериментов, тем, что ввела в моду оглушительно-розовый цвет (и была похоронена в ярко-розовом костюме).

В Картехогский лес отправляется героиня шотландских баллад о Тамлине Дженет — там она встречается с рыцарем королевы эльфов Тамлином, беременеет от него и потом спасает возлюбленного от королевы, которая, дабы Дженет от него отказалась, превращает его во всевозможных зверей.

Аллюзия на «Макбета» Уильяма Шекспира, акт II, сц. 2. Пер. М. Лозинского.

Мари-Жорж-Жан Мельес (1861–1938) — французский иллюзионист, один из первопроходцев кинематографа. Имеется в виду его черно-белый немой фильм-фарс «Путешествие на Луну» (*Le Voyage dans la Lune*, 1902), первый научно-фантастический фильм в истории: в одном из самых известных кадров этого фильма ракета вонзается Луне в глаз.

Хью Хьюз Грин (1920–1997) — весьма улыбчивый британский телеведущий; вел, помимо прочего, телевикторину «Удвойте ваши ставки» (*Double Your Money*, 1955–1968).

«Леди и Бродяга» (*Lady and the Tramp*, 1955) — диснеевский мультфильм о дружбе благовоспитанной коккер-спаниельши из хорошей семьи и бездомного пса.

Стэн Лорел (Артур Стэнли Джефферсон, 1890–1965) — английский актер, выступал дуэтом с американским комиком Оливером Харди (1892–1957).

Пьеса Артура Миллера, написана в 1949 г.

Изамбард Кингдом Брюнель (1806–1859) — английский инженер, конструировал мосты, верфи, туннели, пароходы, развивал железнодорожное строительство, революционизировал систему общественного транспорта Англии.

«Частная жизнь Елизаветы и Эссекса» (*The Private Lives of Elizabeth and Essex*, 1939) — историческая мелодрама американско-венгерского кинорежиссера Майкла Кёртиса о отношениях королевы Елизаветы I (Бетт Дэвис) и Роберта Деверо, второго графа Эссекса (Эррол Флинн).

*Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Акт I, сц. 1. Пер. М. Лозинского.*

*Уильям Шекспир. Гамлет. Акт II, сц. 2. Пер. М. Лозинского.*

*Уилям Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт I, сц. 5. Пер. О. Сороки.*

Цитата из стихотворения английского викторианского поэта-иезуита Джерарда Мэнли Хопкинса (1844 1889) «Весна и осень» (*Spring and Fall*, 1880). Пер. Г. Кружкова.

Беньямино Джильи (1890–1957) — итальянский оперный тенор и актер; поэт Рудольф из оперы Джакомо Пуччини «Богема» (*La bohème*, 1896) — одна из самых известных его партий. «Холодная ручонка» (*um.*) — ария Рудольфа.

Дж. Артур Рэнк (1888–1972) — британский промышленник и кинопродюсер, активный приверженец методистской церкви, основатель *Rank Organisation* (ныне *The Rank Group*), которая выпускала кинофильмы, пропагандирующие семейные ценности; человек, бьющий в гонг, фигурировал на заставке, предварявшей все фильмы компании.

Кнуд Великий (ок. 994–1035) — король Дании, Англии и Норвегии; по легенде, дабы отучить придворных от лести, привел их на берег моря в прилив и сказал, что не отступит от воды, потому что, если придворные правы и он действительно «повелитель земли и воды», вода должна отступить перед ним. Придворные вымокли до нитки, затвердили урок и больше королю не льстили.

«Апельсины, лимоны» (*Oranges and Lemons*) — английское народное детское стихотворение, сопровождает детскую игру, похожую на «Ручеек». — *Здесь и далее пер. И. Родина.*

Слушаюсь, моя госпожа (*нем.*).

«На ивовой аллее» (*Down by the Salley Gardens*. 1889) — стихотворение ирландского поэта и драматурга Уильяма Батлера Йейтса (1865–1939), его попытка реконструировать некогда услышанную народную песню — вероятнее всего, балладу «Бродяги ищут удовольствий» (*The Rambling Boys of Pleasure*). Пер. М. Рахунова.

Здесь и далее цитируется стихотворение английской детской писательницы Энид Мори Блайтон (1897–1968) из ее книги «И снова Нодди» (*Here Comes Noddy Again*, 1951).

Аллюзия на книгу Иова, 14:1.

Питер Квинт — персонаж повести английского писателя Генри Джеймса (1843–1916) «Поворот винта» (*The Turn of the Screw*, 1898), призрак лакея, который является воспитаннику героини-гувернантки, отчего тот погибает от ужаса.

«На Старом Курилке» (*On Top of Old Smoky*) — американская народная баллада, в 1951 г. ставшая популярной в исполнении американской фолк-группы *The Weavers*.

Грибы ворончники, букв. «вестники смерти» (фр.).

«Улица Коронации» (*Coronation Street*, 1960) — долгоиграющая британская мыльная опера о жизни городка Уэзерфилд. Ина Шарплз, сыгранная английской актрисой Вайолет Карсон (1898–1983), фигурировала в сериале в 1960–1980 гг.; в основном она по всевозможным поводам критиковала соседей.

*Уильям Шекспир. Гамлет. Акт I, сц. 4. Пер. А. Радловой.*

Рикки Вэлэнс (р. 1939) — уэльский певец; занявшая первую строчку чартов в 1960 г. песня «Скажите Лоре, я ее люблю» (*Tell Laura I Love Her*) — трагическая баллада Джеффа Барри и Бена Рэйли о подростке, который участвует в автогонках, чтобы заработать на обручальное кольцо любимой, и гибнет.

«Одиноко ль тебе?» (*Are You Lonesome Tonight?* 1926) — песня Лу Хэндмена и Роя Тёрка, в 1960 г. обретшая популярность в исполнении Элвиса Пресли.

«Лишь одинокий (поймет, каково мне)» (*Only the Lonely (Know the Way I Feel)*, 1960) — песня Роя Орбисона и Джо Мелсона, первый крупный хит Роя Орбисона.

Цитата из баллады Альфреда, лорда Теннисона «Волшебница Шалот» (*The Lady of Shalott*, 1833,1842). Пер. К. Бальмонта.

Уильям Джордж Бантер (с 1890-х) — персонаж комиксов, рассказов, романов, театральных пьес и телепостановок, созданный Фрэнком Ричардсом (Чарльзом Хэмилтоном), типичный антигерой, ученик Школы «серых братьев» для мальчиков, ленивый и хитрый, вечно плетет интриги.

Помощь по хозяйству (фр.).

Традиционная кухня (фр.).

Вполголоса (*ит.*).

Томас Грэдграйнд — директор школы в романе Чарльза Диккенса «Тяжелые времена» (*Hard Times*, 1854), который заставляет учеников бесконечно зубрить всевозможные факты и поначалу начисто отрицает существование человеческих эмоций.

«Джон Андерсон, мой старый друг» (*John Anderson; My Jo*, 1789) — песня на стихи шотландского поэта Роберта Бёрнса (1759–1796). Пер. С. Маршака.

Аллюзия на «Гамлета» Уильям Шекспира, акт III, сц. I. Пер.  
М. Лозинского.

*Уильям Шекспир. Гамлет. Акт I, сц. 3. Пор. М. Лозинского.*

Первые две строки стихотворения английского поэта Томаса Уайетта (1503–1542) «Они бегут меня, хотя искали прежде» (*They Flee From Me That Sometime Did Me Seek*, 1557).

«К востоку от солнца, к западу от луны» — норвежская народная сказка на сюжет, примерно схожий с «Красавицей и чудовищем»; также популярный джазовый стандарт (*East of the Sun [and West of the Moon]*, 1934), романтическая песня Брукса Боумена о грядущей счастливой жизни с возлюбленной.

Аллюзия на первую фразу романа Льва Толстого «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

*Уильям Шекспир. Гамлет. Акт II, сц. 2. Пор. А. Радловой.*

Элизабет Сиддал (1829–1862) — английская поэтесса и художница, модель и муза прерафаэлитов, жена художника Данте Габриэля Россетти (1828–1882), который изобразил ее в образе умирающей Беатриче Портинари, героини «Новой жизни» Данте Алигьери (*Beata Beatrix*, 1870).

Джордж Баркли (Беркли), епископ Клойнский (1685–1753) — англо-ирландский философ-спиритуалист, основатель субъективного идеализма (и солипсизма как крайней его формы).

*Уильям Шекспир. Гамлет. Акт I. сц. 3. Пер. М. Лозинского.*

Лови момент (*лат.*).

*Уильям Шекспир. Двенадцатая ночь, или Что угодно. Акт V, сц. 1. Пер. М. Лозинского.*

Святая Агнесса (ок. 291–304) — мученица, покровительница девушек; считается, что в канун Дня святой Агнессы, отмечаемого 21 января, девушка может увидеть во сне будущего мужа. У Джона Китса есть поэма «Канун святой Агнессы» (*The Eve of St. Agnes*, 1819–1820).

Аллюзия на «Генриха IV» Уильяма Шекспира, часть 2, акт III, сц. 1.  
Пер. П. Каншина.

Аллюзия на стихотворение американского поэта Уолта Уитмена (1819–1892) «О теле электрическом я пою» (*I Sing the Body Electric*, 1900). Пер. М. Зенкевича.

*Джон Китс. Ода соловью. Пер. Е. Витковского.*

Цитата из шотландской народной баллады «Томас Рифмоплет» (в рус. пер. С. Маршака «Томас Рифмач», *Thomas the Rhymer*) о шотландском поэте Томасе Лермонте (ок. 1220–1298); по пути в страну эльфов Томас хочет сорвать некие плоды, а эльфийская царица его отговаривает, потому что в краю, где они очутились, растут плоды преисподней.

*Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт 1, сц. 5. Пер. А. Радловой.*

Тибблс — кличка кота, жившего на маяке новозеландского острова Стивенс и в 1894 г. единолично истребившего целый биологический вид — местного эндемика, ночного нелетающего стефенского кустарникового крапивника.

Нежность (*фр.*).

*The Shadows* (1958–2010) — британский инструментальный квартет, пользовавшийся широкой популярностью в Великобритании до появления *The Beatles*.

Аллюзия на Евангелие от Иоанна. 14:2.

Согласно древнегреческому мифу, нимфа Дафна, преследуемая влюбленным Аполлоном, обратилась за помощью к богам и те превратили ее в лавровое дерево.

Гераклит (544–483 до н. э.) — древнегреческий философ, один из основоположников диалектики, в своем трактате «О природе» рассуждавший, в частности, о том, что всё в жизни есть поток.

Соня Хени (1912–1969) — норвежская фигуристка, олимпийская чемпионка (1928, 1932 и 1936) в женском одиночном катании.

Цитата из рождественского гимна «Остролист и плющ» (*The Holly and the Ivy*, 1871) Генри Р. Брэмли и Джона Стайнера.

«Ночь тиха» (*Stille Nacht, heilige Nacht*, 1818) — рождественский гимн австрийцев Йозефа Мора и Франца Ксавера Грубера, в 1859 г. переведенный на английский Джоном Фрименом Янгом; в настоящее время существует больше 140 версий гимна на разных языках.

«Но где вы, былого талые снега?» — цитата из стихотворения французского поэта Франсуа Вийона (ок. 1431–1464) «Баллада о дамах былых времен» (*Ballade des dames du temps jadis*). Пер. В. Жаботинского.

*Уильям Шекспир. Гамлет. Акт I, сц. 4. Пер. Д. Аверкиева.*

Аллюзия на «Ричарда II» Уильяма Шекспира, акт III, сц. 2. Пер. М. Донского.

В сказке братьев Гримм «Кошачья шкурка» так поступает принцесса, когда ее отец решает на ней жениться, поскольку обещал покойной супруге, что снова женится только на женщине красивой, как она, и с такими же прекрасными золотыми волосами, а во всем мире этим требованиям отвечала только их общая дочь. Несмотря на ухищрения принцессы (которая, в частности, требует за это три платья — солнечное, лунное и звездное, а затем сбегает и возвращается во дворец посудомойкой), король в итоге получает свое. В английской версии той же сказки знатный лорд хочет выдать свою дочь за первого встречного, дочь убегает из дома, но в итоге выходит за прекрасного молодого лорда и примиряется с отцом. В обеих версиях героиня, убегая, скрывается под накидкой, сшитой из лоскутов шкур всевозможных зверей.

Эта фраза в несколько иной форме («Есть мир иной, он в этом мире есть») приписывается Уильяму Батлеру Йейтсу, а также французскому поэту Полю Элюару (1895–1952).

Аллюзия на стихотворение Уильяма Батлера Йейтса «Он мечтает о небесном покрове» (*Aedh Wishes For the Cloths of Heaven*, 1899). Пер. И. Бабицкого.

Артур Рэкэм (1867–1939) — английский рисовальщик, книжный художник, создатель уникальной техники художественной иллюстрации, использовал, в частности, приемы японской графики. Иллюстрировал множество книг детской классики.

*Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Акт V, сц. I. Пер.*  
М. Лозинского.

«Гусятница» (*Die Gänsemagd*, 1815) — сказка братьев Гримм, в которой фрейлина заставляет принцессу обменяться платьями, чтобы выйти замуж за прекрасного принца; в финале справедливость торжествует.

«Раз утром рано» (*Early Une Morning*, 1787, 1855–1859) — английская народная баллада, написанная от имени девушки, сетующей на покинувшего ее возлюбленного. «Полли-Уолли-Дуддл» (*Polly Wally Doodle*, 1880) — американская песня, написанная, по некоторым версиям, Дэниэлом Декатуром (Дэном) Эмметтом; с героем песни происходят маловразумительные события в обстановке деревенского двора. «Что нам делать с пьяным матросом?» (*What Shall We Do with a Drunken Sailor?* 1839) — матросская песня, вероятнее всего американская, на народную ирландскую мелодию.

«Дева из Ричмонд-Хилла» (*The Lass of Richmond Hill*, ок. 1790) — песня английского композитора Джеймса Хука на стихи Леонарда Макнэлли. «Алые ленты (в ее волосах)» (*Scarlet Ribbons [For Her Hair]*, 1949) — песня Эвелин Данциг на стихи Джека Сигала, ставшая популярной в 1952 г. в исполнении Гарри Белафонте.

«Один рыбный шарик» (*One Fish Ball*, 1926) — песня о человеке, который приходит в ресторан, обнаруживает, что денег у него хватит только на один рыбный шарик без хлеба, и очень смущается по этому поводу. «Кое-кто» (*Some Folks Do*, 1855) — песня «отца американской музыки» Стивена Коллинза Фостера, гимн радостям жизни.

Цитата из «Духовного сонета VII» («С углов Земли, хотя она кругла...», 1609–1610) английского поэта Джона Донна (1572–1631). Здесь и далее пер. Д. Щедровицкого.

Лимонад (фр.).

Зд.: свинья чокнутая (*фр., исп.*).

«Ласточка» (фр.).

*Уилям Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт I, сц. 4. Пер. О. Сороки.*

*Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Акт III, сц. 2. Пер. М. Лозинского.*

*Уильям Шекспир. Сонет LXXVII. Пер. С. Степанова.*

Зд.: публичный скандал (фр.).

Откр. 8:11.

И я в Аркадии (*лат.*).